

Д. И. Стахеев

За Байкалом
и
на Амуре

Путевые картины

Дмитрий Иванович Стахеев

За Байкалом и на Амуре. Путевые картины

Книга посвящена путешествию автора по Забайкалью и Дальнему Востоку в 60-е годы XIX в. Внимательным взглядом всматривается писатель в окружающую жизнь, чтобы «составить понятие об амурских делах». Он знакомит нас с обычаями коренных обитателей этих мест — бурят и гольдов, в нескольких словах дает меткую характеристику местному купечеству, описывает быт и нравы купцов из Маньчжурии и Китая, рассказывает о нелегкой жизни амурских казаков-переселенцев. По отзывам современников Стахеев проявил себя недюжинным бытописателем. И действительно, через призму его восприятия мы узнаем не о великих достижениях, не об открытиях и завоеваниях, а близко знакомимся с теми, кто жил в то время, чьим трудом осваивались новые земли государства Российской. Буквально несколькими штрихами он умеет создать характерные образы участников тех событий и вдохнуть жизнь в сухие строки истории.

Содержание

#1	0006
У Байкала	0007
I	0007
II	0016
III	0040
IV	0063
V	0087
VI	0101
От Байкала до Кяхты	0131
Кяхта	0141
I	0141
II	0145
III	0150
IV	0157
V	0165
VI	0173
VII	0185
VIII	0190
IX	0199
X	0208
XI	0216
XII	0223
Очерки бурятской жизни	0231
I	0231
II	0242

III	0249
IV	0254
V	0262
VI	0267
Маймайтчин	0274
I	0274
II	0290
III	0301
IV	0315
V	0323
VI	0335
VII	0344
От Кяхты до Благовещенска	0359
I	0359
II	0375
III	0387
IV	0412
V	0425
От Благовещенска до р. Сунгари	0436
I	0436
II	0457
III	0483
IV	0501

Дмитрий Иванович Стахеев
За Байкалом и на Амуре
Путевые картины

Содержаніе: Прибайкальская природа, промышленность и нравы прибрежных жителей; путь от Байкала до Кяхты; русская слобода Кяхта и китайский город Маймайтчин; торговая, общественная и частная жизнь китайцев и русских; очерки бурятского быта, нравы и обычаи бурят; путь от Кяхты на Амур до г. Благовещенска; жизнь в г. Благовещенске; плаваніе в лодке по р. Амуру от г. Благовещенска до р. Усури; жизнь в амурских казачьих станицах.

У Байкала

I

Озеро Байкал лежит в Восточной Сибири, в 65 верстах от гор. Иркутска. Оно известно еще под названием Святого моря и это название, по всему вероятно, перешло от монголов, так как оно называется по-монгольски «*Далай нор*», что значит в переводе — «Святое озеро».

О нем упоминают древнейшие китайские летописи, и в одной китайской географии, изданной в царствование монгольской династии Юань, говорится о стране кулиханов, где находилось множество лилий (*Lilium Marstogon* желтая сарана). Эта страна от столицы Китая простиралась далеко на север, до моря *Бей-хай* (по-якутски богатое озеро); за этим морем, — по словам географии, — дни становятся долгими, а ночи короткими. В китайских же исторических сочинениях упоминается о Байкале, как о месте ссылки важных преступников, и о том, что лучшие соколы

для императорской охоты привозятся от Байкала.

Из всего этого ясно, что около Байкала никогда не было ни городов, ни соединенной с ними оседлости и что около него кочевали только полудикие бродячие племена, остатки которых встречаются еще и в настоящее время.

Из русских первый забравшийся на Байкал был служивый человек Курбат Иванов; пробрался он из Якутска и, разузнав, что где-то поблизости есть серебро, воротился назад за помощью. Через несколько времени по следам Курбата Иванова к Байкалу пробрались и другие, потом нахлынули казаки и стрельцы, дети боярские, и промышленники и Байкал стал русским.

Байкал имеет до 600 верст длины и от 75 до 100 верст ширины; его глубина и до сих пор еще никем достаточно не исследована, промерыны только некоторые места. Все жители Прибайкалья, на вопросы о глубине озера, считают долгом выразить на своем лице таинственность и чуть не шепотом сообщают, что «Святое море дна не имеет». Затем, при

дальнейших расспросах, спрашивающий услышит от прибрежных жителей, что близ берегов Святого моря в тихую погоду видны целые леса и скалы.

По измерениям, сделанным в 1859 году от речки Бугульдеихи к устью р. Селенги и от пристани Чертовкиной к Посольску, найдено было до 1000 саж. глубины и больше ничего неизвестно. Кроме множества мелких речек Байкал принимает в себя с сев. Верхнюю Ангару, с вост. Баргузин, с ю.-в. Селенгу, из него же вытекает только одна река Ангара. Она имеет начало на с.-з. стороне Байкала.

По характеру окружающих его гор можно с достоверностью предположить, что Байкал образовался во время сильного геологического переворота.

Быть может на месте этого озера, в отдаленное доисторическое время, пролегла гладкая степь, паслись стада, кочевали бродячие племена и вдруг, в одно из сильных землетрясений, местность эта провалилась, на месте провала образовалась громадная масса воды, выдвинулись со всех сторон гигантские горы и окружили озеро своими разнохарак-

терными сопками. Но как общее падение, по-видимому, было к северу, то в западном изгибе Байкала самый низкий путь, для стока вод, мог быть только по направлению узких долин на северо-запад, совпадающему со средним падением местности, и Ангара вылилась на северо-запад, пробив Лиственничные горы.

В ста саженьях от ее истока из Байкала, на самой середине реки, высунулся из воды замечательный во многих отношениях камень, называемый Шаманским. По глубине Ангары у ее истока, по видимой величине камня над поверхностью реки, можно с достоверностью предположить, что этот Шаманский камень имеет весьма большие размеры и служит значительной задержкой воды, вырывающейся из Байкала с замечательной быстротой.

Если бы когда-либо, по каким бы то ни было обстоятельствам, этот громадный камень или, выражаясь точнее, — эта подводная гора разбилась на несколько частей и потеряла возможность сдерживать собою быстрый напор воды, то по всему вероятно для Иркутска день разрушения Шаманского камня был бы

днем наводнения. Об этом часто подумывают со страхом туземные жители.

Уровень Ангары в 60 верстах от Байкала ниже уровня его на 60 сажен, следовательно, до Иркутска на каждую версту приходится сажень падения.

Вообразите себе, какую великолепную картину представляет эта масса воды версты в две шириною, несущаяся с быстротою почти 20 верст в час.

Но как бы ни была великолепна картина, а все-таки соседство Байкала для окружающих его местностей — соседство весьма грозное и недружелюбное, что и доказало землетрясение 1861–62 года.

Землетрясение это имело центром своим Байкал, от которого и распространялось на 500–600 верст в окружности, ослабевая по мере удаления от своего центра.

Началось оно 30 декабря и, повторяясь в день по несколько раз, продолжалось до 1 января; потом, значительно ослабев, оно давало еще знать о себе легкими колебаниями земли в продолжение почти двух недель.

В то время много погибло бурятских юрт,

крупного и мелкого рогатого скота и самих бурят, кочевавших со своими стадами по берегам Байкала.

Во время этого землетрясения в Иркутске сами собой звонили колокола; в одном селе-нии провалился купол церкви; в деревнях, близ Байкала, много свалило и поломало изб; из глубоких колодцев исчезала вода и вместо нее выбрасывало вверх песок и гальку.

В заключение всего, это землетрясение оставило по себе в воспоминание новое озеро: верстах в 25–30 от р. Селенги образовался провал земли верст в 20–25 в длину и ширину, на этом месте выступила вода и с того времени это новое озеро все более и более увеличивается.[1]

На Байкале, кроме нескольких незначительных островов, есть остров Ольхон, населенный бурятами. Он имеет до 60 верст длины и до 12 ширины. Живущих на нем бурят, по рассказам, есть до 1000 семей; занимаются они рыбною ловлей, звероловством и имеют значительное скотоводство.

Я никогда не бывал на этом острове, но по описаниям бывших на нем, — вид его чрезвы-

чайно красив, и красота эта дикая, печальная и однообразная. Голые скалы торчат из-под вод Байкала, на них гнездится серый орел, хищник бурятских овец; в полях кочуют буряты; по камням лениво ползает бескрылая зеленая стрекоза; чайки и гагары одиноко сидят по утесам над своими гнездами, выжидая добычи из моря. Везде, куда ни посмотришь, камни да камни, и кругом все как-то безжизненно, пусто и дико; Святое море однообразно и печально шумит, гремучий вал его бьется об утесы и выкатывает округленные зерна лунного камня, имеющего синевато-белый цвет и радужный отлив.

Кроме этого камня, говорят, выбрасываются из озера обломки желтоватого опала, зерна кварца, горного хрусталя, куски зеленой и красной яшмы, темно-коричневого порфира, бледно-зеленого аквамарина, изумруда и проч. и проч. Из утесов местами вытекает морской воск и естественное купоросное или горное масло. Это последнее в особенности добывается бурятами вблизи одного улуса, называемого Курма, и в скалах тажерянских. На склонах, обращенных к баргузинской или

турканской стороне, встречаются глинистые железные руды.

Вода Байкала холодная, пресная и при тихой погоде прозрачная почти на девять сажен глубины; она содержит в себе, по химическим исследованиям, несколько растворенной извести.

Морской воск в тихую погоду плавает по поверхности воды, а во время бурь выкидывается на берег от верхней Ангары на юго-восточную сторону Байкала. Вид этого воска темно-коричневый. В музее императорской Академии наук есть кусок его, доставленный, кажется, Палласом в 1770 году. Он называется иначе — асфальт; в Сибири он мало известен и только около Байкала старухи-знахарки лечат им больных. Как они открыли в асфальте свойства исцелять человеческие немощи, на чем основали это открытие — Бог знает, а говорят, лечение это действительно оказывает пользу в ревматических болях.

Прибрежные жители до сей поры не могут придумать, что бы им делать с байкальским асфальтом; для освещения он неудобен тем, что при горении отделяет очень много дыма,

а более применить его не знают к чему. Иногда какой-нибудь самородок химик из туземцев смотрит на растопленный асфальт и толкует своим товарищам, что этот асфальт есть тот, значит, самый керосин, который американцы готовят. Товарищи сомнительно покачивают головами, химик доказывает и обещает в будущем от байкальского асфальта большие барыши. Но химические опыты туземного химика на том и оканчиваются[2].

Другое дело горное масло. Оно употребляется с большою пользою при лечении простых и кровавых поносов у людей, в повальных болезнях у скота и, кажется, вполне может заменять купоросную кислоту и масло; но, к сожалению, собирается оно в весьма малом количестве и потому продается от 4 до 5 рублей за пуд.

Во время моего продолжительного пребывания в Забайкальской области, мне много раз случалось переезжать Байкал во все времена года.

В первый раз я отправился из Иркутска в Забайкалье осенью в 1859 году. В холодный и ветреный день подъезжала моя повозка к Лиственничной пристани. Был ноябрь в половине, время, в которое байкальские пароходы, старый ветеран Байкала «Наследник Цесаревич», впоследствии так печально окончивший свое существование, и два новых: «Генерал Корсаков» и «Граф Муравьев-Амурский», — оканчивали свои обязательные рейсы и плавали по озеру смотря по погоде и по количеству грузов, следовавших через Байкал.

Несмотря на 25° мороз и на позднее время осени, река Ангара не была еще покрыта льдом, — над ней носился густой пар и, широко расстилаясь в морозном воздухе, обдавал собою мою повозку и замерзал снежными пылинками на платье. Мы подвигались вперед,

то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз по каменистым холмам горной подошвы; чем ближе подъезжали мы к Лиственничной пристани, тем холоднее и порывистее дул ветер, тем яснее долетал до нашего слуха глухой шум волн Байкала. Вдали показалось небогатое прибрежное село, с деревянной церковью, слышался стук топоров: на берегу шла работа, строили судно; ехали далее и опять увидели строящиеся суда; у берега стояли тоже суда, короткие, высокие, имеющие замечательно уродливую форму. Поморы называют их «кораблями», несмотря на то, что эти корабли хуже самого последнего волжского судна.

Суда эти, как видит читатель, по размерам, весьма уродливы и напоминают китайские постройки, нет только той вычурности и фигурности, как у китайцев[3].

В одной версте от селения Никольского находится пароходная пристань, называемая Лиственничной. Это название присвоено ей от прежнего зимовья, находившегося на месте настоящей пристани и носившего, в свою очередь, это название от лиственничного ле-

са, растущего на прибрежных горах.

На берегу Байкала, у подножья горы, поросшей этим лесом, прилепилось двухэтажное здание гостиницы. Ближе к селению Никольскому в стороне от дороги лежало много леса, приготовленного для новых построек. Из этого леса должны были выстроиться новые гостиницы в рендемент к новым пароходам. Но пока, в ожидании новых гостиниц, нужно было остановиться в старой, несмотря на все ее неудобства.

Построена она вероятно с того времени, когда пароход в первый раз пошел по Байкалу, следовательно — лет двадцать назад. Пароход был предшественник «Наследника Цесаревича» и он, кажется, сгорел — так по крайней мере мне не раз случалось слышать. Несмотря на то, что гостиница построена не ранее сороковых годов настоящего столетия, но она казалась ветхим старцем: окна в верхнем этаже были местами повыбиты, ставни большею частью переломаны и остатки их, повиснув на ржавых петлях, скрипели и выли на разные тона, аккомпанируя шуму волн Байкала.

Состарилась ли гостиница от осенних ветров, обдувающих ее со всех четырех сторон, или уходили ее заботливые попечители, доверенные и управляющие, — не знаю, да и не подумал бы об этом, если бы только беспорядочный и угрюмый вид ее не производил такого тяжелого и мрачного впечатления.

Внутренность дома соответствовала его наружному виду: стулья переломаны, столы о трех ножках, диваны с оборванной и висящей ключьями обивкой, кресла без ручек и часто без спинок; никогда не мытый пол, кривые, дырявые доски, углубляющиеся под ногами, как фортепьянные клавиши; в стенах щели, в которые с визгом врывается внутрь дома резкий осенний ветер... и т. д.

Все это доказывало, что о тех, для кого построена гостиница, никто никогда не заботился да и заботиться не считал нужным: гостиница одна, конкуренции ждать неоткуда; приехал к паровой пристани, так волей-неволей мирись с тем, что есть, не мудрствуя лукаво.

Бразды правления этой гостиницей находились в руках какого-то отставного солдата,

у которого в буфете кроме водки и солонины ничего не было.

— Самовар, если угодно, поставить можно... — слышалась нам его первая фраза.

— А закусить бы чего-нибудь?

— Закусить? Отчего же?.. Можно, пожалуй, солонины подать...

— А еще что?

— Огурца соленого можно принести. Омуля, если хотите... водки... Сколько подать-то?

— Да неужели у вас ничего больше нет?

— Как ничего нет? Я говорю вам, солонины можно, омуля, огурца...

Я молчал.

— Порцию что ли вам?

Солдат повернулся ко мне в пол-оборота и, держась за косяк двери рукой, угрюмо смотрел на угол печи.

— Дайте лучше самовар.

Через несколько времени нечищенный, позеленевший самовар, чайник с изломанным носом, чашка без ручки, поднос изогнутый и перепачканный, — все это в огромных размерах было принесено солдатом за один раз и принесено совершенно оригинальным

способом: самовар он нес в руках, поднос висел у него на пуговице жилета, а чашку и чайник он, к великому моему удивлению, вытаскивал из обоих карманов своего дырявого пальто.

— Ты и солонину из кармана подаешь на стол? — спросил я.

— Нет-с. Как можно...

Солдат улыбнулся и, снова опершись рукою о косяк двери, начал смотреть на угол печи.

— Отчего же у вас обеда для проезжающих нет?

— Не для кого делать-то...

— Как не для кого? Для проезжающих.

— Кто теперь проезжает. Теперь хороший хозяин собаки из конуры не выгонит, а то проезжающие. Вот слышите, как оно воет да бурлит, море-то...

— А в другое время когда же вы кормите проезжающих?

— Когда? Известно, летом. В ту пору народу едет много; тогда народ каждый день, а не то что теперь, — два-три в неделю; тогда щи варим, котлеты делаем, вино тоже держим.

Если когда наезжают хорошие люди, потребуют что-нибудь особенного, супу там што ли какого, али чего другого, тогда от управителя повара просим... Летом совсем другой расчет. Летом бывает так, что купцы дня по два, по три здесь валандаются, одной облепихи наливки по ведру в день выходит, а то и шампанского потребуют... Шампанское тоже от управителя берем: оно у него про себя на всякий случай есть для начальства, когда, значит, в гости ежели наезжают. Обозные тоже часто навертываются, другой при себе гармонию имеет... В карты тоже вечерами, когда парохода нет, дуются... Летом совсем другое дело...

Солдат, видимо находясь под впечатлением милых ему летних воспоминаний, глубоко вздохнул и замолчал.

— Так солонины не надо што ли? — спросил он через несколько времени.

— Нет, не надо.

— А то я подам порцию... с огурцом?

— Нет, не надо.

— Водки бы выпили... с дороги хорошо...

Я промолчал.

Солдат погладил рукой косяк двери. Взглянул еще раз два на меня и, опять глубоко вздохнув, вышел.

Кроме мрачного дома негостеприимной гостиницы и кроме тех построек, которые должны быть впоследствии гостиницами, — на берегу пристани, невдалеке от ветхого здания, торчали еще кое-где три-четыре домика для служащих и отдельный флигель для управляющего пароходством. В окнах этого флигеля виднелись драпри и цветы и вообще его наружность составляла замечательный контраст с ветхим полуразрушенным домом гостиницы.

Кое-как поместившись в мрачном доме, я в первую же ночь страшно утомился от непрерывного шума волн, а впереди предстояло еще три таких же ночи, как объявил мне приказчик пароходной конторы.

Все три парохода были на противоположном (посольском) берегу и из них должен был прийти только один старый пароход «Наследник Цесаревич». Остальные два осенью ходили редко и были опасны для плавания: во время осенних бурь их немилосердно качали

байкальские волны, тогда как, в то же время, старый пароход шел весьма спокойно и не черпал бортами. Поморы говорили, что «Байкал просто невзлюбил новые пароходы, не ко двору, значит, они ему пришлись». Но причина была проще: оба парохода были сделаны меньшего размера против старого, при работе их не была измерена величина байкальской волны и гг. распорядители заботились только о том, чтобы новые пароходы могли проходить в р. Селенгу. Они имели весьма хорошее намерение устроить пароходный путь до Стрелки (в 70 верст. от Кяхты), но намерение осталось неисполненным: пароходы для р. Селенги оказались большими, а для Байкала малыми и неудобными; следовательно, все что только можно было придумать худшего, было придумано, оставалось только расплачиваться за работу...

Пароходство по Байкалу и до сей поры не может устроиться как следует: пароходы часто ломаются, портятся машины, горят палубы, — потом все это понемногу починивается и опять портится и опять чинится. Причина этому, по рассказам знающих людей, вовсе не

Байкал и не его бури, на которые принято ссылаться в этих случаях, — а просто неспособность и неуменье управлять пароходами. Посмотришь, на том же самом Байкале, лет десять-пятнадцать, плавает какое-нибудь старое суденышко, не горит оно и не ломается, несмотря на то, что и команда-то его вся состоит только из 5–6 человек.

Неуменье вести пароходное дело происходит, всего скорее, от того, что владельцы пароходов часто сменяют один другого, а при новом владельце нанимаются новые служащие. Давно ли, как вспомним, открыто на Байкале пароходство, а сколько раз уже в это время оно переходило из рук в руки! Принадлежали пароходы гг. Мясниковым, потом перешли г. Бенардаки, потом г. Рукавичнику, через несколько времени сделались достоянием амурских церквей и в последнее время поступили в ведение г. Хаминова. Нужно желать, чтоб хотя в этих руках продержались пароходы подольше, — может быть служащие и рабочие по привыкнут и не будут ломать и жечь такие полезные вещи, как пароходы.

Судоходством на Байкале занимаются несколько иркутских купцов и мещан, а всего более судов принадлежит крестьянам Ильинской волости с той (противоположной Иркутску) стороны Байкала. Суда перевозят в Забайкальскую область русские товары, соль и спирт, а оттуда везут чай и рыбу.

Понятно, что развитие пароходства на Байкале может быть весьма невыгодно для парусных судов, но все-таки оно их совершенно истребить не в состоянии. За судами всегда останутся все рыбные промыслы, да отчасти и перевозка товаров: судно стоит во много раз дешевле парохода и, следовательно, владелец судна имеет полную возможность перевозить товар дешевле парохода, и те товары, которые отправлены не на срок, всегда будут перевозиться на парусных судах. Уничтожить это может только слишком дешевая цена на пароходе, а пока еще она очень и очень высока. За место в каюте первого класса, за переезд ста верст, платится 8 руб., за второй класс 6 руб., на палубе 3 руб. Цена за провоз грузов от 10 до 15–20 к. с пуда, смотря по условию с конторой и по количеству грузов.

Бывали такие случаи, что пароходное управление находилось в весьма неприятном положении, при виде того, как частные суда нагружались чаями и уходили в путь, а пароходы стояли у берега без работы. Один из управляющих выдумал пуститься на хитрость и запретил выдавать билеты на проезд на пароходе тем лицам, которые свои товары отдали на доставку парусным судам. Мера действительно очень хитрая, потому что кому же захочется кататься на судне дня два-три, а иногда и неделю, когда можно в 7–8 часов переехать на пароходе; но эта хитрая мера не достигла своей цели: пассажиры сумели противостоять этому и достали от кого следовало такую записочку, что пароходное управление молча и беспрекословно выдало им билеты на пароход.

На следующий день после моего приезда я отправился пешком к истоку Ангары из Байкала, — это близ того селения, около которого строились на берегу и стояли на якорях близ берега байкальские суда.

Целью моего путешествия было желание посмотреть на Шаманский камень.

Название это присвоено камню потому, что, по верованию бурят, на нем обитают онгоны — небесные духи, с которыми имеют непосредственные сношения шаманы, особого рода предсказатели-духовидцы. Каждый бурят убежден в этом и, проезжая по берегу реки, мимо Шаманского камня, он набожно нашептывает свои молитвы и по временам пугливо исподлобья поглядывает на страшный для него камень.

Во время бури кругом камня клокочут и пенятся волны реки, разбиваясь в мелкие брызги и рассыпаясь высоко в воздухе.

Священное значение Шаманского камня в быту бурят до того велико, что они нередко приезжают из-за 300–400 верст к этому таинственному месту, чтоб заставить своего собрата, в чем-либо обвиняемого, торжественно произнести на этом месте свое отрицание от преступления.

Перебравшись по реке в лодках к Шаманскому камню, буряты заставляют обвиняемого войти на самый верх камня и на нем присягнуть в присутствии невидимых духов в справедливости своих показаний: шум волн,

разбивающихся о камень, высота над водою, фантастичность самого места и полное убеждение в присутствии на камне невидимых духов, — все это разом действует на нервную систему присягающего, и виновный, большею частью, не может скрыть своего преступления: он со страхом и трепетом сознается во всех грехах, вольных и невольных.

Случалось, что после такого испытания испытуемого снимали с камня без чувств и привозили на берег в глубоком обмороке. По возвращении сознания бурят еще долго дрожит от страха и не может попасть зубом на зуб, — так его напугают страшные онгоны.

С обеих сторон Ангары, при выпадении ее из Байкала, поднимаются высокой стеной горы; течение реки, как я сказал выше, очень быстро и суда выходят из Байкала рулем вперед, потому что кроме Шаманского камня при истоке есть еще и другие мелкие подводные скалы.

Из Иркутска суда возвращаются пустыми и тянутся вверх бичевником с помощью нескольких лошадей; изредка разве только протянут судно, нагруженное солью, которую

берут верстах в 60 от Иркутска, в солеваренном заводе; остальные же все товары до Байкала следуют сухим путем и уже около селения Никольского или у Лиственничной пристани нагружаются на суда.

Товар, идущий из-за Байкала на больших судах, тоже в Ангару на них не проходит, а перегружают его в Лиственничной у Никольского селения на карбазы и лодки и на них уже спускаются в Иркутск по Ангаре.

Вообще р. Ангара весьма оригинальна и непохожа на другие реки. Вода ее светла до того, что на дне в тихую погоду можно пересчитать хоть каждый камешек, и холодна даже в самую сильную жару до того, что в ней с трудом можно пробыть несколько минут; разливаается она не весной, во время половодья, как другие реки, а осенью, когда реки замерзают.

Начинает она замерзать снизу и замерзая, поднимает вверх со дна камешки, маленьких рыбок, червей, пиявиц, amphipodes, бедное поселение своего подводного царства; в это время, в конце декабря, по набережным улицам Иркутска нет проезда: Ангара выступает

из берегов и, разлившись по улицам, наворотив на себя лед большими глыбами (торосья), замерзает. Через день или два замерзший лед опадает ниже и ниже и Ангара, успокоившись, крепко сковывается сибирскими морозами.

Байкал замерзает позже и, до того времени, пока он не покроется льдом, — густой, холодный пар носится в окружности озера верст на 100. В Иркутске, за 60 верст от Байкала, в тот же день, как он замерзает, узнают об этом наверное: небо проясняется, туман исчезает, отдаленные горы ясно видятся вдали со своими разнохарактерными очертаниями. Иркутянин, мещанин или казак, запрягает лошадь в легкие саночки и едет (по-сибирски бежит) в Лиственничную, проведать море. Вскоре потом потянутся из города обозы *за море* и зимний путь установится.

Но о зимних сообщениях мы поговорим ниже.

Три дня пришлось мне прожить в гостинице Лиственничной пристани. Проезжающих было мало, потому что каждый спешил перебраться через Байкал ранее, пока еще бури на

озере были не очень часты и сильны. Чем далее к осени, тем бурливее и неприветливее делается Байкал.

С половины ноября до половины декабря, а иногда и позднее, Байкал шумит и воет от сильных бурь; по озеру во всех концах носятся льды, дуют противоположные один другому ветры, сегодня набрасывает горы льдов к одному берегу, на пространстве верст десяти, обливает их потоками волн; завтра всю эту громадную массу ветер обрывает от берегов, разбрасывает по волнам, раскидывает по всему озеру и потом снова начинает набрасывать одну на другую у противоположного берега.

Затихнут на время бури и тридцатиградусный мороз снова примется сковывать Байкал льдом, но пройдет день-два и опять загремит Байкал и разметает льды в разные стороны.

Горе путнику, которого судьба бросила в объятия волн на утлом байкальском судне: носится это судно по Святому морю и качается с боку на бок, с носу на корму; хлещет в него и волнами, и глыбами льда. Судно обледенеет и в таком виде, иногда две-три недели,

плавает по Байкалу с одного конца до другого; то поднесет его ветер к берегу Кадильному, даст полюбоваться путнику на высокие горы и утесы, то помчит в другую сторону и, мыкая по своей прихоти, поставит судно против Посольского монастыря. Путник издали перекрестится на православную церковь и не успеет сотворить молитвы, как ветер подхватит судно и помчит его куда-нибудь в другую сторону.

Но зима все больше и больше заковывает море. Вокруг носящихся судов образуются плавающие ледяные массы верст на 6, на 7 в окружности; раздавленное, налитое водою судно примерзает ко льдам и путешествует по озеру вместе с ними. Паруса обледенеют, снасти все изорвутся, мачты и бока изрубятся на дрова. Продовольствие, какое было на судне, путники истребят в первую неделю и питаются потом всем, чем только возможно; бродят они, как тени умерших, по плавающему ледяному острову, не теряя все-таки надежды примкнуть к берегу.

С каждым днем больше и больше прибывает льду и наконец бурное море замерзает.

У устья речки Богульдеихи Байкал замерзает всегда ранее, чем в других местах, и обозы, не желая бесполезно прокармливать лошадей в ожидании, пока по Байкалу приложится зимний путь, идут обыкновенно через Богульдеиху, за неделю и более до открытия прямой дороги.

Когда же Байкал совершенно замерзнет, тогда с обеих сторон, с Посольской и Лиственничной, высылаются партии бурят и крестьян вешить дорогу, т. е. обозначать путь для проезда вехами и сбивать тороса.

В некоторых местах Байкал покрывается верст на 10–20 так ровно и гладко, точно зеркало, и едущие вешить дорогу, во время ветра, с трудом двигаются по льду; иногда человека ветер подхватит и свалит с ног: одно спасение — ножом или топором ударить в лед, чтобы удержаться на одном месте; другого неопытного крестьянина ветер катит по льду версты две, поворачивая с боку на бок, как кубарь, — пока он не догадается ударить топором в лед.

Почтовый тракт устанавливается следующим образом: из Лиственничной первая стан-

ция идет по берегу, до зимовья Кадильного; из Кадильного, тоже по берегу, до зимовья Голоустного, а оттуда одна станция перерезает Байкал поперек, до Посольского монастыря.

Станция эта имеет пятьдесят пять верст. Проезжают ее на одних лошадях безостановочно, проезжают скоро, всего часа четыре, а то и три: лед гладкий как стекло, только и слышно, как лошади подковами постукивают по льду.

При первом пути по замерзшему озеру встречаются небольшие розносы и щели; первые неизбежны в начале зимы при неровном замерзании Байкала, при постоянном отделении им своей внутренней теплоты; а щели образуются от давления на лед ветра, который волнует, раздвигает и разрывает ледяную поверхность. Разрывы на толстом льду и образование на нем щелей всегда сопровождается звуками, похожими на пушечные выстрелы и перекаты отдаленного грома; тонкий лед, разрываясь, не производит таких сильных звуков, а сопровождается только треском.

На тонком льду щели всегда опасны, пото-

му что у краев этих щелей лед гнется и обламывается; на нем нет точки опоры не только для лошади, но и для человека. Проваливаясь, лошадь, обыкновенно, бьется, силится выпрыгнуть на лед и больше его обламывает; образуется вокруг лошади полынья, в которую затапливаются и сани.

Одно средство спасения лошади в том, что ее наскоро выпрягают из оглобель или перерезают гужи, потом накидывают ей на шею петлю и давят; задавленная от спершегося внутри ее воздуха, лошадь всплывает на поверхность воды и ложится боком на ней как мертвая; в это время ее мгновенно выдерживают за шею и за хвост на лед, подальше от полыньи, снимают петлю и бьют лошадь несколько раз кнутом, пробуждая в ней жизнь.

После этого начинают ее гонять по льду, чтобы она разогрелась и не продрогла.

Такой способ более удобен при артели, когда сила людей превышает тяжесть животного; но когда нет возможности вытащить лошадь описанным способом, то употребляют другое, более остроумное средство: обрезав у

лошади гужи и накинув на шею петлю удавкой, подтягивают лошадь к краю льда; другой конец веревки привязывают к середине саней; в нескольких саженьях от полыньи во льду выдалбливают два отверстия и ставят, или вернее — втыкают в них сани стоймя, задними концами полозьев, на передние же концы саней налегают всею своею тяжестью и силой, стараясь опрокинуть их горизонтально и таким образом, как рычагом, вытащить санями на лед свою лошадь.

Поздней весною по Байкалу путь идет от Лиственничной до Посольска диагонально на 100 верст.

Эта последняя дорога называется по-сибирски *голометью*, бездорожицей; ездят по ней в 20 числах апреля, когда лед на Байкале почернеет; но с Голоустной и Кадильной от теплых ветров и лучей солнца лед разрыхлеет, образуются провалы, полыньи и около берегов, сажень на пять, на десять, лед растает.

Но когда и этот последний путь делается невозможным, когда лошади начнут проваливаться на каждом шагу, рыхлый лед побеждает, начнет ломаться у щелей и раскалы-

ваться иголками, тогда запоздавшие путники волей-неволей снова плетутся из Посольска в Култук и обратно. Это уже бывает накануне мая месяца и доказывает пользу этого сообщения. По Байкалу же в это время, за расстояние 100 вер. проезда, платится по 60 и 80 и даже по 150 рублей, смотря по тому, насколько путь опасен; бывает так, что два пеших работника везут, на маленьких саночках, седока, выбирая, где покрепче льдины.

Путь опасен, но есть люди, которые решаются на такую опасность: купец, падкий до барышей, предпочитающий денежные выгоды всему на свете, еще не так жалок: сам выбрал дорогу, а жалко, когда все страхи подобной поездки выпадают на долю человека служащего, который едет потому, что не ехать ему невозможно.

Далее читатель прочтет рассказ помора о том, как перебираются в весеннее время по Байкалу извозчики.

Самое благоприятное время для плаванья по Байкалу — май, июнь и июль. В эти три месяца редко бывают сильные бури и смелые поморы пускаются в Байкал на лодках.

Лодки обыкновенно делаются с одной мачтой и парусом; на них более 400 пудов не грузят. В ноябре уже редко кто пускается на судах по Байкалу, разве судьба задержит несчастное судно ветрами и заморозит его во льдах.

Таким образом, с половины ноября до половины января сообщение по Байкалу прекращается, грузы и проезжающие в эти два месяца тащатся по кругобайкальской дороге, по высоким горам, частью на верховых, частью на снях.

Почта на пароходах никогда не перевозится, потому что пароходное управление не берет на себя ответственности в случае какого-либо несчастья во время пути; а почтовое начальство отдать, на пароходе, доставку почты на других условиях, конечно, не могло, и почта весною, летом и осенью тянется по кругобайкальским горам.

В последних днях апреля и в первых мая по кругобайкальскому тракту начнут таять глубокие снега, забушуют горные ключи и речки, разольются топи, болота, разжизнут грязи, и почта 500 верст тянется дней 15, а то

и все три недели. С мая месяца, числа с 15-го, на Байкале лед исчезает и снова открывается путь для публики и товаров.

Следовательно, в весенних месяцах, с половины апреля до половины мая, и в зимних, с ноября до начала января, проезда по Байкалу не существует.

III

Каждый день я бесцельно ходил по берегу в ожидании парохода и слушал бесплатный концерт байкальских волн, шумевших по всему побережью.

Грусть и тоску наводил этот однообразный шум воды, набегающей волнами одна за другою к берегу. Посмотришь в даль моря и там видишь те же бесконечные волны; набегают они одна на другую, высокими горами вздымаются над бездною и, встретившись одна с другой, как два врага борются между собою и разбрасывают высоко в воздухе пенящуюся воду; а к песчаному берегу по-прежнему набегает одна волна за другою и по-прежнему рассыпается жемчужными брызгами по всему побережью.

Скучен и невыносим этот однообразный шум волн.

Во все время моего трехдневного скитания по берегу Байкала густые тучи сплошной серой массой закрывали синеву неба; изредка моросил мелкий дождь и вдруг переставал, потом снова начинал сыпаться едва заметными мелкими брызгами.

Вид был вполне осенний, кое-где прорывалась сквозь серые тучи остроконечная сопка какой-нибудь отдаленной горы и снова пряталась за тучей, сливаясь с общим тоном грустной осенней картины.

С моря долетал глухой шум; хвойный лес шумел и трещал в прибайкальских горах; в воздухе над водой носились стаи белых чаек и тревожный свист их, ежеминутно раздаваясь, страшно надоедал своим однообразным повторением...

Солдат кормил нас очень плохо и только на третий день, по общей просьбе всех пассажиров, достал из селения Никольского свежей рыбы.

— Да вы, господа, давно бы сказали, — говорил он, подавая на обед уху, — я бы вам

сколько угодно...

— Тебе же говорили, я думаю, раз десять, что твоей солонины и омулей в рот не хочется брать.

— Это справедливо... это я слышал.

— Ну так почему же не подавал свежей рыбы?

— Я полагал, — вы мясных щей, али-бо котлет желаете, а то есть ежели, насчет рыбы, то это сколько угодно...

— Что же вы здесь делаете зимой? — спрашивал я.

— Чего делать-то. Лежим как медведи в берлоге. Управитель в Иркутск уезжает, тоска здесь такая сибирская в ту пору, что хоть удавиться.

— А проезжающие разве тогда не ездят?

— Проезжающих тогда и слыхом не слышать. Тогда они все в Никольском останавливаются на почтовом дворе, а оттуда прямо на Байкал выезжают. Наша пристань в стороне остается. Вот теперь вы, может статься, уж последние наши гости и значит до весны нам вас не видеть. Ставни у гостиницы забьем досками, чтобы снегу много не надувало в

дом-то, а сами в которую-нибудь избушку переберемся.

— Скучно здесь зимой-то?

— Как не скучно. Все снегом завалит да заметет, посмотришь другой раз на горы али на избушки наши, так душа-то и занает — уж больно снежно кругом. Галки эти, проклятые, по снегу скачут да каркают, волки воют иной раз... Тоскливо, больно тоскливо зиму-то здесь жить.

— Зачем же вы здесь живете?

— А как же так-то оставить? Надо же караулить-то... Так нельзя же. Пожалуй из Никольского кто заберется. Тоже всякого народу и там много; а то и от рысаков надо беречься.

— От каких рысаков?

— От беглых... от варнаков значит, которые с каторжных заводов бегут.

— Что же они?

— А то же, пожалуй заберутся в избу и увидят, что караульных нет. Разведут огонь, греться будут, а потом так все и бросят. Им что? Пусть хоть все дома сгорят, они об этом не думают... Ну вот, знаете волка, каков он есть такой зверь бродячий, — таков и рысак,

все единственно что волк...

Но о рысаках и их путешествии по Байкалу мы поговорим в следующих главах.

На четвертый день, к общей радости всех пассажиров, наконец пришел пароход. Это был старый ветеран Байкала, «Наследник Цесаревич», плававший по озеру чуть ли не пятнадцатую осень.

Целый день шла на берегу работа, — весили товары, нагружали баржу и только поздно вечером кончилась нагрузка.

Несмотря на то, что пароход стоял у берега и выжидал перемены ветра, я поспешил перебраться в каюту: так мне надоел берег с его монотонным шумом волн; но перебравшись на пароход, мне пришлось беспокоиться за свою собственную жизнь: тревожный скрип старого корпуса до того меня перепугал, что я поспешил навести справки, в каком состоянии здоровья находится господин управляющий пароходством.

Сведения получились такого рода, что г. управляющий совершенно здоров, мыла не ест, лбом об стену не стучается, хотя и имеет некоторые странные привычки: людей, не

имеющих средств ехать в каюте, считает чем-то вроде бревен или камней и, выдав рогожи на покрышку товаров, лишает этих бедных людей возможности укрыться чем-нибудь от осенней непогоды. И таким образом бедняк, заплатив три рубля за 100 верст пути, мерзнет на палубе, ничем не защищенный; женщины, дети, старики, все это жметя и дрожит на 30 гр. мороза, и не позволяется им зайти хоть на одну минуту в машинную, чтобы отогреться хоть немного и хотя ненадолго укрыться от пронизывающего до костей холодного осеннего ветра.

Кроме этой странной склонности, г. управляющий отличался еще другою особенностью: он обращал особенное внимание на количество грузов, наблюдал, как их весили, и затем удалялся в свой флигель, не посетив ни разу вверенного его попечению парохода; отчего на пароходе была постоянная грязь, машинисты не чистили машины, штурман, исполняющий обязанности капитана, с утра до вечера был под хмельком, и, отдавая матросам приказания, всегда в виде шутки прибавлял нецензурную брань.

Получив эти сведения и нисколько не утешившись ими, я начал было раскаиваться, что решил ехать на пароходе, но возвратиться уже было поздно.

А пароход все скрипел да стонал, казалось, он сейчас же, тут же у пристани, разъедется на две половины, так он был, бедняга, стар и слаб.

Мои товарищи по путешествию нисколько не унывали и подкреплялись на дороге водкой, закусывая сырой замороженной рыбой, которую они отрезали маленькими кусочками и, посолив, отправляли вместе со льдом в рот.

— Это, знаете, — говорили они, заплетая обессилевшими языками, — это самое превосходное средство против байкальской качки: тошноты не будете чувствовать...

Затем следовало в десятый раз повторение приема превосходного средства и глотание обледеневших кусков сырой рыбы.

Вечером, часов в 11, ветер переменил направление. На пароходе началась усиленная брань, крики, беготня и, наконец, мы отчалили от берега.

Мои спутники давно спали, свалившись на диваны, и превосходное средство усыпило их до того, что страшный удар в палубе от свалившихся дров не произвел на них никакого действия, — храпели они так, что заглушали скрип парохода.

Я не спал долго и, как только пароход тронулся в путь, — вышел на палубу. Меня занимала невиданная до того времени картина: строгие очертания гор, остающихся позади, темная даль озера, волны, высоко вздымающие пароход, их глухой, сердитый шум и среди всего этого равномерный звук работающей машины, все это было ново мне и занимало меня; но чем далее пароход удалялся от берега, тем сильнее делалась качка; единственный на всем пароходе фонарь, висевший наверху мачты, начал делать такие широкие размахи, что у меня, глядя на него, закружилась голова и я, как угорелый, едва мог добраться до своей каюты. Долго я находился под тяжелым впечатлением пароходного скрипа и наконец заснул.

Путь наш, несмотря на мои опасения, окончился благополучно.

Я проснулся, когда пароход подходил к противоположному берегу Байкала, в семи верстах от Посольского монастыря. Утро было ясное, ветер давно затих, только неуспокоившиеся от ночной бури волны тихо, без шума катились на север, покачивая пароход с боку на бок.

Без особенных приключений мы съехали в лодке с парохода, близ зимней стоянки судов у залива, называемого Прорвой.

От Прорвы до Посольска около десяти верст; дорога идет то по гладкому зеркалу залива, то по песчаным берегам. Канал, соединяющий Байкал с заливом или Прорвою, почти не замерзает зимою. Он имеет два незначительных периодических течения в сутки из Байкала в залив и обратно.

Такое возвышение и понижение байкальского горизонта, или движение воды от севера на юг и обратно, служит доказательством, что Байкал имеет что-то похожее на прилив и отлив; на это, впрочем, не обращено до сей поры никакого внимания и возможность подобного движения отвергается, но оно есть единственная причина, что залив не замерзает.

ет. Этот залив есть не что иное, как озеро, отделенное от Байкала узкой песчано-галечной перемычкой, как будто плотиной, набросанною волнами Байкала, и прорванное водами залива, в который впадают три реки.

Пароходы останавливаются у Прорвы только в осенние месяцы. Летом они приста-ют против Посольского монастыря, верстах в полутора от берега: мелководье посольского берега не подпускает их ближе. Пристани на посольской стороне никогда не было и до сей поры нет. В бурную погоду много труда и опасности выпадает на долю проезжающих, осужденных судьбою нырять по высоким байкальским волнам в лодках и нередко принимать холодные ванны, потому только, что сибирское купечество и байкальское пароходство не считают нужным позаботиться об устройстве пристани и уделить для этого часть своих доходов, хотя бы для собственно-го удобства.

Иногда случается так, что пароход к Посольску и придет, а пассажиров на берег высадить нет никакой возможности, — волна идет такая большая, что лодку спустить нель-

зя. Что тут делать! Пассажиры смотрят на посольский берег и вздыхают, а в ушах их между тем слышится приятная речь штурмана: — Не угодно ли, господа пассажиры, отойти от борта, надо якорь вытащить да назад идти.

— Назад?! — грустно восклицают пассажиры.

— Да, назад. Зимовать нам что ли здесь. Видите, какая волна идет, — лодки спустить нельзя; а мне дожидать, пока стихнет ветер, не показано: на Лиственничной много груза лежит, я в это время успею еще забуксировать баржу и приведу ее сюда.

И едут пассажиры назад, проклиная в душе байкальское пароходство.

— А вы, господа, не сердитесь, — подшутит штурман, — вы будьте покойны: задаром ведь, бесплатно, вас катаем по Байкалу.

И то правда.

Посольский монастырь носит это название потому, что тут убит боярский сын Заболоцкий с сыном. Заболоцкий был отправлен в Китай в качестве русского посланника. Их убили монголы; а случилось это в давно прошедшее время, когда Россия с Китаем начина-

ла первые сношения. У монастырской ограды, в память этого события, поставлен высокий чугунный крест, но надписи на нем и близ него никакой нет.

Суда или, как называют их поморы, «корабли» пристают частью тоже против Посольского монастыря, или входят в реку Селенгу, по которой и тянутся вверх до пристани Чертовкиной, находящейся близ устья Селенги.

Река Селенга (что значит по-маньчжурски: «железная река») берет начало в Монголии в Хан-гайском хребте, на северной окраине го-бийской степи. Она протекает не в дальнем расстоянии от китайского города Маймайтчина, но потом отклоняется в сторону и, минуя Кяхту, является, так сказать, контрабандой на русской земле, верстах в 20 от Кяхты. Она многими, часто меняющими свое русло устьями, впадает с юго-востока в Байкал, засыпая в этих местах дно его целыми горами песка и ила.

Некоторые реки, впадающие в Байкал, как то: Утулик, Выдринка, Переемная, Снежная, Мурьина и Мышиха, принадлежат разным ведомствам и отдаются в оброчное содержа-

ние с торгов. Берут их на оброки разного звания люди, мещане, крестьяне, разночинцы, отставные солдаты, большею же частью казаки.

Получивший с торгов известную речку, строит на берегу зимовье и переселяется туда на временное жительство; некоторые речки принадлежат кочующим бурятам, которые тоже поселяются на время близ речек для промыслов.

Оседлой жизни на этих местах нет, земля для хлебопашества не обрабатывается, потому что местность для этого большею частью неудобна: камениста, болотиста или песчана; если есть кое-где часть земли, более или менее годная для посева хлебов, то сильные ветра препятствуют этому, выдувая из земли посеянные зерна.

Все означенные лица, взявшие с торгов ту или другую речку, летом ловят рыбу, сига, омулей, хайрузов, а кверху по речкам — выдру; осенью в горах и побережьях, поросших лесом, бьют соболя, белку, медведя, лисицу, кабаргу (*Moschus Sibiricus*), козулю (*Cervus Capreolis*), оленя, лося, росомаху, волка, зайца

и особенный вид сурков. Весною по льду Байкала бьют нерпу[4].

Из рыб всего более в Байкале водятся лососиные (*Salmo*) омули, самые многочисленны. Кроме того, водятся осетры; их ловят в то время, когда они входят в реку Селенгу, и удачно только в таком случае, когда идут они стадами; иногда попадаются осетры весом пудов в пять; мечут они икру и в Селенге, и в Баргузине, откуда она уносится в Байкал для настоящего оплодотворения.

Таймень, самая бойкая рыба, водится в Байкале преимущественно около юго-западных берегов; сиг, налим живут и плодятся всегда на одном месте и, по месту жительства, имеют различный вкус и цвет кожи.

При таком обилии рыбы, из птиц более всего, конечно, рыболовов: черный баклан бьет их своим острым клювом и иногда сотни убитой рыбы плавают на поверхности воды, около места нападения черного баклана; за ним следует неизбежная его спутница, белая чайка, и белоголовый беркут.

Зверя ловят различным способом, и каждый из зверей имеет свои уловки, более или

менее хитрые.

Всех проще белка и бурундук, — они легко попадают на приманку, в *плашки*; на них охотник и заряда не считает нужным тратить. — «От моих рук мол, вы, простоватые зверьки, не уйдете», — думает охотник. Лисица и росомаха всего чаще попадают в капканы и самострелы; при случае их бьют из винтовок.

Соболь, этот пушистый и более других ценный зверек, избегая преследований охотника, зарывается в снег и охотнику приходится долго трудиться, окапывая место убежища соболя канавкой, до самой почвы; канавку эту окружают со всех сторон тенетами, чтобы подстеречь хитреца в то время, когда он высунет мордочку из своего тайного убежища. Заметив соболя на дереве, хорошие стрелки бьют соболя всегда в голову и никогда не портят его шкуры пульей.

Речная выдра, преследуя рыбу, часто попадает сама в рыбные мережи.

Если принять во внимание все лишения, которые переносят зверопромышленники на промыслах за зверями, то надобно сознаться,

что недешево им достаются те красивые меха, которыми так любят пощеголять все более или менее богатые люди.

Добывая эти меха, зверопромышленник часто обрекает себя по несколько суток на молчание, мокнет на дожде, мерзнет на холоде и постится, в полном значении этого слова. Часто случается ему без устали преследовать ускользающего от него зверя по угрюмым непроходимым лесам, каменистым россыпям, буеракам, горам и оврагам.

Вечно пирамидальные ельники, со своими длинными сучьями, темные пихты, кедры, сплетшиеся непроходимую стеной, скрывающие собой мшистые топи и болота, — враги и предатели зверопромышленников; да и кроме того косматый староста сибирских лесов, медведь, имеющий сажень длины, часто дает знать о себе неосторожным звероловам.

На северной стороне Байкала часто кочуют тунгусы в маленьких берестяных юртах. Ведут они почти такой же образ жизни, как и буряты, но живут грязнее и беднее последних. Бродячий тунгус питается Бог знает чем: попадется ему падаль, он нисколько не задума-

ется и обратит ее в свою пищу, всякий зверь, им убитый, тоже идет в пищу; летом тунгус ест всякую ягоду, какая бы она ни была, — грибы, коренья растений, заболонь сосны, рыбу, там, где она водится, и ест он ее часто в сыром виде.

Тунгус, живя бродячей жизнью, почти ничего не припасает на долгий срок, кроме сушеной рыбы, да и то не всегда. Те из них, которые имеют рогатый скот, как например куленгинские, менее других бродят и не делают таких больших переходов, как те, которые не имеют скотоводства.

Перекочевывая на новое место, тунгусы на лошадях перевозят вьюками свое имущество, которое напоминает собою об отсутствии всякого имущества. Верхом на лошадях они ездят легко и ловко; на промысле зверя и в погоне за ним неутомимы, и быстро, не уставая, преследуют зверя через горы и пропасти. В это время они сами похожи на зверей: на головах их нет ни в какое время года шапок и их косматые волосы развеваются на ветру; на ногах часто нет обуви, платье едва прикрывает тело и, во время погони за зверем, с лица

тунгуса исчезает все напоминающее о человеке, — глаза горят злобой, на губах накипает слюна, и только винтовка или нож в руке его напоминает о том, что он человек.

Они подвергаются всевозможным лишениям, часто скитаются по несколько дней без пищи; все они тощи и между ними никогда не встречается таких жирных, толстых людей, как между бурятами. Продолжительность их жизни от 35 до 45 лет, а до глубокой старости почти никто не доживает. Они вообще ловчее, статнее и красивее бурят, не имеют так сильно сплюснутых и угловатых форм лица, какие постоянно встречаются у бурят; есть между ними белокурые и часто, между молодыми женщинами и девушками, встречаются приятные беленькие личики, голубые глазки; многие из тунгусок стройны, веселы и живы, точно сибирские козы.

Тунгусы, живущие на северо-запад от Байкала, красивее не только бурят, но и забайкальских тунгусов. Их берестяные лодочки, встречаемые на р. Лене и ее притоках, называются ветками, они очень легки на воде и весьма удобны для переноски на суше, пото-

му что не составляют большой тяжести. Плавать же на этих ветках человеку неопытному не только опасно, но почти невозможно, — для этого нужен большой навык и ловкость.

Нерпа, продувая весною лед Байкала или отыскивая на льду трещины, вылезает на свет Божий, понежиться под лучами весеннего солнца, но она имеет хорошие глаза и охотнику трудно близко подобраться к ней.

Буряты и прочие зверопромышленники охотятся за нерпой следующим образом: охотник надевает на колени кожаные или войлочные подколенники и, заметив издали то место, где нерпа вылезла на лед, — ложится сам тоже на лед и начинает ползти вперед; во избежание того, чтобы нерпа не заметила его приближения, он катит впереди себя маленькие саночки, которые спереди закрываются небольшим белым парусом. Нерпа греется на солнце и не воображает, что против ее особы приняты такие хитрые меры; на случай опасности она далее трещины не отходит, надеясь, что при первом моменте покушения на ее жизнь она успеет ускользнуть под лед. Охотник приближается, нерпа смотрит на па-

рус и думает, что это торчмя стоящая льдина (торос); но вот охотник подкрался на ружейный выстрел, прицелился — и нерпа убита наповал пулею.

Нерпу нужно бить непременно наповал, так чтобы она и встрепенуться не успела; если же удар сделан неверно и нерпа не умерла в ту же секунду, то для охотника она исчезла бесследно: раненая нерпа не будет биться на льду в предсмертной агонии, а тот же час юркнет в ту трещину, около которой грелась на солнце.

Буряты употребляют мясо нерпы в пищу и, по отзывам их, оно очень вкусно; но, впрочем, полагаться на их отзывы не следует: они не много разнятся от тунгусов и едят тоже почти всякого зверя, у них даже и белка идет в пищу.

Жир от нерпы продается на выделку кож, на освещение, из него готовят также разные мази; шкура животного употребляется на сапоги, на обивку сундуков, некоторые из сибиряков шьют себе из нерповой кожи шубы.

Иногда промышленники приезжают на

промыслы со всем своим семейством. Женщины и дети собирают в осенние месяцы ягоду (морозку, чернику, голубицу, паленику, малину, рябину, бруснику, смородину), грибы (рыжики, масленники, грузди) и разные лекарственные травы.

Весною из-под снега буряты собирают листья бадана, который в большом количестве растет по склонам гор, между камнями.

Настой из этих листьев они пьют вместо чая и, по словам их, этот напиток хорош, но только весною, когда перемерзнет после зимы; осенью же он очень мясист, вяжущ и для употребления вреден.

Корни бадана употребляются в Забайкальской области для окраски кож и шерсти в черный цвет.

По бокам гор и на их выпуклых вершинах, называемых по-сибирски подушками, густо растут громадная лиственница и сосна; посреди елей, пихт и берез стройно возвышается бальзамический тополь; по течению рек, извиваясь вместе с ними и сбегая с гор, темнеют кусты черной смородины; всего же красивее и больше из породы мелких кустарни-

ков можно встретить даурийский рододендрон, сибирский багульник; в половине мая целый берег покрывается его красивым темно-розовым цветом.

На забайкальских горах растет ревень; лист его звероловы употребляют в пищу — варят его точно так же, как листья капусты; насколько такие щи вкусны, мне не случилось пробовать.

По причине сильных морозов, на высотах байкальских, плоды не могут поспевать, но овощи, как например, белая капуста, картофель, репа, горчица, хрен, различные виды лука, а также и гречиха, растут хорошо и созревают вовремя.

В степях байкальских у бурят известны многие корни растений, которые они употребляют в пищу; главные из них — *сарана*, род луковицы. Этот корень, испеченный в золе, дает мягкую кашу, на вкус несколько сладковатую.

Теперь, в заключение этой главы, несмотря на то, что задача этой статьи — познакомить читателя только с прибайкальской жизнью, я, тем не менее, считаю не лишним дать

некоторое понятие о том, сколько добывается во всей Забайкальской области звериных шкур. Вот приблизительные цифры:

Беличьих шкурок обращается в продаже, средним числом, до 450 000

Соболей (самый лучший сорт соболя баргузинский) 1800

Лисицы различных видов 2000

Волчьих шкур 1000

Медвежьих шкур 300

Диких коз убивается до 4500

Оленьих шкур 1000

Кабанов убивается до 200

Рысей, росомах, выдр, степных кошек и зайцев — цифра неизвестна; но в продаже их, по отзывам торговцев, бывает на две и на три тысячи рублей серебр. в год.

Все эти цифры не могут быть совершенно точными, потому что точных сведений собрать невозможно; но приблизительно они дают некоторое понятие о том количестве зверя, какое убивается в продолжение года.

Здесь кстати будет указать, какое количество народонаселения в Забайкальской области, тем более, что если уж начали занимать-

ся цифрами, так ими и покончим главу.

Народонаселение Забайкальской области
355 000 д.

Пространство ее (в квадратных мил.)
10 905.

Следовательно, на квадратную милю приходится всего по 32 души. Что ж! И эта цифра еще почтенная, тем более, что на квадратную милю в Сибири вообще приходится только около 16 душ.

IV

В Посольском селении я познакомился с одним стариком крестьянином, с которым мы, в первый раз моей поездки за Байкал, долго беседовали. Старичок оказался весьма разговорчивый человек и на вопрос мой, как они занимаются рыбной ловлей, рассказал следующее:

— Промыслы наши, ваша милость, любят погоду неясную, так чтобы солнышко за облачко ушло, спряталось бы; а то нет лучше, если еще маленький дождичек порошить начнет — этого нет лучше. Такое-то времечко нам, значит, самое что ни на есть любезное

дело и зовем мы его омулевой погодкой, потому — в такую пору лов бывает всегда самый добрый и спорый. Рыба эта наша байкальская теснится что ли в такую пору, али что-нибудь другое тут деется — Господь батюшка знает. Ну, только я вам, ваше почтение, скажу, что раньше половины августа месяца, значит до самого праздника Успеньева дня, за промыслы у нас почитай что никто не принимается. Потому, выходит, все равно, что бросай тоню, что нет, толку никакого не будет, — вытащишь разве из воды только камешки какие маленькие, а больше ничего не достанешь. Ну, после Успеньева дня совсем другая статья.

— Как же тогда?

— А тогда уж улов будет. Тогда, значит, после праздника-то, как быть должно по христианству: перво-наперво Богу помолимся, а потом и за работу.

— Как же вы ловите рыбу?

— Обыкновенно ловим, как и везде добрые люди, так и мы. Бросаем невода, один конец завозим на лодке в море, а другой на берегу закрепляем, — середина-то его заглубнет в воду, а потом лодка приплывает назад к берегу,

тогда и начинаем стягивать невод, как мешок в одно место, вытянем да и выберем рыбку.

— А много попадает за один раз?

— Всяко бывает. Кому какое счастье. Бывает так, что тоню-то не могут человек двадцать вытянуть, лошадей припрягают к столбу да закручивают невод, — так много в нем рыбы попадет; а другой раз и пуда не наберется. Бывает ину пору так, что когда тоня еще в море и неизвестно, будет ли в ней рыба, али не будет, — богатые мужики, на счастье, покупают за глаза всю тоню, что, мол, Бог даст; ну и купит: удастся хороший лов, — в барышах будет, а непосчастливит, так, значит, задаром денежки выложит. Раз как-то купец из Кяхты проезжал, увидел на берегу огни, балагашки эти раскинуты; видит, народу хлопочет около берегу много, шум да говор стоит такой, ну и велел ямщику подъехать, любопытствовать захотел значит. Подъехали. Наши ребята и говорят: — Купите, мол, господин купец, на свое счастье тоню. — А что, говорит, вам за это дать? — Пятьдесят, говорят, рублей. — На́, говорит, бери деньги... Господи, говорит, благослови... — Только, ваша милость, стали ры-

баки этот невод вытягивать, не могут, — сила не берет, — двух лошадей припрягли; а купец животики надрывает, хохочет. Ребята тянут, — не до смеху им, видят, что прогадали много, а воротить нельзя. Вытянули невод полнехонек рыбой. — Что же, говорит купец, теперь я с этой махиной делать стану? — Почесался, почесался, помолчал, да потом и говорит: — Возьмите, говорит, ребята рыбу себе, да дайте часть в монастырь, за мое здоровье... — Вот тоже и монастырская братия рыбкой промышляет, только у них невода небольшие.

— Куда же вы с берега деваете рыбу? Ведь она может испортиться, если ее так много в одной куче лежит?

— Мы ее солим. Тут же на берегу, как только из воды рыбу вынимаем, сейчас же и солить и в бочки укладывать. Работа в ту пору у нас идет горячая, бабы и малые ребятишки все работают; иной раз еще и нанимаешь со стороны народу, бурят, тунгусов, — всем тогда дела много бывает, только успевай работать. За соленье платим, когда чужие люди эту работу справляют, по 2 р. 50 к. с бочки; да эта це-

на не одинакова, потому, значит, глядя по улову. Когда хороший улов-то бывает, тогда за соленье цена и до пяти рублей доходит, да тогда не жалко и деньги платить такие, потому рыбки Господь батюшко дает в изобилии [5].

— Говорят, дедушка, соль ваша здешняя нехороша и рыбу только портит? — спрашивал я.

— Нет, напрасно. Это только российские господа говорят так про нашу соль, этому вы не верьте, потому если бы омулек-то от соли портился, так кто же бы его стал покупать? Нет, соль у нас чудесная, право.

— Так зачем же к вам из Западной Сибири соль сюда привозили?

— Да, это действительно было. Только это не для омуля, а был, значит, разговор о том, что, якобы, паисную икру готовить из нашей здешней икры; ну для этого, действительно, наша соль не по вкусу пришлась. Привезли было из Тобольской губернии, из Омского округа, есть там соляные озера, Коряловские называются, вот из них-то, значит, и привезли соль, да тоже дело-то не удалось,

так его и оставили. Да оно и лучше.

— Как лучше? Отчего?

— Да так. Зачем оно? Слава Богу, рыбка нас кормит, икорку мы тоже солим понемногу. Мы, ваша милость, очень довольны от Господа...

— Какие же здесь у вас главные рыбные промыслы?

— Промыслов здесь, батюшко, много. Байкал велик. Вот мы здесь около нашего места рыбушку ловим, другие в другом месте... Есть промыслы почти на каждой речке.

— Какие же, я спрашиваю, главные-то? На которых больше рыбы ловится?

— Кто их знает. Год на год не приходится. Нынче здесь много, а на другой год в другом месте... Большими-то промыслами считают у нас селенгинские, а после них баргузинские, потом котцовые, Коргу... Ну дальше-то уж, пожалуй, и помельче.

— И все омуль?

— Все больше он, омулечек, наш-то кормилец. Попадает тоже, только уж так, за компанию будто, другая рыба, — той уже не в пример меньше. Омуль у нас здесь, все равно что

царек! Недаром про нашего брата сибиряка и пословица сложилась, что ежели, говорят, сибиряк умирать будет, так ему губы только помажь омулем, — сейчас оживет... Есть у нас еще здесь, ваша милость, рыбушка одна, голомянка прозывается. Это уж совсем особенная рыбушка, маленькая она такая да жирная, ну вот все равно, что один жир! Особенная рыбушка, и нигде больше о такой рыбе не слышать. Поймать ее нельзя, в невод не попадается, потому мелка уж очень, проскакивает из невода; на удочку никогда не идет, да ее и не видать около берега в тихую-то погоду.

— Как же вы ее ловите?

— А ловим мы ее... Да чего я говорю? Какое — ловим. Мы ее совсем и не ловим, а просто собираем руками по берегу.

— Как же так? Разве она на берег выходит?

— Нет. Бедная она, голомянка-то эта, совсем она бедная рыбушка, нам ее и самим-то жалко, признаться, — маленькая уж она очень: силенки-то видно у ней нет вовсе... Ветра ведь здесь, по осени-то особливо, бывают большие, ну как поднимется большой ветер, *гора*, ее бедную, голомянку-то, вместе с

волнами и выбрасывает на берег, тут она с од-ново разу и жизни решается. Где камень, где што и песок ведь тоже жесткой, особенно как ее бедную с размаху-то выбросит... Затихнет эта буря и пойдут наши ребята, бабы и девки по берегу, голомянку собирать. Потом мы ее приготавливаем на масло: вытопим, значит, жир и едим его вместо масла, ничего, ладно, кушанье скусное. А то, рассказывают наши зверопромышленники, как медведь эту голомянку жрет, — просто удивленье. Тоже сметил и знает, в какую пору надобно к берегу выйти, и выйдет. Буря уляжется, он и шастает с горы, из лесу-то густова на берег, нагребет лапой этой голомянки кучу и шамкает. Зверь, зверь, а догадка есть, — тоже небойсь безо время не пойдет по берегу, голомянку искать [6].

— Какие же у вас здесь больше ветра дуют? Вот вы давеча упомянули какой-то ветер, горой его назвали.

— Да, это точно. Есть у нас здесь гора ветер. Этот ветер самый что ни на есть опасный (NW); набегает он всегда почти вдруг, нежданно-негаданно. Наши корабельщики и знают

его только по одной маленькой тучке, которая незадолго до этой горы в небе показывается. Тучка-то эта такая маленькая, с пятнышко, а уж опытный корабельщик ее увидит. Дует гора сильно и дует все из падей, которые между горами находятся. Такой же, только немного поскромнее, есть ветер сиверко (N), дует он сильно осенью и холодный такой, так лицо-то ровно бы ножами режет. Другой раз навстречу этому сиверке полетит другой ветер и пойдут на море спорить, забурлят, поднимут воду и толкунцы разведут.

— Что это значит толкунцы?

— А толкунцы значит — валы с разных сторон на море набегают один на один и начинают бороться, от этого по волнам беляки поднимаются; ну наш брат помор и видит, что Святое море забурило, рассердилось.

— Какие же еще есть ветра?

— Есть ветер култук (SW). Этот ветер самый что ни на есть лучший и благоприятный для плавания нашим кораблям, когда они бегут из Лиственничной в Селенгу. Для этого пути он самый способный. Потом есть два ветра: баргузин (O) и верховик (NO); эти способ-

ные ветра из Селенги к Лиственничному идти. Неспособный и бойкий ветер шелон (SSO); сердитый этот ветер и нашим кораблям плохо, когда они в ту пору около Лиственничной стоят: рвет он их с якорей и качает без милосердия. Есть ветер полдень (W), он самый тихий, его как будто у нас и нет, — редко-редко когда подует. Ну еще есть ветер с земли, снизу будто дует, со дна моря: зовут его наши корабельщики, — холод (SO). Вот и все я вам ветра наши рассказал, больше у нас никаких ветров и нет. Ветра-то, они летом-то и ничего бы. А теперь вот пора такая начинается, что в них никакого и порядку не будет, начнут дуть, то один, то другой, до половины-то зимы так принаскучат, что хоть бежать отсюда так в пору.

— Бурное ваше море, дедушка, беспокойное. О нем у нас и в России говорят, что оно бурное, сердитое.

— Напрасно они это говорят, ваше почтение, и вы этому не верьте. Наше море сердито да милостиво, покачает, поломает судно, а все же людей не погубит. Недаром же его и называют: Святое море. А Святое оно потому, что в

нем ни одна душа христианская не погибла.

— Не может этого быть, дедушка, неправда. Нельзя этого утверждать.

— Нельзя этого, батюшка, про другое место утверждать, а про наше Святое море можно, потому оно Святое... Да вот я вам расскажу, какой однажды был с нашими ребятами случай.

— Расскажите, — согласился я.

— Было дело лет тому десятков назад. Возвращались наши ребята из-за моря, кладь возили они в ту сторону и ехали обратно с пустыми санями. Долго что-то они в Иркутске позамешкались, а время было позднее: апрель на исходе и солнышко уж грело совсем по-летнему. Было у них лошадей сорок с сорока санями, да их самих видно человек пятнадцать. Выехали они с Лиственничной пристани рано-рано поутру, норовили, значит, так, чтобы к вечеру-то добраться до Посольского. А время, говорю, было позднее и почтовые станки давным-давно были сняты, ездили голометью, прямо то есть наперерез Байкала. Поехали наши ребята; едут и думушки не думают о том, что время наступило весеннее.

Только отъехали они верст 30, стали замечать, что лед все мягче и мягче; чем дальше, тем труднее лошадям идти стало. Остановившись было, подумали маленько, да и опять поехали, — дескать, ничего, Бог поможет. Кони у них стали уставать и чуть только ногами передвигают, а ноги-то давно уж по колено в воде; взмолились мужики, почесались, а возвратиться назад не хотели, потому — дорого стоит содержать на чужом дворе коней, да самим месяца полтора без дела проедаться. Постояли опять немного, посмотрели на все четыре стороны, видят по разным своим приметам, что отъехали разве-разве верст 40, а дело уж к вечеру подвигалось, солнышко спряталось за высокими горами. Опять поплелись; смеркаться стало; мягкий снег стал порошок, да такой теплый-теплый, — падает и тает, глаза у ребят залепляет своими хлопьями, — вперед ничего не могут разглядеть. Стемнело. Ночь сделалась такая темная, точно вот осенью, — все небо заволокло. Мужики вздыхают, охают, молитву к Господу творят, а все потихоньку вперед да вперед двигаются. Лошади совсем утомились да и тоже стали

побаиваться: где помягче место — не идут, пятятся назад. Только так-то проплелись еще много ли, мало ли, вдруг передняя лошадь совсем встала; а снег все сыплет да сыплет, ровно пухом и тает на лету, сыплет и тает, глаза мужикам залепляет... Тишь такая на море стояла, теплота — страсть! Встала лошадь и не идет. Парень ее было стегнул; лошадь лягнула ногой — не идет. Подошли человека три, смотрят, — вода, трещина на льду сделалась сажени на две шириной, а где конец этой трещины, только один Господь батюшка знает. Поехали они искать конца этой трещины вдоль по морю, да так всю ночь и промаялись, а конца не нашли. Устали бедные, истомились, проголодались; а море все нет-нет да и выстрелит, да страшно таково выстрелит и глухим таким шумом подо льдом загудит, загудит... Это значит в другом месте по морю опять новая трещина сделалась. Стало светать, а ребята наши все на середине моря, все около трещины возятся и перебраться через нее не могут. Были с ними, на всякий случай, лома два-три, да лопат тоже штуки четыре-пять; — стали они заводить льды в трещи-

ну, отбивали, значит, их ломами от одного места да и запруживали ими трещину; к полудню-то, видно, кончили работу, сделали ледяной переход. Стали переправляться. Кони, которые бывалые да опытные, те уж знали, как надо действовать и тихонько перебирались по льду по трещине, а молодые-то лошади, неопытные-то, пятились, боялись и не шли; стали их связывать, да на санях перетягивать через трещину. Перетянули одну, другую, только потом сани стали грузнуть, лошадь еле-еле перетянули на санях-то, а лед совсем измялся, как каша какая стал. Видят, дело плохо. Пугнули было лошадей кнутами, авось с маху перескочат; лошади не идут, только одна бросилась с маху и затонула; мучились, мучились, вытягивали ее, — ничего не могли сделать: силы-то нет да и лед-то мягкий. Перетащили они лошадей пятнадцать, а остальных не могли: так их бедных на верную смерть и оставили. Жалко было им на них смотреть, а они вот ровно как будто люди, видят, что им бедным плохо приходится, повесили головы низко-низко и печально так смотрят. Мужики всплакались. Потащились

дальше; идут-идут да посмотрят назад, а бедные лошадки все стоят около трещины... И те, которых они перетащили, тоже, говорят, поворачивают головами-то назад, — бедные лошадки! Потащились они еще немного и все им путь труднее и труднее делался. Только до того дошло, что лошади стали по брюхо во льду грузнуть. Видят мужики, дело плохо, — побросали лошадей, сани и пошли одни. Двигаются кое-как, по колено в воде, силы-то идти не хватает, голодны, а идти надо: умирать на море не хочется. Солнышко весело таково играет и еще больше их печалит, — потому того и гляди, что вся ледяная каша растает. Господи! Сколько горя тут было! Потом, когда они рассказывали, так просто мороз продирает по коже... Ну, прошли они еще, много ли, мало ли, — идти стало нельзя, ноги уж очень глубоко грузнут во льду, а силы и совсем не стало; свалились ребята на брюхи и лежат на льдине, почитай совсем в воде. Смотрят, — селение наше Посольское стало видно, крест монастырский на солнышке играет. Заплакали ребята, завыли, на церковь Божию глядя, и стали они разные обеты давать, батюшке

угоднику божию Иннокентию иркутскому, — крестятся, плачут... Только что же? Лежат они на льду, совсем, значит, обессилели, а монастырская церковь к ним все ближе и ближе, — вот уж и берег стали различать, лодки на берегу видят, народ... Крестятся ребята и дивятся!.. Еще ближе берег стал, и тут только они заметили, что Святое море тронуло льды и их на большущей такой льдине к берегу прибывает. А с берега уж давно лодок пятнадцать отчалило и пробираются между льдинами. Так и спас их батюшка Иннокентий угодник. Вышли они на берег и пошли прямо в монастырь, молебен служить. Собралось все наше селение в церковь, тесно стало, вот точно как в Христов день. На лицах у всех такая радость, и плачут-то все, и улыбаются, и уж я не могу вам, ваша милость, рассказать, как-то хорошо тогда было у всех на сердце. Малые ребятишки, женщины, девушки, старики, — все собрались в церковь и в церкви же целуются, обнимаются со своими спасенными родными, — не могут, значит, чувств своих удержать. И что же, ваша милость, наше Святое море сотворило? Ведь вы просто не повери-

те!.. Пока мы все во храме Божиим были, благодарили Господа Бога, а море уж успело все льды унести к Баргузину, выходим, смотрим, — лето: снаряжай судно, да и поезжай в море. Вот оно каково, Святое-то море! Золота, серебра, товаров всяких, чаев китайских много оно проглотило, а души человеческой ни одной... С чаями так завсегда уморительно бывало. Потонут, например, чай, и кажись, кончено уж, поминай как звали, так нет: пройдет этак неделя-другая, — все ящики всплывут поверх моря и начнет их ветром вышвыривать на берег. Ящики, как ящики, а чаю в них нет: Байкал весь его себе заберет, омуля видно им угощает; а делается эта штука, надо быть, оттого, что когда чай-то потонут, кожа-то на них размокнет, ну и начнет в ней камышовый-то ящик трясти в разные стороны, весь чай-то из него и вытрясет. Золото, так вот то не выбрасывает. Раз как-то купец ехал в Кяхту, вез он тогда много золота контрабандой и все его в Байкале утопил. Так весь его экипаж со всем добром и ухнул, зимой дело было, тоже перед весной уж...

— Как же это случилось, что он потопил

все?

— Экипаж провалился под лед.

— Как же он сам уцелел?

— А вот как. Я вам расскажу все это подробно. Случилось такое дело давно, лет пятнадцать, а то и все двадцать назад; тогда еще я сам корабельщиком был, по нашему Святому морю плавал. Теперь уж стар стал и корабль мой давно на дрова ушел... Ну. В ту-то пору и случилось такое дело. Ехал по Байкалу, последним тоже путем, купец один, тобольской кажись, ехал он в большом летнем тарантасе, поставленном на зимний ход. У нас ведь здесь по Забайкалью-то, надо вам сказать, снега бывают малые, а особенно туда, к китайской-то границе. Ну, купец тарантас свой не хотел оставлять в Лиственничной, сколько его ни уговаривали, что, мол, так и так — опасно; нет! Заплатил рублей полтораста и подрядил везти его тарантас. Потому он не оставил этого тарантаса, что он у него был с разными секретными ящиками, в которых и было нагружено золото. Повезли купца в тарантасе; все благополучно ехали, и почитай что до нашего Посольска доехали; осталось,

так видно, версты три-четыре, — вдруг лошади стали грузнуть: полынья попала под них, да полынья-то небольшая, всего сажени две шириной, а перед этим самым днем морозец стоял, ну ее и подернуло сверху-то ледком, ямщик-то и не заметил, вкатил прямо в полынью. — Ну, ну, туды-сюды — нет! Обрубил он гужи, настегнул коней и рад, что они проскочили по полынье благополучно. Купец трухнул порядочно: видит, тарантас стоит на тонком льду и лед под ним подогнулся, того и гляди — обломится и рухнет на дно его тарантасик. Послал он ямщика к нам в селение верхом, собирать народ, чтобы, значит, народом тарантас вытащить с тонкого льда. Собралось народу человек пятьдесят. Стоят все в стороне, толкуют, рядятся с купцом. Купец просит, молит: батюшки, говорит, отцы родные, возьмите, что хотите, только вывезите мой экипаж; а об том ни слова, что в потайных ящиках у него хранится золото. Лучше бы было, когда бы он сказал да велел бы выбросить мешки из экипажа, — целы бы они теперь были. А то, нет вишь, побоялся... Ну да вправду-то коли сказать, за контрабанду тогда суд

был строгой. Толковали, толковали наши по-
сольские жители, а подряда, вывести экипаж,
не берут: тот подбежит, другой попробует, да
и назад отбегает, потому что лед-то под таран-
тасом был очень тонок. Прошло с полчаса. Та-
рантас еще больше загрузился в воду; а теп-
лынь тоже была такая — страсть: лед рых-
лый, да такой рыхлый, что народ толпой сто-
ять не мог. Упросил купец принести веревок,
хотели было веревками вытянуть экипаж. На-
несли веревок и стали привязывать их, где
можно было. Смельчаки в воду по грудь захо-
дили, привязывали веревки-то эти, кто за ко-
леса норовил засунуть, кто за козлы, кто за
что мог. Навязали этих веревок целый ворох
и хотели народом вытянуть тарантас; попро-
бовали было, — нет, сила не берет: уж очень
он грузно засел. Что делать. Купец просто го-
лову потерял, ошалел совсем: стоит в сторон-
ке, глаза выпучил и дико так смотрит на свое
добро. Начало смеркаться, а тарантас все не
вытащили. Порешили ребята укрепить его за
веревки на кольях. Стали вбивать колья, а ко-
лья шатаются во льду, как в киселе. До полно-
чи так-то мучились, все думали: вот Бог даст,

к утру подморозит и можно будет тогда вытянуть тарантас. Нечего делать, купец, волей-неволей, пошел вслед за народом к нам в Посольское и оставил на волю Божию свое добро, на рыхлом льду в полынье, да чуть не по самую половину в воде. Вся надежда была только на то, что авось Господь Бог поможет, пошлет ночью мороз... Разошлись все с моря. Стал дождичек накрапывать, да такой теплый-теплый, а к утру таким проливнем ударил, что и летом-то так редко бывает. Как купец эту ночь пережил — Бог знает, а только надо быть, она ему не коротка показалась, и на душе-то, чай, не больно легко было. Рассвело. Вышел народ на берег, а тарантаса уже и следа нет и лед от берега унесло весь; синева такая протянулась по морю, точно летом. Так все добро купца и пропало. Захворал он бедный очень, слег, доктора ему из Удинска привозили. Долго он у нас в Посольском пролежал и все, сказывали, бредил тарантасом: веревки, говорит, покрепче привязывайте... вытягивай, говорит... стой! полынья... золото!.. Все, вот так, сказывают, бредил и кричал. Мужиков по пяти в это время его держали —

рвался, вишь, он у них из рук-то. В горячке, надо быть, лежал бедняга. Ну, прошел на море лед, наступила весна и стали мы делать на том месте розыски, пловцы наши ныряли, да так ничего не могли найти, место-то што ли уж очень глубокое было... Да его, чай, на том месте-то и не было уже по весне-то, унесло, полагать надо, по дну-то невесть в какую сторону... А все же о себе, после, тарантас этот дал знать, — выкатило Святое море на берег кожаную верхушку с тарантаса; потом через месяц, али-бо через два, тунгусы нашли на берегу, около Баргузина, козлы, передок, значит, от повозки; у козел-то веревочка привязанная болталась, уцелела вот тоже как-то, а где-где не была, чай, по морю-то разгуливая...

— Так и не нашли золота?

— Не нашли. Все в море осталось. В нем, полагать надо, много всякого добра схоронено.

— А водолазов у вас здесь нет?

— Собак-то это?

— Нет. Люди такие есть, что на глубину морскую опускаются.

— У нас здесь таких людей, Бог милует,

нету.

— То есть, что это значит — Бог милует?

— Да так. То есть, у нас все люди православные больше...

— Да и водолазами могут быть тоже христиане.

— Нет уж, как это можно...

Старик покачал головой и пытливо посмотрел на меня. Долго я его уверял, что на дно морское опускаться нет никакого греха, рассказывал ему, что в этом случае употребляются особые препараты для дыхания. Старик слушал и качал головой.

— Да как же, ваша милость, к нам в Святое море, на такую глубину, водолаз полезет? Ведь оно, наше-то море, дна не имеет?

— Ну, около берегов, где глубина не очень велика, саженьях на двадцати, тридцати... И в морях больших тоже не опускаются на страшную глубину...

— Ничего этого у нас нет, слава Богу...

— Отчего же так?

— Да так. Лучше. Жили же прежде по-старому, по-старому и век свой доживать надо.

На этом и прекратились наши беседы. Я

пробыл в Посольске до позднего вечера и мой знакомый старик с поклонами меня отправил в путь, присовокупив еще на прощанье, что в Байкале ни одна человеческая жизнь не погибла.

Из Посольска дорога идет в Степную. Здесь тянется плоская низменная наберега Байкала. Кое-где виднеются мелкие березовые перелески; но их очень мало и местность предоставлена на волю ветров, ежедневно почти взрывающих снег и обнажающих землю. Путь в зимней повозке по этой местности весьма труден. Наберега Байкала тянется из-за устья Селенги, или правых гор ее, до Посольска и далее, почти до Мантурихи, верст на 70 в ширину, а в длину, вверх по Селенге, почти до Ильинской станции, т. е. на 90 вер.; местами она покрыта песчано-галечными или глинистыми наносами и холмами. Она есть не что иное, как бывшее дно Байкала, дно того времени, когда Байкал, поравнявшись с вершинами гор Лиственничных, перелился через эти горы, выломил себе ворота и образовал исток Ангары. Это доказывает высота гор, окружающих Байкал, и наносная береговая

почва, состоящая из ила, песку, галечника и глины. С понижением горизонта Байкала часть эта обнажилась, как более возвышенная, от наносов, вынесенных сюда по широкому бассейну или разливу Селенги.

V

Как ни защищают прибрежные жители Байкала известное поверье, что Святое море не погубило в своих волнах ни одной человеческой жизни, но защита их оказывается несостоятельной. Впоследствии, проезжая несколько раз по Байкалу, я слышал рассказы о том, как гибнут в Байкале беглые с каторжных заводов, называемые в Сибири рысаками.

Не желая обходить Байкал кругом, тащиться по крутым горам и делать таким образом верст 300–400 лишнего, рысаки пускаются прямо через Байкал в какой-нибудь старой, утлой лодчонке. Добывают они эту лодчонку ночью, выжидают, конечно, удобного часа, когда на берегу нет народу, и отправляются в ней по Байкалу. Некоторым счастливым смельчакам удается благополучно окончить

такой опасный рискованный путь; но бо́льшая часть из них погибает в море, что и известно по тому, что украденную лодку часто прибывает обратно к берегу.

Один из крестьян рассказывал мне замечательный способ переправы рысаков через Байкал.

— Раз как-то, — говорил он, — плыли мы на своем корабле с омулями в Иркутск, погода стояла ветреная, холодная, вал шел высокий и беляки так и пестрели по всему морю. Дело было днем. Шли мы парусом и шли бойко. Только смотрю я, на море что-то чернеется, ближе, ближе — вижу: люди, человек, видно, пять за бревно ухватились. Бросает их по волнам с одной на другую, да так валом обдаёт, что как загрузит в волну, так ничего и не видно; потом опять бревно вынырнет, опять его бросит вглубь волны, а люди все держатся. Судно мое так прямо на них и бежало, велел я повернуть, мало дело, руль, дал чуточку в сторону и пробежал мимо их. Что с ними случилось после — погибли чай в море: погода дула долго, а ведь силы неостанет держаться долго за бревно, да и руки заоченеют. Так

вот как они, рысаки-то, путешествуют. Это, значит, они лодки на берегу найти не могли и пустились на бревнах в море, руки у них вместо весел были, а бревно, значит, за лодку служило.

— Как же они лодки-то не могли достать? Ночью же их никто на берегу не караулит.

— Рысака-то эти научили уж нас порядочно: теперь только разве ленивый кто оставит свою лодку плохо, — которые осторожные, так и во двор уносят. Наш брат тоже свое добро бережет. Особенно по весне-то, когда этих рысаков бежит с заводов много. К осени уж их меньше, а зимой разве так пяток-десяток какой пройдет.

— А сколько их проходит всего в год?

— А Господь знает, как тут сочтешь... Примерно так, рассказывают, что будто бы в год до четырехсот рысаков проходит...

Зимою единственный путь, по которому рысаки проходят из Забайкальской области в Иркутскую губернию, — это юго-восточный берег Байкала, называемый по-местному *коргою*.

Теперь в Сибири нет уже и десятой доли

тех проказ, какие бывали там лет сорок-пятьдесят тому назад. Теперь, сравнительно, рысаков стало менее, но все-таки они не переводятся.

Зимой, когда Байкал покрывается льдом, рысаки пробегают по льду от Посольского монастыря в зимовье Голоустное, в один зимний день. Это расстояние, 55 верст, пробегают они без отдыха, рысью, только легкий пар вьется около разогревшегося беглеца.

В тихую погоду путь этот они оканчивают благополучно, но иногда, застигнутые ветрами и сильными метелями, рысаки сбиваются с дороги; сбившись, попадают в труднопроходимые тороса и заломы; а ветер между тем ревет и воет по необозримой равнине Байкала; короткий зимний день оканчивается и темная ночь окончательно сбивает с пути несчастных, — они уходят далеко вдаль моря к острову Ольхону или к Култуку. Так проходит ночь; голодные рысаки выбиваются из сил, коченеют и замерзают.

Зимой редкий день не бывает на Байкале ветра с той или с другой стороны. Ветер сдувает снег в тех местах, где Байкал покрылся

ровным льдом и лед делается блестящ как зеркало. Искусные в катании на коньках могли бы по Байкалу катиться верст по 20 в час.

От таких постоянно дующих ветров многие из рысаков не решаются довериться Байкалу ни зимою, ни летом. Они придерживаются юго-восточной стороны озера и выходят из Посольска в Иркутск (расстояние 210 верст) по тропам, пробитым их предшественниками. На ночлег они останавливаются в зимовьях зверопромышленников; из Иркутска переходят на реку Иркут и, не заходя конечно в Иркутск, от деревни Мотов поворачивают на р. Китой. С Китоя направляются на реку Белую лесами и тропами, хорошо им известными, и верстах в 50-100 от Иркутска выходят на большую дорогу.

Рысаки путешествуют по Сибири вообще весьма скромно. Они чаще выпрашивают подаяние, чем требуют или насильно отнимают. Но конечно — в семье не без урода, — есть из них такие молодцы, которые не прочь воспользоваться всяким удобным и неудобным случаем, чтобы украсть, отнять, ограбить, — часто не зная даже того, куда деваться с на-

грабленными вещами.

Забайкальские зверопромышленники часто жалуются на рысаков, а избавиться от их посещений никакого средства не имеют. Идут рысаки мимо зимовья зверопромышленника, заходят и просят хлеба и позволения отдохнуть около огня. Не пустить — боязно, пожалуй со злости убьют или, по меньшей мере, искалечат, и впускает зверопромышленник неведомых людей в свой шалаш и на его неповинную голову падает содержание этих рысаков во время пути: идут они без всяких запасов продовольствия, без гроша денег, а удовлетворяют свои потребности по милости зверопромышленников.

Там, где представится случай у отсутствующего зверопромышленника стянуть из зимовья съестные припасы: хлеб, рыбу, мясо и пр., они конечно воспользуются этим случаем. Иногда случается так, что в зимовье заходит человек десять рысаков, изголодавшихся и озлобленных до последней крайности, хозяин зимовья попытается им дать побольше пищи, — начинается ссора и дело оканчивается насилием. Но вообще такие случаи бывают

очень редко, потому что рысаки, покусившиеся на насилие, через это теряют очень много впереди: недостаток пропитания заставляет их часто обращаться к людям, а зверопромышленники, имея между собой постоянные сношения, немедленно узнают о происшествии и передают о нем друг другу, молва летит вперед и рысакам бывает очень плохо. Вся цепь промышленников восстает стражею по всему протяжению до Култука, и рысакам не избежать поимки: другой дороги нет, пройти в глубине гор невозможно, — придется там или томиться голодом, или попасть в лапы хищного зверя. Рысаков ловят, творят над ними самосуд, или же передают их в руки правосудия.

Сибирский рысак идет без всякого оружия, есть при нем только маленький нож, да и то не всегда; на плечах болтается небольшой тощий мешочек, в котором хранится ни более ни менее, как лоскут какой-нибудь тряпки, обрывок кожи и т. п.

Несмотря на 30° мороз, рысак бежит зимою одетый совершенно по-летнему: на нем коротенькое полукафтанье, холщовые шта-

нишки, обувь изорвана и едва держится на ногах; перемерзнувшие, побелевшие от мороза пальцы выглядывают в дыры башмаков; на голове какая-нибудь блинообразная шапка, найденная, может быть, где-нибудь на дороге; шея открыта и встречный ветер прямо ударяет в горло и грудь.

Бежит рысак день, месяц, целое лето и в конце концов попадаетея опять в руки правосудия; проходит зима и с первой весной он снова бежит, снова голодает, подвергается всевозможным опасностям и в конце концов бóльшая часть из них попадает в тюрьму, где и остается до нового побега.

И проходят таким образом многие годы полуголодного, нечеловеческого существования. Опасность в непроходимом сибирском лесу от лютого зверя, опасность от болезни, от голодной смерти, опасность от переправ через реку, наконец, опасность от человека, который может лишить свободы рысака и передать его в руки начальства. Везде опасности! Из-за чего же человек отдает себя на такое страшное существование? Какие надежды его поддерживают? Какие цели им руководят?

Нет у него никаких надежд, никаких целей, кроме желания свободы, хотя эта голодная и холодная свобода в тысячу раз хуже всякой неволи. А все-таки люди меняют сытую неволю на голодную свободу!

Редкий из рысаков, быть может, один из тысячи сумеет выбраться из Сибири в Россию и приютиться где-нибудь с паспортом человека, случайно ему встретившегося на дороге. Познакомится он сначала с этим несчастным, порасспросит его о месте жительства, о родных, о знакомых, потом убьет его где-нибудь в темном лесу, и пойдет с его паспортом, куда пожелает, удаляясь подальше от той стороны, где живут родные убитого.

Бывали иногда случаи, что крестьяне укрывали у себя рысаков по несколько лет, пользуясь их бесплатной работой.

Рассказывали такие случаи, что крестьянин, видя хорошее поведение рысака, покупал у волостного писаря билет какого-нибудь умершего поселенца, и рысак числился под его именем; так в одном селении, при какой-то ревизии, оказался поселенец двести пятидесяти лет от роду, — это, значит, под

именем умершего числилось по книгам едва ли не пятое лицо.

Но бóльшая часть рысаков, как я сказал выше, всю свою жизнь проводят только в том, что *бегут* по Сибири, попадают в тюрьму, опять убегают и опять попадают до нового побега.

Часто они сами приходят в тюремный замок и выдают себя и эта самовольная выдача бывает всегда зимою, когда уж нет никаких средств спастись от мороза.

По сибирским деревням искони существует обычай выставлять на ночь за окна молоко, хлеб, иногда и мясо для несчастных.

— Для чего вы это делаете? — спросит иногда проезжающий.

— А для несчастных, батюшка, они ведь тоже люди: пить, есть хотят.

— А вы их не боитесь?

— Нет, ничего... Оно правда, что другой раз и подумаешь, как бы мол они красного петуха не подпустили, ну и поставишь крыночку за окно, все же безопаснее.

— Так, следовательно, вы только из боязни ставите за окно пищу?

— Нет, пошто из боязни: все же они несчастные... Голодным и Господь велит пищу давать!

Но этой милостыней, отдаваемой и из жалости, и из боязни, рысаки не всегда пользуются, только храбрые из них заходят в деревню, а остальные предпочитают голодать, кормиться травой, древесной корой, чем заходить в деревню и рисковать своей свободой.

Если число бегущих рысаков порядочно, то есть человек 10–15, то, вооружившись хорошими дубинами, они темной ночью входят в деревню, быстро выпивают молоко, забирают пищу и, оглядываясь, спешат убраться поскорее в лес...

У меня был один знакомый из рысаков, водворенный на жительство около Читы. Он шестнадцать раз был пойман и шестнадцать раз его наказывали. (В то время еще существовали плети).

Когда я познакомился с ним, он был уже 70 лет.

— Что же, дедушка, — спрашивал я, — заставляло тебя бегать?

— Стар стал теперь, не могу уж больше, —

грустно говорил старик, сидя на крылечке почтового двора.

— Я говорю, что тебя заставляло бегать?

— А что заставляло? — Все на родину хотел пробраться, хоть бы одним глазком-то на нее, матушку, посмотреть, хоть бы так, издали...

— И не посмотрел?

— Нет, не посмотрел; раз было до города Перми добрался...

Старик замолчал, вздохнул и видимо отдался грустным воспоминаниям.

— Ну что же, дедушка? Добрался, говоришь, до Перми, — отчего же дальше не шел?

Старик грустно поднял голову, как будто очнулся от забытья и сказал:

— Да зима уж больно люта была, невтерпеж стало, пошел в тюрьму, говорю: непомнящий родства...

— И что же?

— Вздуги и опять сюда переслали.

— С тех пор больше не бегал?

— Нет, еще раз около города Тобольска, тоже далеко отсюда, там меня поймали; народ-то там больно избалованный...

— Как избалованный?

— Да так, — нашего брата беглова ловит.

— Ну, еще докуда доходил?

— А еще-то, все около Иркутскова да Томскова, тут все попадался.

— Зачем же ты, дедушка, бегал, когда видел, что нельзя выбраться?

— Да так уж, после, бегал... Скучно было!

— Голодать же хуже?

— Может и хуже, да уж так... тянет...

— Куда же тянет-то?

— Эх, родимой ты мой! Весна-то как наступит, сердце затамится, занает, места не находишь, только и на уме, как бы теперь в лес... знакомые тропинки разные вспомнятся, ручейки... Холод и голод, все забудешь и спишь и видишь лес, ну и убежишь... А то и на ум нейдет, что опять спину вздуют...

— Теперь уж больше не хочешь бежать?

Старик поднял на меня свои истомленные ввалившиеся глаза, посмотрел, помолчал, вздохнул, глубоко вздохнул и заплакал, тихо-тихо заплакал.

— Не плачь, дедушка... выпей вот лучше винца, — предложил я.

Старик протянул руку за рюмкой, выпил и

показал на ноги.

— Ноги-то вот стары стали, не хотят слу-
жить, — проговорил он, вздыхая.

— Ужели бы ты опять побежал?

— Побежал бы!

И старик замигал глазами, стараясь удерживать слезы...

Если на забайкальской тропе были устроенны кордоны для поимки беглых, то и это, во всяком случае, не остановит их: они отыщут себе другую дорогу, — пойдут на высокие гольцы Хамар-Дабана, (самая высочайшая и крутая гора по кругобайкальской дороге), пойдут на Тунку, потом на речку Иркут. Кордоны могут только затруднить их путь, а пути они себе все-таки найдут. Они прокрадутся везде, где только может пройти нога человека. Бывали такие случаи, что рысаки проходили по южной стороне Саянских гор и оттуда выходили в Западную Сибирь, в Томскую губернию.

В этих полуголодных, оборванных, истомленных бродягах все-таки проглядывает то природное удальство, та сметливость и храбрость, с какими, лет 250 тому назад, пробира-

лись по неведомым рекам, горам и лесам русские люди для покорения Сибири.

VI

В мае 1860 года я снова был у Байкала в селе-нии Посольском. Приехал я, как оказалось, рано — пароход не делал еще ни одного рейса и был на противоположной (Лиственничной) пристани. Остановился я у одного знакомого старичка, который, в первый мой проезд через Посольское, много беседовал со мною о прибайкальской жизни.

— Что, ваша милость, опять к нашему Святому морю приехали? — спрашивал он.

— Да, как видите, опять.

— Доброе дело, доброе дело. Вот поживите у нас, побеседуйте с нами.

После обычных расспросов старичок стал хлопотать об устройстве для меня помещения.

— Да вы не беспокойтесь. Я долго не проживу, — вот как только пароход придет, тотчас и уеду...

— Ну, до этого еще далеко, — неделка-другая пройдет.

Я засмеялся, думая, что старичок шутит.

— Вы, ваша милость, не смейтесь. Недельку-то вы уж у меня погостите, это уж беспрерывно, а то и две...

— Что вы! Что вы! Льды давно прошли.

— Это вы верно сказали, только они и назад, пожалуй, могут воротиться, им все же, как ни на есть, скучно с нашим-то берегом расставаться. Вот они и придут опять, проститься, значит, придут, с берегом-то.

— Нет, дедушка, теперь они уже не придут: погода очень теплая стоит.

Старичок улыбнулся.

— А оно может, ваша милость, и правду говорите, только, по нашему-то, по-стариковски, кажется, льды должны воротиться, а впрочем — все Бог!..

Прошел день, два. Мы наговорились со старичком и о рыбной ловле, и о Верхнеудинской ярмарке, бывшей в январе месяце, и о том, что, после занятия Амура русскими, в Забайкалье стало все дорожать; вдоволь наговорились мы обо всем, а парохода все еще не было. Погода стояла тихая, теплая. На Байкале не было видно ни одной льдины, светло-го-

лубая масса воды покойно лежала в своей громадной котловине, отражая в себе, как в зеркале, лучи весеннего солнца. Небо было чисто. На отдаленных вершинах кругобайкальских гор тоже блестели яркие лучи солнца, переливаясь различными цветами на вечно снежных сопках гольцов. В Посольском воровьи весело прыгали около возов проходивших обозов, подбирая разбросанные клочки сена. Казалось, весна давно уже наступила и я был в полной уверенности, что вот-вот выплывет из отдаленной синевы Байкала сначала неясная точка, потом покажется труба, дым... и через несколько времени пароход запыхтит на посольской пристани. Но прошло и три дня, а на байкальской синеве никакой неясной точки не показывалось.

— Что это, дедушка, какая чудесная погода, а парохода нет?

— Погода чудесная, это вы, ваша милость, справедливо говорите, только я вас спрошу, далеко ли у вас шуба лежит?

— Это зачем?

— Да так. Вы ее около себя поближе кладите, не ровен час, заморозит...

— Полно вам! Вы все шутите...

— Нет, в самом деле. Вы мне, старику, поверьте. Я уж слышу, что скоро заморозит. Такая погодушка закрутит, что и Господи помилуй!

Наутро вышел я к Байкалу и не узнал его. Куда исчезла весна и тихая синева на море и красота отдаленных гор. Все исчезло, изменилось и изменилось резко, вдруг, как изменяются декорации в волшебных балетах: берег был забросан громадными льдинами, дула страшная метелица с дождем, снегом, изморозью и всякими прочими осенними дарами. Берег, по которому накануне вечером спокойно, одна за одной, рассыпались тихие воды Байкала, — этот берег был замечен снегом, обледенел и на нем громоздились одна на другой глыбы льда. Вдали, вместо разнохарактерных очертаний горных вершин, виднелась сплошная серая масса туч, а под ними, внизу, на Байкале, трещали, шумели и боролись одна с другой громадные льдины; ветер нагонял их к берегу и, казалось, наступила вторая осень.

Старичок был прав: без шубы на улицу

нельзя было и глаз показать.

— Вот они, льдинки-то, пришли, ваша милость, проститься с берегом, — говорил старичок.

— Вижу, дедушка, и очень недоволен...

— И я, ваша милость, недоволен.

— Вам-то что же?

— А мне-то, значит, неприятно, что эти льды здесь пробудут, пожалуй, до половины месяца...

— Это почему вы знаете?

— Да уж так. Вы мне старику поверьте. Вижу я по погоде, что нынче весна поздняя будет. Я, ваша милость, восьмой десяток здесь живу и знаю, потому и говорю так. Теперича этот ветер льды забрал из-под Верхней Ангары, он их здесь пожалуй и оставит — здесь они и таять будут.

— Как же мне-то быть?

— А вам надо ехать.

— Куда же? Обратно что ли?

— Нет. Вы, ваша милость, теперича поезжайте на устье Селенги. Пароход туда непременно придет. Потому они тоже это знают, пароходчики-то. Они может десять, пятна-

дцать раз сходят по Байкалу, а все в нашем Посольске не побывают. Там от Селенги-то в Лиственничную будет весна, а на нашем берегу все торосья льда будут лежать.

— Где же мне там остановиться?

— А сначала остановитесь в Чертовкиной. Это селение большое, избы там есть для вашей милости способные; я своему парню закажу, к кому вас привезти. Ну а после, как услышите, что пароход пришел, поедете в Шигаевку, — деревенька тут такая есть, около Селенги. Из Шигаевки-то, пожалуй, по Селенге в лодке спуститесь к пароходу...

Я послушался старика и поехал в Чертовкино. По дороге тянулись обозы, возвращавшиеся из Посольска на устье Селенги. Несколько троек с проезжающими ехали тоже туда. Все закутывались в шубы и меховые шапки, ветер свистал по дороге. Мой ящик-бурят ежился на козлах в мохнатой шубе, надетой шерстью вверх. Кони рвались и мчались во весь дух, повозка прыгала по обледеневшим рытвинам и ямам.

— Тише! — крикнул я.

— Ну вы! Другой зима пришел уж, — за-

кричал бурят и погнался коней еще сильнее.

— Тише! Тише! — просил я.

— Ну! Ну! Погода морозной!.. Другой зима пришел! — покрикивал бурят и помахивал вожжами, несмотря на то, что кони мчались до того сильно, что от быстроты езды захватывало дух.

Я снова закричал. Бурят опять ударил коней. Я приподнялся, схватил его за рукав и сердито потребовал, чтобы он ехал тише.

— А я, барин, думал, ты кричишь, скоро ехать надо, а ты бурят бранишь, ехать видно тихонько любишь...

Через несколько времени мы въехали в Чертовкино. Ямщик остановил коней у ворот большого деревянного дома и сам ушел во двор.

Вскоре вслед за ямщиком выбежал на улицу хозяин дома, крестьянин, и кланялся, подходя к экипажу. Я поместился в комнате, которую хозяин называл «большая горница», это была лучшая комната в доме, назначенная для приема гостей. Полы в ней были выкрашены желтой краской, стены чисто вымыты и выскоблены и больше чем наполовину

были заклеены бумажными картинами.

И чего-чего не было нарисовано и написано на этих картинах! Чтобы прочитать на них все надписи, нужно было употребить для этого не менее пяти часов времени; но для того, кто бы задумал описать содержание этих картин, представилось бы великое затруднение отыскивать это содержание и я не делаю этого к великому моему удовольствию и к удовольствию моего читателя.

Я уверен, что всякий русский человек не раз видал подобного рода произведения на отечественных базарах и ярмарках; видал, как главнокомандующий едет верхом на коне и как между ногами этого коня стоят выстроенные в линию полки солдат, которым художник, во избежание лишнего труда, сделал один общий красный воротник, мазнув кистью по всем солдатским шеям, а иногда и усам и даже головам... Видал, вероятно, читатель и картины духовного содержания, представляющие ад со всеми его разнообразными мучениями и огненного змия, исписанного всевозможными грехами, и жанровые картины, представляющие, как «хозяева гарюють, а

приказчики перують» и т. д. и т. д.

Все эти произведения отечественных художников красовались на стенах моей новой временной квартиры.

В переднем углу на полочке стоял образ и тоже суздальской работы. Перед ним лежал большой каравай ржаного хлеба с солонкой наверху. Комната была очень чисто выметена и очень жарко натоплена.

— Ишь как захолодило! — говорил хозяин, поминутно то входя, то выходя из комнаты: — Вы пожалуйста, ваша милость, садитесь, а то и прилягте, вот тут на лежаночке, погрейтесь... Захолодило, захолодило! А весна, кажись бы...

И хозяин, наскоро проговорив несколько слов, опять уходил.

Вскоре на столе появился блестящий самовар, творожные лепешки; не успел я напиться чаю, как явились пряники, орехи и проч. Я только успевал отговариваться и просить извинения, что наделал много беспокойства.

— Нужды нет, нужды нет! Мы рады доброго человека угостить. Старичок-то, от которого вы к нам приехали, родственник нам. Он

крепко-накрепко заказывал, чтобы мы вас кормили хорошенько, сладчее... Вот теперь только тятеньки дома нет, а то бы он сам вас угостил. Он теперь уехал туда в вашу сторону, к китайской границе, потому, значит, что у нас тоже есть там кое-какая работишка, на счет извозу чаев... Может и у вас когда чай пойдут из Кяхты, нам дадите на доставку до моря. У нас тоже и свои корабли по морю ходят, можно и до Иркутска взять доставку...

И хозяин снова начинал угощать и слова угощения перемешивал с рассказами о своих делах и о доставке товаров.

Прожил я у него три дня и стал подумывать об отъезде на устье реки Селенги, в деревеньку Шигаеву; погода несколько поутихла и солнце снова стало пригревать по-весеннему. При прощании я предложил хозяину пять рублей за постой, но он решительно отказывался брать, отговариваясь тем, что «может быть, Бог даст, будем дело делать».

— Да дела своим чередом, а за содержание все-таки возьмите...

— Нет! Нет! Вы, ваша милость, нас не обижайте... Помилуйте... И наш родственник ста-

ричок вас знает, — это уж как угодно... Хлеб-соль Божий дар, видите, вот он перед образом стоит перед Господним. Как же можно с дорожного человека за хлеб за соль брать...

Так и не взял ни копейки.

В продолжение трех дней я ни разу не видал его семейства, но когда стал выходить из комнаты, чтобы сесть в повозку, — провожать меня вышла вся семья, все кланялись, желали всякого благополучия и провожали точно родного или близкого знакомого.

Меня заставил задуматься стоявший перед образами хлеб, и дорогой я стал расспрашивать ямщика, зачем у хозяина в переднем углу стоял каравай хлеба и солонка, и всегда ли он тут стоит. Ямщик объяснил мне, что этот хлеб поставлен с того дня, когда старик-хозяин (отец угощавшего меня) поехал в дорогу, и будет стоять на столе до его возвращения. Обычай этот соблюдается во многих семействах. Собирается, например, сын хозяина в путь, благословят его хлебом-солью и поставят этот хлеб перед образом, до возвращения уехавшего; если едет сам хозяин, то, уезжая, благословляет всю свою семью хлебом и

опять хлеб ставят перед образом; возвратится ездивший сын, благословят его и уберут хлеб; хозяин возвратится — сам благословит всю семью хлебом.

Где нужно искать начало этого обычая? Перенесен ли он за Байкал из древней Восточной России, или сложился сам собою, вызванный многими, чисто местными условиями? Расспросы мои об этом не дали положительного ответа, но мне кажется, что местные условия могут быть всего скорее приняты в основание. Куда бы ни выезжал из своего дома забайкальский житель, везде он встречал опасности: с одной стороны бурное Святое море, с другой кочевые племена монгол и тунгусов, которые в прежнее время смотрели на русских враждебно. Святое море, и теперь наводящее ужас своими бурями, в то давнее время, вероятно, еще более наводило страху, потому что тогда о пароходах не было и помину, а на суда, как и теперь, не очень-то полагались. Вот поэтому, мне кажется, и завелся такой обычай провожать с хлебом-солью: Господь, мол, батюшка знает, уцелеет ли твоя головушка!

Но где бы мы ни искали начала этого обычая, тем не менее он характеризует семейную жизнь забайкальцев.

Деревенька Шигаева, — убогая, маленькая, с десятью домишками. Приехавших в ожидании парохода собралось в деревеньке много и я затруднялся, не зная, где поместиться. В одном дворике оказалась избенка, в которую хозяин ее затруднялся меня поместить, говоря, что в ней ночует каждую ночь чиновник.

— Так мы можем с ним вместе поместиться? — спросил я.

Хозяин затруднился.

— Как же вместе-то?.. Все же он особа... я не знаю... Днем-то ничего еще, можно, а ночью-то... уж я право не знаю...

— Да где же он теперь? Я бы с ним переговорил?

— Теперь-то он в кабаке... до вечера он все там.

— Что же он, поверяет что ли кабак?

— Нет, он, видно, тово... с запоем.

«Особа», оказалось, какой-то исключенный из службы чиновник, пробиравшийся из Читы в Иркутск. Мы с ним прожили в избушке

мирно. Ночью он со сна постоянно бормотал что-то и рано утром уходил в кабак, где и сидел до поздней ночи.

Через день или два приехал вестовой «с моря» от самого устья реки, с известием что пароход идет. Чиновник, услышав это известие, вытаращил глаза, пошарил в карманах, — оказалось пусто; потом перешел неровными шагами в угол избенки, где валялся его чемоданишко, раскрыв его, выбросил оттуда какую-то дрянь и сел на полу, почесывая свою забубенную голову.

Пассажиры из деревеньки потянулись к устью реки. На пустынной до того времени улице началось движение: кто нес чемодан и сваливал его в крестьянскую телегу, кто едва тащился под тяжестью узлов и, выступая с ними на улицу, сваливал их на ту же телегу, давно наполненную имуществом пассажиров; слышался громкий говор мужчин, писк женщин, брань крестьян; одна только лошадь, всего больше оказавшая пользы во всей этой суете, оставалась совершенно безучастной ко всему окружающему и, понутив голову, смотрела в землю, пока крестьянин не уго-

стил ее несколькими ударами кнута.

Воз, доверху наполненный узлами и чемоданами, тронулся в путь. Я стал собирать свои вещи и не торопился со сборами, потому что успел вовремя нанять для себя особую подводку.

Чиновник, квартировавший в одной со мною комнате, все сидел около своего пустого чемодана и почесывался. Я уложил свои вещи и крикнул хозяина избы, чтобы рассчитаться за квартиру.

Счеты наши кончились. В это время чиновник, наконец, встал и, пошатываясь, подошел ко мне.

— Поз-з-во-ль-те-е... гас-с-па-ди-н... — неясно забормотал он.

— Что угодно?

— Довезите меня до устья...

Я согласился.

Мы приехали на устье Селенги. Погода стояла тихая. Баржи, нагруженные чаями, готовы были отплыть от устья в Байкал, чтобы отдаться на буксир парохода. На баржи мы попали без особенного труда, потому что всходили на них в то время, когда они стояли у

крутого, обрывистого берега; но истинное мучение ожидало нас впереди, когда нужно было с высокой палубы баржи спуститься на маленькую лодку, чтобы на этой последней подплыть к пароходу. По Байкалу шла волна, лодка неистово металась из стороны в сторону и ежеминутно билась о борта судна. Бедные женщины долго не решались сойти с судна, потому что было страшно прыгать на руки матросов, в свою очередь подпрыгивающих вместе с лодкой; у некоторых чувство страха не было так велико, так, точно на грех, чувство стыда доходило до чрезвычайных размеров: они плакали, закрывали лица руками и с необыкновенною заботливостью подбирали свои юбки около ног, как будто намерены были этими юбками забинтовать свои ноги. Наконец, после продолжительных и мучительных вздохов и слез, после долгих упрасиваний со стороны мужей, после продолжительного и грубого крика с лодки: «да прыгайте же что ли!» — несчастные женщины взвизгивали и бросались с верху палубы судна на руки матросов.

Через час и я был на пароходе «Наследник

Цесаревич». В последний раз я ехал на нем: он погиб в ноябре месяце того же года от слишком рискованного рейса, сделанного по распоряжению одного из управляющих пароходством.

В ноябре того года на посольском берегу скопилось очень много перевезенных чаев. Новые пароходы служили плохо и не успели перевезти до окончания рейсов весь груз. Кладчики жаловались — и тоже, вероятно, смелые люди, — настаивали, чтобы пароход непременно шел, несмотря на то, что ноябрь был в конце. Как управляющий пароходом, так и кладчики были обмануты тихой теплой погодой. Подумал, подумал управляющий и решил отпустить грузы, тем более, что для счастливого рейса нужно всего шесть или семь часов хорошей погоды. Суда были давно нагружены чаями, нагрузили ими также и пароходную палубу и пароход с одною баржей тронулся в путь часу в пятом вечера. Дул попутный ветерок и плавание продолжалось весьма быстро; но часу в восьмом пароход прорезало льдиной и в нем показалась течь. Управляющий не сробел и тотчас же распоря-

дился забросить вперед парохода, с носу, парус, для того, чтобы им затянуло образовавшуюся в пароходе щель.

Но повреждение, сделанное льдиной, оказалось нешуточным, помочь горю было нельзя: пароход все более и более погружался в воду и оставалось единственное средство — спасти свою собственную жизнь и перебраться на баржу. Чай на пароходной палубе оставили на волю Божию, перебрались все на баржу и обрубали канат.

Пароход вскоре опустился в воду по палубу и в таком положении остался. Судно понесло ветром в другую сторону и к утру оно было далеко от наполненного водой парохода. Носило его по Байкалу чуть ли не целый месяц, провиант весь на судне истощился и как-то чудом остались живы все бывшие на нем люди.

Один из бывших в этом замечательном плавании рассказывал мне подробности их месячного страдания.

«Когда от парохода было видно только трубу да мачту, наше судно было уже от него далеко. Все мы, конечно, были в страшном по-

ложении, но утешали себя тем, что авось, Бог даст, попутный ветер нас принесет к берегу Лиственничной пристани. Так до утра нас несло по морю, — куда несло, мы и сами не знали, только надеялись, что не вдоль по морю несет, а поперек и если не к Лиственничной, то просто к берегу прибьет. К утру ветер усилился, судно наше стало сильнее покачиваться и поскрипывать; но это нас несколько не пугало, а больно было на сердце от того, что мы слышали, как о борта нашего судна стучались льдины. Этот звук стучавших о борт льдин заставлял замирать сердце в груди; половицы из пола в судне мы вынули и по очереди смотрели на дно, не просачивается ли вода, не тонем ли уж мы? На другой день ветер повернул обратно, нас понесло назад, опять мы увидели издали черную точку парохода. Он едва-едва покачивался из стороны в сторону. На третий день унесло нас Бог знает куда и, несмотря на то, что между нами были люди, хорошо знавшие Байкал, никто из них не мог сказать, в каком месте мы находимся. Так и шли дни за днями, свечи у нас все вышли и стали мы делать наблюдения над дном

нашего судна с помощью лучин. Хлеб у нас был тоже на исходе. Стали мы, по общему согласию, уменьшать порцию и ели только по несколько золотников в сутки. А холода делались все сильнее, ветер замораживал на бортах судна набегающие брызги волн; дрова у нас были все издержаны и мы рубили пол в судне и жгли. Только и берегли несколько досок, канаты да холст от паруса, чтобы на случай, если сделается течь, забивать ее скорее. На палубу мы выходили редко, потому что ветры были холодные, мороз пробирал до костей. Качало, качало нас и в один день судно наше прибило ко льду. Обрадовались и этому, хотя не знали, куда нас прибило, далеко ли берег и что с нами будет. Из мачты сделали кол и вбили его в лед, привязали судно и ушли все с него по льду, сами не зная, куда идем. Шли часа два и пришли к берегу. На берегу увидели какую-то избушку, зашли в нее и обрадовались до того, что друг другу ничего не могли сказать: избушка была полна рыбой. Поморы наловили ее перед заморозками и сложили в избе, до первого зимнего пути. Развели мы огонь, сварили рыбы, повеселели

и понабрались силами. На другой день выбрались в селение и тем покончилось наше страдание. Судно наше у берега замерзло, а пароход на середине моря тоже замерз. После его долго отыскивали, ездили по Байкалу в разные стороны. Нашли среди груды снега, который наметало кругом парохода, и ящики все на палубе целы оказались, только много было потом с ними хлопот: все они были похожи на ледяные торосья и примерзли один к другому; для того, чтобы отделить ящик от ящика, нужно было работать ломом. Привезли эти обледеневшие ящики в Иркутск и стали просушивать чай, но он был, конечно, испорчен и просушивание не возвратило чаю прежнего достоинства. Продавали его по 25 к. за рубль. Мелкие торговцы были рады этому случаю и покупали чай с удовольствием: они подмешивали его в хороший чай и продавали по настоящей цене. Может быть немалая частица его, перефабрикованного, и в Россию была отправлена».

Так вот как покончил свое земное странствие пароход «Наследник Цесаревич». Его и изо льда не вырубили, — оставили на жертву

Байкалу. Все равно уж никуда же он и не годился, все было старо, гнило, — перевозка бы дороже стоила. Только и взяли из него одну машину.

Впоследствии машина с «Наследника Цесаревича» была поставлена в новый пароход, построенный исключительно для реки Селенги; но и тут ей не посчастливилось; пароход долго что-то ползал по Селенге, пробираясь за гор. Верхнеудинск, долго что-то хозяин его хлопотал со своим детищем и ничего сделать не мог.

Слышно было впоследствии, что посадил он где-то свой пароход на коргу или на мель и слухи о нем замолкли. Кажется, и сам хозяин старался, чтобы эти слухи не распространялись.

А суда, или по-байкальски, корабли, все плавают да плавают и корабельщики не боятся никаких слухов о неудачах их плавания. Они сами порасскажут желающему слушать, как ломает и коверкает их уродливые суда на Байкале.

— Иной раз, ваша милость, так бывало приспичит, что хоть вот ложись да умирай:

машту (т. е. мачту) переломит, руль оборвет напроць, носит, носит по волнам-то, а глядишь, Бог и помог: приснаровил как-никак, починился, приладился да и опять поплыл с омулями в Иркутск.

А пароходам на Байкале что-то все несчастливит. Что это такое, случайность или недостаток уменья вести дело?

Для постоянного и правильного сообщения Восточной Сибири с Забайкальской областью, в конце 1850 годов, началась на казенный счет постройка новой кругобайкальской дороги от Култука на Посольск, по берегу Байкала. О необходимости этой дороги разговоры шли чуть ли не с того времени, как открылась в Кяхте торговля с Китаем, то есть с 1727 года.

Но торговый люд этой дорогой не интересовался, потому что она на двести верст длиннее той, которая идет в глубине байкальских гор прямо на Кяхту, и ему казалось удобнее, вместо 700 верст хорошего экипажного пути, тащиться 400 верст по невообразимым крутизнам верхами. Платили купцы лишние деньги за провоз товаров по этой страшной доро-

ге, ожидали по 10–15 дней прихода почты из Кяхты в Иркутск, тащились сами, нередко со своими семействами, по горам и падям и только добравшись до места, почесывались.

— А дорогой-то, ведь тово, больно-таки наломали бока-то, да и спина теперь тоже заныла...

— А может это и к ненастью? — задумчиво говорили купцы и рассуждение о трудностях пути на этом оканчивалось.

Лет 25 тому назад выискался между купцами человек, не ограничившийся разговорами, и без всякой поддержки от других, сам на собственные средства открыл кругом Байкала новый путь (тоже в глубине гор, прямо на Кяхту), по которому сообщение было несколько лучше, чем по прежнему. Открытую им дорогу так и прозвали его фамилией.

По этому пути верхами приходится ехать всего только четыре станции. Несколько раз мне случалось проезжать по этой дороге, поздней осенью, и я каждый раз весь путь ехал в маленьких саночках, на одной лошади; правда, немного страшно, когда на высоте горы вдруг сани раскатятся и голова закружит-

ся при виде страшной пропасти внизу, где шумит и воет Байкал, разбивая волны о скалы утеса; но мне кажется, на лошади верхом еще страшнее, потому что из саней все же можно выскочить, а с лошади этого сделать невозможно.

Ямщики-буряты имеют привычку прятать со станции санишки в лес, потому что лошади труднее подниматься в гору с санями, чем везти седока на себе.

Приедем, бывало, на станцию и начинаем просить сани; буряты божатся, крестятся по-русски, уверяя, что саней на станции никогда не бывало.

— Да нам и начальство не обязывает сани держать. Наша бурят и почта берхом возит, санем никогда не возит, — почесываясь, отговариваются они.

— Давайте сани! — прикрикнешь на них да и приврешь, для пущей важности, что в кармане есть подорожная по казенной надобности.

Куда деваются все отговорки и почесыванья! Сани как точно из земли вырастут.

На этом глухом тракте на станциях нет ни

смотрителей, ни писарей, подорожных никто не читает и не спрашивает.

Иногда лошади измучатся во время пути, везя на своих спинах почтовые чемоданы, с серебряной монетой, в Кяхту, — и не могут довести чемодана до станции. Почтальон преспокойно велит его сбросить со спины лошади и оставит на дороге без всякого караула. Кто возьмет? Пустыня! Глухая, безлюдная! Рысак разве случайно пробредет по этому месту и увидит чемодан, да что он с ним будет делать? Он и сам-то едва имеет силы передвигать ногами, да ему и девать серебро некуда.

Пройдет иногда целая ночь и к полудню другого дня ямщики приедут к оставленному на дороге чемодану: лежит на том же месте, как и был оставлен.

На станциях буряты живут в зимовье; для проезжающих на некоторых станциях есть особые избышки; в избышке копошится какая-нибудь старушонка, имеющая исключительную обязанность кипятить для проезжающих горячую воду и отапливать избу.

О самоварах на этом пути нет и помину, да и старушонки живут тоже не на каждой стан-

ции; чаще всего проезжающим прислуживает кто-нибудь из ямщиков и варит для чая воду, в таком котле, при виде которого иной, непривыкший к таким неудобствам человек, потеряет всякое желание пить чай.

Большая часть едущих по кругобайкальской дороге берут с собою медный чайник, чайную посуду и съестные припасы. На станциях, конечно, ничего нет: ямщики питаются одним кирпичным чаем и ржаным хлебом.

В ноябре 1864 года почтовые станции с этого тракта были переведены на новую дорогу, идущую из Култука на Посольск по берегу Байкала; но дорога была еще не окончена и на долю проезжающих выпало, в тот год, много горя и трудностей.

Многие, отправившись по этому неоконченному пути, возвращались назад, нанимали протяжных извозчиков, для того чтобы ехать по старой дороге.

Отчего поспешили перевести станции на новый тракт до окончания дороги, мне неизвестно. В то время я тоже испытал несчастье ехать по этому пути и от Култука до Посольска, 200 верст, ехал семь дней.

Помню, на одной станции мне встретился ехавший из Посольска знакомый купец и рассказывал следующее.

— Здесь, в анбаре, на станции лежит еще неперевезенная на ту станцию гряда чемоданов, их будут перевозить не менее двух дней; а завтра опять должна подойти почта. Она снова сложится здесь, потому что отсюда начинаются такие крутизны, каких даже по старой дороге нет. Лошадь по ним едва может подниматься одна, а с чемоданом в 5–6 пудов взбирается с величайшим трудом. Мучается бедная лошадь, мучаются несчастные ямщики, и чтобы поднять чемоданы на гору, употребляют Бог знает какие усилия: привязывают они к чемоданам веревки, укрепляют их к хомуту лошади, сами тоже тянут за веревки и такими общими усилиями кое-как втягивают, один за одним, чемоданы на гору. Под гору спускают их прямо с крутизны кубарем, сами скатываются на войлоках, за ними следом лошади тоже скатываются, упираясь передними ногами. Спустившись под гору, снова начинается муча — втаскивание чемоданов. Выезжают буряты со станции, обыкновенно,

рано поутру, лишь только начинает светать, а на следующую станцию приезжают поздним вечером. Это 25 верст они едут с утра до ночи. Возвращаться обратно ночью они не могут и потому, что кони не в силах идти, и потому, что в темноте можно сломать себе шею. Утром на следующий день они выезжают и добираются до станции к полудню; ехать в тот же день, следовательно, поздно, — придется ночевать на дороге и потому опять ожидают утра. Таким образом, не окончив перевозки одной почты, они видят приход почты другой, и неизвестно, когда все это перевезется. Для проезжающих лошадей нет, выжидайте случая уехать на обратных и то за тройную цену.

Посольский купец уехал с тем ямщиком, который привез меня, а мне выпало на долю ждать попутного ямщика и я прожил на станции двое суток; к полудню на второй день из Посольска привезли какого-то солдата, курьера: он ехал по 50 вер. в сутки — хорош курьер! Кони, бывшие под ним и под провожавшим его ямщиком, внушали полнейшее сострадание: ребра их все были на виду, спины пере-

терты, с множеством болячек. Бедные животные едва передвигали ноги. Рано утром на третий день я, к великому моему несчастью, должен был сесть на измученное животное, на другое сел проводник; но через десять минут я сошел с лошади и предпочел идти всю станцию пешком...

В настоящее время уже почти окончен этот новый тракт и скоро о трудностях кругобайкальского пути останется только одно воспоминание.

От Байкала до Кяхты

Мороз и вьюга. Холодный, порывистый ветер стонет и воет, метаясь из стороны в сторону по большой дороге; взметает он вихрем снег, кружит его над мордами усталой тройки, забрасывает им телеграфные столбы, проволоки которых дрожат и гудят от напора ветра. Мой ямщик-бурят, одетый в козью шубу (доху по-сибирски), представляется мне как-им-то пугалом, потому что мохнатая шуба его, надетая шерстью вверх, вся занесена снегом. Он точно примерз к козлам и не шевелится, потому что давно обшлепал свои холодные губы, отмахал руки, нахлестывая кнутом лошадей, и, видя всю безуспешность попукания, отдался на волю судьбы, съежившись в своей шубе. А ветер все шумит и воет и носится по безлюдной дороге, и не знаю я, далеко ли еще до станции, потому что надписи на покосившихся верстовых столбах залеплены снегом.

Холодно и скучно.

— Далеко ли до станции?

— Дале-е-ко! — сердито вытягивает ямщик

и еще глубже прячется в свою мохнатку.

Вот впечатления, которые восстают теперь в моем воображении при воспоминании о том времени, когда я в первый раз ехал по Забайкальской области. Путь мой лежал в Кяхту, а потому город Верхнеудинск, отстоящий от озера Байкал на сто восемьдесят верст, остается в стороне: за двадцать верст, не доезжая до этого города, едущие в Кяхту, на почтовом дворе, нанимают вольных ямщиков и отправляются проселочной дорогой на Селенгинский тракт, выгадывая таким образом пятьдесят верст экономии.

О гор. Верхнеудинске мы поговорим впоследствии, когда будем описывать дорогу на Амур.

На пути по селенгинскому тракту не представляется ничего, что бы могло привлечь внимание путешественника. Местность кругом открытая, нигде не видно ни куста, ни деревца. Эта часть Забайкальской области, как и вся она вообще, представляет обширное нагорье. На половине пути от Верхнеудинска до гор. Селенгинска только и остается в памяти огромная бурятская кумирня, возвышающая-

яся посреди степи своими остроконечными башнями; издали она напоминает христианский пятиглавый собор, но полнейшее отсутствие какой-либо жизни вокруг этого здания дает понятие о том, что это не христианский храм.

Бурятская кумирня одиноко стоит в продолжение целого года и только несколько раз во время лета в нее собирается бурятское духовенство для совершения богослужебных обрядов. В то время степь оживает: конные и пешие буряты собираются громадными толпами к этому месту, шум, говор наполняют воздух; по окончании молебствия устраиваются бега на лошадях, состязания между борцами; варятся целые быки для угощения публики и бурятское вино (араки) истребляется в большом количестве. Но праздник оканчивается; на другой день степь снова пустынна и только следы лошадей, да обглоданные кости и обгоревшие головни напоминают о прошедшем празднестве.

Кроме этой кумирни на пути к Селенгинску остается в памяти путешественника только представление о почтовых станциях и

трех-четырёх деревеньках, более других населённых. Почтовые станции на этом пути помещаются в крестьянских домах и потому всегда очень хорошо натоплены, что составляет немалое утешение для передрогнувшего во время дороги путника. Это не то, что те станции, которые построены по Восточной Сибири (от Томска до Иркутска), красивые снаружи и холодные, как погреб, внутри. И странное дело! Отчего крестьянская избушка, построенная на самые ничтожные средства, более удобна для жилья, чем казенный почтовый дом, постройка которого стоит значительно дороже первой?.. Мне не разрешить этого вопроса, да и задаваться вопросами ни к чему: их так много представляется на каждом шагу, что если писать о них книги, то, как сказано в одном хорошем сочинении, и всему миру не вместить в себя таких книг.

Чем ближе подъезжал я к городу Селенгинску, тем яснее становились горы, за которыми лежит Кяхта. Селенгинск раскинулся по берегу р. Селенги. Народонаселение его чрезвычайно бедно. Это один из таких ничтожных городков, про которые наши геогра-

фы не считают нужным упоминать, даже их название не выписывают, как будто бы они и на свете не существуют, а между тем Селенгинск замечательный город, замечательный хотя тем, что в нем есть очень толстый почтмейстер, который любит предлагать приезжающему самовар и побеседовать с ним о политике; есть несколько домов, которые высятся между избушками местного мещанства и дают знать о том, что владельцы их — люди, по всему вероятно, умные, потому что сумели сколотить себе хорошую деньгу на черный день и предпочли быть в маленьком городишке первыми, чем в большом последними. Так как все общество этого городка может быть помещено в толстую утробу почтмейстера, то единственным утешением может служить разговор о политике, которым он, почтмейстер, по всей вероятности, и питает селенгинское общество. Я потому об этом делаю такое заключение, что сам вдоволь наслушался его речей о бессилии всех двенадцати язык в отношении к нашему русскому оружию. В Селенгинске помещается часть артиллерии и артиллерийские офицеры, если только они

не слушают политических рассказов почтмейстера, вероятно невообразимо скучают, потому что самый вид города, состоящего из двух с половиной домов, наводил на меня такую тоску, что, если бы не почтмейстер и не несчастные «двунадесять язык», то я, кажется, растянулся бы на безлюдной городской площади и взвыл бы горькими слезами... да вот беда: город так пуст, что не только вой и стон на площади, а и самая смерть человека, даже не только обыкновенного человека, а, пожалуй, хоть и самого почтмейстера, со всеми его языками, не была бы никем услышана, потому что на этой громадной площади, кажется, со дня сотворения мира ни однажды не прошла человеческая нога. Но довольно о Селенгинске, Бог с ним и с его почтмейстером и со всем, что служит развлечением жителям этого города и что наводит на них тоску. Да и наводит ли что ее?

От Селенгинска в семи верстах нужно переезжать через р. Селенгу, на пароме. Это место называется «Стрелка». Прежде, в давно-прошедшее время, у Стрелки было устроено таможенное отделение, но впоследствии оно

уничтожено и ограничивалось Кяхтинской таможней, которая в свою очередь, как известно, тоже уничтожена; она перенесена в Иркутск, где благополучно и пребывает в настоящее время.

Восемьдесят верст пути до Кяхты от Селенгинска утомительны до крайности: дорога идет по горам, только и знаешь, что поднимаешься в гору да спускаешься под гору. На горах этих растет хвойный лесик, достаточно чахлый для того, чтобы его называть лесом. Зимой на этом пространстве хорошая снежная дорога, тогда как на открытой степной местности снег сдувает и ехать в зимнем экипаже чистая каторга. Последняя станция перед г. Троицкосавском называется Усть-Кяхта; отсюда дорога опять идет открытой местностью и на санях уже нет возможности ехать ни в какое время года: снегу решительно ни пылинки, а так как, подъезжая к Кяхте, нужно подниматься на высокий Чиочинский хребет, то все проезжающие оставляют свои зимние экипажи в Усть-Кяхте и отправляются отсюда в почтовых тарантасах. Таким образом, Усть-Кяхта есть складочное место зим-

них экипажей; кроме того, в блаженное старое время, Усть-Кяхта имела кое-какие другие особенности: проезжающие, оставляя в ней свои зимние экипажи, оставляли точно также и то, что находилось в экипажах, то есть серебро и золото, которое потом, по прошествии нескольких дней, вдруг оказывалось в самой Кяхте, точно его переносили из Усть-Кяхты неведомые силы.

Оставляли же проезжающие свое серебро и золото потому, что впереди, у самого города Троицкосавска, стояла таможенная застава и надсмотрщики имели дурную привычку осматривать чемоданы и карманы проезжающих...

Так для того, чтобы не давать развиваться у надсмотрщиков дурным привычкам, проезжающие и оставляли свои капиталы в Усть-Кяхте, а потом, как я сказал выше, неведомые силы переносили неведомыми путями сокровища мира сего из Усть-Кяхты в Кяхту.

Но вот и моя повозка дотащилась до таможенной заставы. Вот выходят кустодии, в руках у них фонари, физиономии их мрачны, и смотрят эти кустодии на меня так, как будто я

со дня моего рождения был их заклятый враг и думал только о том, как бы ловчее обманывать таможенную стражу и провозить контрабанду.

— Не ройте, господа, чемодана, — просил я, когда мое имущество было втащено в таможенную комнату.

Молчание.

— Я прошу вас, пожалуйста, не ройте: по весу можно видеть, что металлов в чемодане нет...

— Приказано... Начальство велит...

— Нам без этого нельзя, потому строго... Ежели, например, металлы...

— Вы видите, что металлов нет...

В чемодане давно все было перерыто, переверочено с боку на бок, но обыск все еще не окончился: кустодии как будто хотели во что бы то ни стало найти «например металлы».

— Довольно, господа...

— Невозможно, потому — приказ!..

Прошло еще с полчаса. Наконец обыск кончился. Я собрался уходить.

— А на водочку? — таинственно спросил один из кустодиев.

— Это за что же?

— За труд...

— Не могу. Если бы вы так не рыли и не мяли моих вещей, то тогда бы...

Кустодия грустно улыбнулся и совершенно другим тоном сказал.

— Да вы бы давно, ваше благородие, так сказали, мы бы вам с нашим полным почтением... Эх!

— Ну, на будущий раз...

С тем мы и расстались.

Кяхта

I

С того времени, когда я жил в Кяхте, прошло уже много-много лет, и многое в течение этого времени изменилось. Таможню перевели в Иркутск и громадное здание, оживленное прежде, в мое время, постоянным привозом русских и вывозом китайских товаров, теперь совершенно опустело.

Много видов видал на своем веку этот угрюмый старец — таможня! Сколько, бывало, наводил он страху на контрабандистов, пробирающихся темной ночью по глубокой «Воровской Пади», долине, извивающейся между гор, позади таможенного здания. Сколько тут нажилось директоров, давно окончивших уже свое земное странствие; сколько, наконец, перемен в ходе торговли пережил этот мрачный, высокий замок, и остался он теперь один, забытый, брошенный, как памятник прошлого беззакония, который до сих пор еще режет многим глаза. Те-

перь мимо него тянутся обозы, поскрипывая своими колесами, — и бурят, в воронкообразной шапке, спокойно смотрит на него, припоминая с усмешкой о том, как когда-то дрожал он, пробираясь с контрабандным чаем позади этого здания.

С начала основания торговли позволялось только променивать чай на товары, по известной, установленной обеими сторонами цене, и нарушить эти правила не смели ни русские, ни китайцы (об этом мы поговорим подробнее, при описании Маймайтчина). Такое постановление не могло, конечно, долго удержаться в своей силе, потому что запрещение на драгоценные металлы возвысило их ценность и развило промыслы контрабандистов, получавших огромные выгоды. В то время цена русскому полуимпериалу доходила до 9 рублей и, конечно, никакие строгости, никакие наказания не могли противостоять хитрости контрабандистов, которые, в надежде на большой барыш, доводили свою специальность до возможного совершенства. Экипажи делались с двумя днами, с потаенными ящиками в оглоблях, осях, колесах, хомутах,

дугах, седлах и во всем, где б только была возможность устроить помещение для золота и серебра. Бывали случаи, что контрабандисты грабили контрабандистов, и ограбленные не имели права жаловаться, так как сами могли попасть под суд. Часто, например, богатые купцы, в ожидании будущей выгоды, рисковали доверить контрабандистам свое золото и потом уже, конечно, не могли дожидаться его.

Меновая торговля не могла удержаться при таком положении дел и, по просьбе купечества, скоро было разрешено ввозить при товарах третью часть иностранной монеты, русского золота в полуимпериалах или серебра в изделиях. Это правило тоже, конечно, нарушалось, так как многие провозили тайно гораздо больше третьей части; но зато ценность на золото в Кяхте значительно уменьшилась.

Кроме ввоза помимо таможни золота и серебра, существовала в большом количестве контрабанда чаем, так как пошлина с него была очень велика, а именно: с черного 40 коп., с цветочного 60.

В последнее время, перед переводом таможни в Иркутск, открылась полная свобода торговли всем, чем угодно, кроме корня ревеня, покупаемого от казны. Пошлина с чая сбавлена и назначена с черного 15, а с цветочного 40 копеек.

Но в то же время дозволен ввоз чая через Европу, подкосивший кяхтинское дело весьма сильно. Почему купечество не могло удержать в своих руках чайную торговлю — это увидит читатель из моих записок о кяхтинской жизни в последние годы ее богатой торговли.

— Ну, государь мой, — говорил высокий, крепкий мужчина, хозяин гостиницы, когда я в первый раз приехал в город Троицкосавск, отстоящий на три версты от Кяхты, — когда же вы поедете на плотину?

— На какую плотину? — спрашивал я с удивлением.

— А в Кяхту-то? Мы ее, по старой привычке, зовем плотиной, а купцов — плотинскими.

— Почему же Кяхта зовется плотиной?

А потому-с, что в прежние годы около самой слободы был устроен пруд, и от этого-то пруда и стали звать слободу плотиной. Теперь уж ничего этого и следа не осталось, по речонке куры ходят, а вместо лесочки остался один песок. Вот и живем мы на этих песках по милости Саввы Владиславича.

— Какого это Саввы Владиславича!

— Как же это вы, государь мой, не знаете? Савва Владиславич Рагузинский был основателем нашего города и по его имени он получил название Троицкосавска. Этот Рагузин-

ский, когда выбирал место для торговли с Китаем, то хотел непременно найти такую реку, которая бежала бы не из китайских пределов, а от нас. Побаивался он, видите ли, чтоб китайцы не напустили в воду какого-нибудь зелья и не отравили бы народ, — а такой реки не нашлось кроме нашей куроходной. Подумал, подумал Савва Владиславич, да и порешил построить здесь город.

— Вот какая история! — удивлялся я: — да неужели в самом деле он боялся, что по реке могут пустить отраву?

— Поверьте Господу Богу... А то бы зачем при такой речонке город строить? Теперь отсюда всего 30 верст до реки Чикоя — чюдная, широкая река, и суда небольшие могут ходить по ней; там и песков нет, и леса хорошие. Отличное бы место, да вот не захотел: опасно, говорит, отравить могут. А как тут на широкой реке отравить? Подумайте... Ну, да уж время такое было, — говорил хозяин, разводя руками.

Он помолчал несколько времени, как будто вспоминая прошедшее, потом торопливо спросил:

— Когда же поедете-то?

— Да что вы пристаёте? Я пешком пойду.

— Нет, уж пешком-то не тово... отмахаете ноги.

— Да разве очень далеко?

— Далеко не далеко, а версты три добрых будет. Лучше я велю лошадь для вас запрячь в сидейку.

— Это что за сидейка?

— Ну, кабриолетик что ли по-вашему, только простенький. Я потому, видите ли, к вам пристаю с вопросом, что у меня лошади идут в Кяхту за вывозкой.

— Тьфу ты, Господи! У вас здесь на каждом шагу все новые слова! Какая такая вывозка?

— Эх, государь мой! Побываете на плотине — не то скажете. Там с китайцами по-русски так говорят, что русский ничего не поймет. Ну, да это увидите и услышите сами. А вывозка-с, сударь мой, вот что: из гостиного двора мы возим чай в таможду, так этот провоз и называется вывозкой.

— Да ведь это только лишняя перекладка. Извозчики бы могли завезти в таможду и потом дальше в Иркутск везти...

— Нет, позвольте, тут дело не в том; ведь из гостиного двора, с плотины то есть, чай отправляется только в камыше, как, значит, куплен от китайцев. Мы его привезем в таможню и сложим в пакгауз; хозяин на него еще не имеет права, потому пошлина не взята; а там начальство засвидетельствует, взвесит ящичков пяток и, сообразуясь с их весом, назначит пошлину со всей партии, если только она одной фамилии.

— Как же фамилии таможня узнает? Ведь купец может обмануть?

— Да так и узнает: на боках ящичков она написана китайскими буквами; для этого в таможне и переводчик есть. Вот если разных фамилий чай, тогда из каждой фамилии и берут для привески ящичка три-четыре и назначают пошлину с каждой фамилии. Если, примерно, вышло 88 ф. чистого чая, берут пошлину за 85; если 82 ф. тоже за 85 ф.; ну, а если 88 хоть с четвертью, тогда берут за полный вес. Вот оно как!

— Ну, а потом-то что делают с чаем?

— Потом пломбу привесят и в кожу зашивать позволяют. *Ширить* по-нашему называ-

ется. А потом надрезку делать.

— Какую опять надрезку?

— А эти самые слова: Т. Н. Ф. значит торговый, неквадратный, фамильный; или: Т. К. Ц. торговый, квадратный, цветочный. А то еще есть: Т. Н. Ф. Х. торговый, неквадратный, фамильный, хунмы. Ну, поставят нумера, литеры — кому чай принадлежит: вас например, купца, собственника чая, зовут Матвей Захарович, по фамилии Бурлаков, ну и поставят: М. З. Б. Вот как все это сделают, купец пошлину заплатит — и с Богом! А на это, мало-мало, надо два дня.

— Кто же это зашивает чай в кожи и надрезывает: таможня что ли?

— Нет, на этот раз у нас есть своя артель городская, из мещанства, человек во сто. Это уж все в ее руках. Она одна только и ширит.

— Ну, спасибо вам: хотя немного вы меня познакомили с делом. А то я точно слепой или с завязанными глазами.

— А вот поживете, государь мой, еще много кое-чего узнаете.

— А что еще такое?

— Узнаете после, — таинственно сказал хо-

зяин, уходя отдать приказание запрячь лошадь.

III

Я поехал в Кяхту. Начиная от таможни, по большой улице Троицкосавска, до торговой слободы Кяхты, дорога идет по шоссе, сооруженном на капиталы кяхтинского общества. С правой стороны, при выезде из города, видны горы, поросшие чахлым кустарником и отчасти хвойным лесом, налево — песчаная местность, по которой пробирается едва заметная речонка Кяхта; далее за ней видны голые остроконечные сопки, длинной цепью вытянувшиеся по границе Монголии.

У шлагбаума, при въезде в торговую слободу, таможенные надсмотрщики осмотрели мой экипаж и не совсем деликатно ощупали мои карманы. Один из них оказался даже знакомый человек: он был из числа тех кустодий, которые осматривали мой чемодан при въезде в г. Троицкосавск. Получив от меня билетик, данный из канцелярии градоначальника, на право проезда в торговую слободу, и удостоверившись, что со мной нет запрещен-

ного золота и серебра, досмотрщики подняли шлагбаум, и я въехал в торговую слободу.

Первое, что поразило меня — это необыкновенная чистота и как будто новизна постройки. Дома, крыши, заборы казались только что выкрашенными. Высокая каменная церковь красовалась на возвышенном месте; вызолоченные кресты на ее пяти главах, скромная и в то же время грандиозная архитектура останавливали взгляд каждого, в первый раз приезжающего в Кяхту. Удивительная чистота, в которой вообще содержится маленькая, трехуличная Кяхта, располагает к ней заезжего. Саженьях в ста от заставы стали показываться китайские фигурные крыши соседнего города Маймайтчина. Высокая башня с раскрашенными драконами, сидящими на ней, высокие столбы с золотыми вверху шарами, все это производило новое впечатление, увеличивавшееся сильнее при встрече с китайцами, расхаживавшими по улицам торговой слободы.

Они ходили толпами в своих длиннополых халатах, сверху которых надеты были курмы (род дамской кофты), на голове кругло-

ватая шляпа, с высоко и круто загнутыми кверху полями, и красная шелковая кисточка покрывала всю верхушку на ней. Китайцы все были в одинаковом костюме. По длинным косам я сначала принял их за женщин, и убедился в своей ошибке только тогда, когда увидел у некоторых из обладателей кос большие, черные, опущенные книзу усы.

— Здравству, пlyingтер! Нова люди, здравству! — кричали они мне вслед.

Я приехал к одному из старшин торгующего в Кяхте купечества и, входя в комнату, увидел опять китайцев, сидевших в зале с коротенькими трубками в зубах. В комнате было дымно, так что глаза щипало, и запах китайского табаку производил тошноту.

— Здравству, пlyingтер!

— Нова люди!

— Кода плишоло? — приставали любопытные китайцы, обдавая меня запахом чеснока.

— Вчера приехал, — отвечал я, едва понимая их вопрос.

— Какой люди? Какова города? Кака имя? Батюшка еси? — спрашивали опять китайцы.

— Матушка еси? Жениха была? Ребязи еси, братциза еси, какой товар повози? (Есть ли мать? Женат ли? Есть ли дети, братья? Какой товар привез продавать?).

Наполовину понимая их вопросы, обступленный со всех сторон, я едва мог удовлетворить их любопытство.

— Плятер буду за нама, — фамильярно говорил один, похлопывая меня по плечу.

— Поторгова буду? Тибиди сама серебро хозяин или пыркашики? — приставали другие (т. е. ты хозяин или приказчик?).

— Не понимаю, — повторял я с досадой.

— Плятер, сердиза не надо. Чево напрасно!

— Нама только спрашива. Сердиза не надо!

— Тибиди умна люди халышанки... После торгова буду... — ласково говорили некоторые.

Вошел хозяин дома и увел меня в другую комнату, говоря, что зала у них всегда в грязи от частых посещений китайцев.

После непродолжительных разговоров с хозяином я отправился к другому старшине, где встретил точно также китайцев, пристав-

ших с вопросами: «откуда, как зовут, есть ли отец, сам ли хозяин, или приказчик?». Так точно и у остальных двух старшин я встретил то же самое.

В торговой слободе ежегодно выбирается из купечества по четыре старшины, для наблюдения за ходом торговли, и приезжающий по делам в Кяхту, по принятому обычаю, должен делать визиты старшинам, как, в некотором роде, местному начальству.

Утром следующего дня я получил приглашительный билет на обед, даваемый торгующим в Кяхте купечеством в честь какого-то приехавшего из Верхнеудинска купца, и опять в той же трясучей, двухколесной таратайке поехал я в купеческое собрание. При входе в дом меня поразила богатейшая обстановка. В дверях стоял швейцар с булавой, в боковой комнате виднелись музыканты, на всю залу был раскинут роскошно сервированный стол с цветами и серебряными холодильниками для шампанского. Публики было не более тридцати человек.

— У нас здесь все свои купцы только, — говорил старшина, представляя меня некото-

рым.

— По какому же случаю у вас сегодня такой пышный праздник? — спрашивал я.

— Да так, кстати пришлось. Тут как-то по зиме наши купцы были в Верхнеудинске и гостили несколько времени у знакомого купца; теперь этот самый купец приехал сюда, ну так надо же и его угостить — порядок требует.

«Вот они как, — подумал я, — не по-нашему живут».

Обед сначала шел своим порядком. Некоторые из кяхтинцев, изощрившиеся в словоизвержении, не заставили себя дожидаться и при подаче второго блюда начали поочередно говорить речи. Один, более других красноречивый, долго держал какую-то речь о хлебо-сольстве, стоя с бокалом в руке и жестикулируя другой рукой. Виновник торжества тоже встал на ноги и, во время спича, несколько раз кланялся на все стороны. Как только оратор кончил, он тоже поднял бокал кверху и видимо хотел сказать ответную речь, но только начал: — Господа, торгующее на Кяхте купечество! Я, я, не... не... не могу ничего сказать! — и, совершенно растерявшись, опу-

стился на стул.

— Далеко ему до наших, — шепнул мне сосед. Купцы, к чести их нужно сказать, постарались поскорее стушевать неудавшуюся речь и один из них громко крикнул:

— К чему, господа, речи!

— Не нужно речей, — подхватил другой.

— Ну-ко, братцы, — закричал старшина, — за Царя и Русь святую!.. Эй, музыканты! Играйте за Царя и Русь святую, — кричал он, оборачиваясь к музыкантам, — и обед окончился пением и пристукиванием ножами о тарелки и стаканы.

Я хотя и редко бывал на официальных обедах, но окончание этого обеда показалось мне странным.

IV

Через несколько времени я переселился из города в торговую слободу и, познакомившись покороче с одним из купеческих детей, услышал от него много интересных рассказов, в ответ на мой вопрос по поводу официального обеда.

— У нас прежде не то еще бывало, — говорил он, улыбаясь, — в праздник, бывало, ходят все толпой из дома в дом, музыку с собой таскают, ящик шампанского возят на телеге и, заходя в дома, забирают с собой хозяев и дальше идут. Выпьют полбутылки, а другую бросают недопитой: потому, говорят, газ выходит, — не годится, скусу того нет... Так целый день пьют, к вечеру едва-едва найдут дорогу... Теперь уж не то; хоть в клубе другой раз и отплясывают трепака, да это не часто.

— На какие же это суммы у вас делается?

— На добровольную складку — акцидентацию по-здешнему. Здесь собирается с каждого вывозимого от китайцев ящика по 40 к. теперь, а прежде 60 к. брали, в кассу торговой слободы, для улучшения торговли. Вот на эту-

то аксиденцию и кутим.

— А много ли здесь вывозится чаю?

— Средним числом можно считать до ста пятидесяти тысяч ящиков, собирается, следовательно, до 60 т. руб. добровольной складки... А спросите-ка, сколько ее остается от годового счета?

— Сколько же?

— Ничего! Так вот, за все время торговли ничего и не остается... Собор вот выстроили, но при постройке тут были особые вклады от доброхотных дателей; ну, шоссе до таможни сделали, попа с причтом содержат, певчих, музыку, пожарную команду...

— Да ведь это не 60 т. стоит? — спрашивал я, пораженный такой значительной суммой.

— Ну остатки идут — вот на обеды, на угощение начальства, вот недавно 200 руб. пожертвовали бедным, — говорил, смеясь, мой знакомый.

— Кому же отчет отдается в добровольной складке?

— Как кому? Сами себе и отдаем отчет.

— Да ведь чай, большею частью, вымениваются комиссионерами на капиталы москов-

ских и других купцов?

— Ну да что за важность; сорок-то копеек бросить можно, — ведь это мелочь, — говорил мой знакомый, а сам едва сдерживал смех. Он хорошо понимал всю нелепость добровольной складки и всегда смеялся над ней.

— Вот называют «добровольная», а ну, попробуйте-ка, — продолжал он, — не отдать ее, так и чай из гостиного двора не выпустят: вот вам и добровольная!

— Значит, и с меня тоже потянут, если буду покупать чай?

— Конечно; исключение что ли для вас делать: ведь вы на обеде были?

— Ну так что же? — удивленно спросил я.

— То-то и есть: даром что ли вас кормить-то!

— А что, здесь у вас много, я думаю, богатых купцов?

— Всякого добра благодать. Овому Господь даде талат, овому два, овому же ни единого, так себе на кредите пробивается и ведет дело. Со стороны, пожалуй, подумаешь и невесть что: тысячу ящичков чаю прет на ярмарку, — а все чужое: чай взял у китайцев в кредит, за

кожу и ширку заплатил чаем же, пошлину перевел по поручительству, а за провоз — по доставке на ярмарке отдаст.

— По какому же поручительству?

— Да здесь круговая порука. Я за вас ручаюсь: хороший, мол, человек, одно слово, а вы за меня — славный, мол, парень, — вот и поручаемся — поняли? По закону, купцу первой гильдии позволено переводить пошлину по вексям на 15 т. руб., второй на 6 т. руб., а третью из Кяхты в шею гнали, по пословице: гусь свинье не товарищ! Теперь ее впрочем и нет, значит и гнать некого. Вот как-с, мой почтеннейший! Тут еще другие грешки есть, да уж только сказывать ли?

— Ну нельзя — так не надо.

— Нет уж, ничего, скажу — так и быть. Вот видите ли, какая штука. Кроме 15 т., вам еще нужно перевести пошлины на какую-нибудь сумму; вы и делаете подписку, за поручительством купцов, что, дескать, вот так и так, у меня в гостином дворе лежат чаи, которые я оставляю в обеспечение: так нельзя ли, дескать, перевести еще пошлины? А чай-то лежат гуртом; с виду-то будто и действительно

100 или 150 ящичков, а их всего 40 или 50, в середине-то пусто, и выходит, что друг друга и любят, и поручаются, и надувают...

— Ну, штук у вас здесь, я посмотрю, много.

— Э! Это еще что, то ли узнаете после, как поживете, — говорил мне знакомый, хитро подмигивая.

— Начал я, — говорил он, — торговое дело в Кяхте и, конечно, так же, как и другие, платил аксиденцию; так же, как и другие, проводил тайным путем серебро и золото; обманывал таможду отчетами и иногда, грешным делом, без пошлины чайшку отправлял, так же, как и другие. Всему этому добру научили меня мои хорошие знакомые, так же, как я вас учу.

— Вот завтра, — говорил он, — поедете в таможду предъявлять полученные сукна: заезжайте сначала к старшинам, как требует порядок, и попросите подороже оценить ваши сукна. Они ведь оценивают в таможде товар-то.

— Ну, а если они не захотят кривить душой?

— Вот выдумали там! Ведь рука руку моет:

Бог даст, на будущий год вы будете служить и вы также помирволите другому.

— Ну, а потом что же будет?

— Ничего не будет. Оценят ваши сукна, откроют вам в таможне счет ввоза товаров, и вы можете производить меновую торговлю с китайцами, как следует, с третьей части отпуска к ним золота, пятифранкового серебра или русского серебра в изделиях.

— В каких же изделиях русское серебро, в ложках, в подносах, что ли?

— Ну да, в ложках, из которых каждая по фунту почти весом, а подносы по десяти или двадцати фунтов — другому и не поднять, — говорил, смеясь, мой знакомый и показывал руками, как тяжелы бывают подносы.

— Да скажите же, ради Бога, для чего такие тяжелые изделия отправляют сюда?

— Хе-хе-хе! Простота вы, я посмотрю; жили бы уж там, в своем Алабове, ничего-то не можете сообразить. Хе-хе-хе! Да как же иначе-то? Где наберешь изделий-то для китайцев? Ведь сюда прудят горы серебра, ну и нужно на хитрости подниматься. Вот и везут ложку разливальную, из которой можно коня

напоить. — Ха-ха-ха!

Через несколько времени променял я сукна китаецам на чай и опять иду советоваться к другу моему милому: как и что мне делать с отчетом таможене. Дружок залез на письменный стол и, упершись в бока руками, с хитрой улыбкой посматривал на меня, как будто хотел сказать: «что, брат-простота, ничего-то ты, видно, не смыслишь».

— Что мне теперь делать, с чаем? — спрашивал я.

— Что делать с чаем? — переспросил он, — а вот что: чай пить надо, для того его и покупают.

— Нет, пожалуйста, голубчик, поучите, как таможене отчет составить?

— А вот как: у вас примерно пятьсот штук мезерицкого сукна, на пятьсот ящиков чаю, — так что ли?

— Ну, да.

— Ну, вот и пишите таможене, что променял, мол, я за границу товаров, ввезенных, мол, через таможеню тогда-то, под № таким-то. Из них выменял на 200 штук пятьсот ящиков чаю... Жаль, что у вас серебра не было ввезе-

но, а то бы еще лучше: серебра присчитали бы тут же одну треть, как следует по закону, — сукна еще больше сбереглось бы.

— Да скажите пожалуйста, на что же это сукно годится после? Ведь его нет, оно только на бумаге, как у Павла Ивановича Чичикова мертвые души?

— Что ж, здесь и на бумаге иметь их очень не мешает, потому что за вами, конечно, грехи будут после?

— Какие грехи? — удивлялся я.

— А серебрецо-то контрабандишкой, полагать надо, тоже того?.. — говорил мой знакомый, прищуривая глаз — ведь не святой человек, а?

Я молчал и слушал, не понимая, к чему вся эта речь.

— Вот тогда-то эти мертвые души и оживут: сукно-то и пригодится. Меняйте чай на серебро, привезенное контрабандой, а пишите таможене-матушке, что вот мол, так и так, променял на сукна, оставшиеся от ввоза тогда-то, за № таким-то, — триста штук сукна, а получил, дескать, шестьсот ящичков чаю. Вот как. Поняли?

— Понял, — говорю... — Да ведь это что-то очень...

— Это очень и очень хорошее дело. Это значит — у нас мертвые-то души оживают, — повторил он и снова захохотал на всю комнату.

V

Мой знакомый рассказывал мне о своих Кяхтинских похождениях следующее:

— Так же точно, как вы, приехал я в Кяхту, — говорил он, — и также ничего не знал, как и что делать; но наука мне далась скоро, и я подумывал уже о том, как бы побольше понакопить товаров *несуществующих*, говоря словами Чичикова, потому что действительных товаров у меня уже не доставало. Иду к своему другу за советом. — Эх ты, простота моя уездная, — говорили мне, — где тебе всю здешнюю науку произойти. Тут, батенька мой, премудрость созда себе дом, вот что! Поезжай, — говорят, — завтра в Троицкосавск и купи ты, братец мой, соболей у бурят или в лавке, где придется, этак примерно хоть штук сто или полтора... — Я приходил снова в

удивление и спрашивал: — Зачем же это опять делается, что за история такая? Ведь китаяцам соболей теперь не требуется? — Купи, братец мой, купи — хорошо будет, — говорили мне: — отвези ты их в таможду, больше как полтора ста штук и не нужно... А старшину не забудь попросить хорошенько, «властем предержащим да повинуются». Поклонись ему: ну, глядишь, он и подороже тебе оценит их — дело будет в шляпе. Понял ли теперь? — Ни черта рогатого не понимаю, — говорю.

— Слушай дальше. Таможня впишет их на приход к твоему счету и поставит на каждой шкуре клеймо: предъявлены, дескать, таможене, и больше, дескать, их предъявлять не полагается... — Ну?.. — говорил я в нетерпении, ожидая, что выйдет из этого.

— Ну вот, привезешь ты этих самых клейменных соболей и клеймы сейчас — фють! — У нас уже есть такая специя... потому что здесь уж такие законы...

— А потом поезжай с соболями на Чикой, из них матрац или подушку состряпай, — говорили мне и спрашивали: — Понял ли? —

Хе, хе! — смеялся я: — понял, говорю, теперь. Это значит оттуда опять в город, соболей опять в таможду: так, значит, и кружи их хоть двадцать раз. Так что ли?

— Так, умница, так, догадался-таки, — похвалили меня учителя и я им за это: — «спасибо, говорю, товарищи, спасибо...».

— Однажды, — рассказывал мне опять мой знакомый, — однажды был такой замечательный случай: с тремя мешками пятифранкового серебра попался маленький жидок.

— Как это вы могли серебро везти, не предъявив его таможде? — сердито спрашивал его надзиратель.

— Я хотел в церковь позертвовать... — бормотал растерявшийся жидок.

— Какая тут вам церковь! Вы знаете, что нужно сначала в таможду завезти.

— Забыл, совершенно забыл, поверьте цести, — растерявшись и не зная, что делать, лепетал маленький жидок, служивший приказчиком у одного толстого купца. Лошадь, экипаж и серебро отобрали. Жидок некоторое время находился под арестом в таможде, но потом дело как-то уладили: сказали, что жи-

док забылся и ошибкой проехал мимо таможенни. — Это, дескать, с ним бывает.

— Эта история, — продолжал мой знакомый, — меня испугала порядком. — «Черт возьми совсем, — думал я, — скверно, если попадешься. На церковь сваливать не приходится, не верят они в христианское милосердие». — Иду опять к учителям. — Вот, говорю, товарищи, как теперь горе избыть? Слышал я, жид попался! Скверная штука! А ко мне, как на грех, из России мой доверитель прет серебра видимо-невидимо, — точно дров поленицы лежат в городе. Таможню-то миновали, а как теперь сюда в слободу-то перевозить?

— Да как перевозил раньше, так и вози, — научали меня учителя и спокойно грызли свои ногти, или ковыряли пальцами в носках. Такое приятное занятие, показывавшее, так сказать, воочию то спокойное состояние, в котором находились мои наставники, — возмущали меня, человека неопытного и потому трусившего опасностей.

— Да мало ли что было раньше? Теперь боюсь, — отвечал я.

— Ну, брат, если уж боишься, — говорили

мне, — так и пускаться нечего. А вот что: чем по мелочи-то возить да мучиться с ним, лучше Ивану Васильевичу на доставку отдай: он за раз перемахнет тысяч двадцать.

— Кто такой этот Иван Васильевич? — спрашивал я.

— Да тут есть чиновник один, заика. Он возьмет с тебя копейки по две со штуки и завтра же доставит. Человек верный настолько, насколько можно верить такому человеку.

— То есть, как? Я не понимаю...

— Да так же... Другим возит — не обманывает, и тебе конечно привезет.

Пригласил, — говорит, — я Ивана Васильевича.

— Я... я... теперь не могу две копейки взять. Тр-три можно, — отвечал он мне.

— Почему же, Иван Васильевич?

— Т-те пути испорчены, — говорит.

— Какие же те пути?

— Ст-старые, — едва выговорил мне Иван Васильевич. Но я все-таки отдал Ивану Васильевичу, по совету учителей, десять тысяч штук серебра на доставку из города в торговую слободу и, в ожидании его привоза, изму-

чился Бог знает как; просто просмотрел глаза на дорогу. Нет Ивана Васильевича. Наступила ночь — нет, полночь на дворе — нет! Сжалось мое сердце. — «Десять тысяч штук серебра! — думал я. — Денег-то, денег-то — страсть какая! Что, если да он их ухнет себе? И просить ведь не смеешь! Десять тысяч штук! Пропадай моя голова!..».

— Но голова моя не пропала, — рассказывал мой знакомый. — Ранним утром, только что начало светать, Иван Васильевич, одетый деревенским мужиком, явился ко мне в комнату и, осторожно осматриваясь кругом, прошептал, что серебро здесь, на дворе. — Да где же оно, где? — почти кричал я от радости, готовый расцеловать Ивана Васильевича.

— В др-дровах привезли, — едва выговорил Иван Васильевич, опять посматривая во все углы, боясь, чтобы кто не подслушал. — Не бойтесь, здесь уже никто не выдаст, да никого и нет здесь, — успокаивал я, готовый пуститься в пляс. Во дворе стояло возов десять с дровами. Другие контрабандисты, товарищи Ивана Васильевича, укладывали дрова в поленицу, а он, как только воз докладыва-

ют, — мешок под полу и тащит ко мне в комнату, а я прячу под половицу, которая нарочно была устроена так, чтобы можно было ее при случае вынуть. Иван Васильевич ночью перевез серебро в лес и ранним утром выехал из лесу с левой стороны от города, отстраняя, конечно, этим всякое подозрение со стороны надзирателей у заставы.

Таким-то порядком и велись наши торговые дела. К ужасу моему, через неделю Иван Васильевич, взявши также доставить серебро одному из купцов, перевез его в лес, но другие контрабандисты следили за ним и отняли у него это серебро. Вышло значит то, что вор у вора дубинку украл. Вот, думал я, Бог меня спас-то. Ах ты напасть какая! Но прошло несколько времени, прошел первый страх, и я снова принимался за опасное *рукомесло*, или сам лично, или отдавал серебро на доставку Иванам Васильевичам, которых в Кяхте оказалось немало.

Были в Кяхте, — рассказывал мне мой знакомый, — и невольные контрабандисты, которые не знали, что, проезжая через заставу, везут контрабанду. Рассказывали мне, что

был у них когда-то один из членов таможни большой поклонник Бахуса. Пригласил его однажды купец к себе в гости и с полудня опаивал его вином до полночи. Член заснул крепчайшим; купец велел запрячь экипаж, нагрузил его изюбровыми рогами и на них уложил члена. На заставе спрашивают: — Кто едет?

— Такой-то член таможни, — важно кричит кучер. Шлагбаум подняли, и спящий член провез под собой контрабанду — рога изюбров, нескромно торчавшие из экипажа.

Про серебро же существует несколько рассказов, повторять которые неловко как-то — «чтобы гусей не раздражить». Бывали не раз такие случаи, что купец, отправляя в город экипаж для приехавшего важного лица, приказывал кучеру нагрузить его в городе серебром, и важное лицо, никогда конечно неосматриваемое на заставе, провозило под собой в ящике тысяч десять или двадцать. Важное лицо только удивляется, отчего это так кони устали.

— Здесь уж, ваше высокородие, климат такой, что лошади, примерно, завсегда уста-

ют, — серьезно замечает кучер, придерживаясь рукой за шляпу.

— Однако это очень странно, — промычит себе под нос важное лицо.

— Да-с, очень это странно значит, — поддакивает шельмоватый кучер.

VI

Наконец и сам я обжился в Кяхте и сам много узнал из кяхтинской жизни, из жизни, нужно сказать, давно прошлой, потому что современная мне кяхтинская жизнь стала значительно лучше прежней, хотя тоже представляла много оригинального.

Наступило время ревизии гостиного двора, каждогодно производимое таможней; работа по купеческим конторам шла горячая: купцы торопливо ходили из дома в дом, по конторам, и сводили свои счета.

— Послушай, что у тебя по книгам, лишних товаров нет ли, а? — заботливо спрашивает один.

— Есть, мне нужно их сбыть куда-нибудь: возьми, брат, уступлю, — не менее заботливо отвечает другой.

— Ладно, ладно, давай... Эй, парень! Беги ко мне в контору, скажи, чтобы принесли сюда книги: нужно узнать, сколько там недочету по товарам.

Сверили свои счета, купили один у другого товар, существующий на бумаге и послали таможене официальное уведомление, через контору старшин, о совершившейся продаже, с прошением перевести товары по книгам таможни от одного лица к другому.

— Ну, слава тебе Господи! — вздыхая, говорит купец товарищу: — теперь, брат, у нас с тобой чисто... а вон Чернозеров-то чево надедел, запутал контору-то, совсем запустил, — не знаю теперя, как у него и выйдет. С китайцами, дурак, все ссорится да дерется, теперь вот и надо бы положить для ревизии-то чаю в пакгаузы, а китайцы не дают: «хо — куй (черт), — говорят они, — не дадим».

— Не беда: у кого-нибудь из наших перехватит; свои люди, как-нибудь сочтемся, — успокаивает товарищ купца.

Я тоже окончил свои счета.

— Ну-с, господин Алабовский купча, — говорил мне мой знакомый, залезая по обыкно-

вению на письменный стол и постукивая каблуками, — один год еще прошел. Попечительница наша, мать-таможня, еще за один год накопила в своих архивах кучу, и большущую кучу гербовой исписанной бумаги...

— Скажи пожалуйста, — спрашивал я, — ведь таможня, я полагаю, знает, что не у всех купцов верны счета?

— Как поди не знать, — говорил мой знакомый тоненьким голоском, приложив руку к щеке, как это делают деревенские бабы.

— Для чего же все это делается?

— А кто их знает! — пищал он, не отнимая руки.

Седьмого декабря утром таможня, со всем своим штатом, явилась в торговой слободе у ворот гостиного двора. Приказчики и хозяева, каждый у своего пакгауза, дожидались ревизии. Директор, члены таможни, секретарь, бухгалтер, надзиратели, закутанные в шубы и шали и прозябшие до костей, двигались от пакгауза к пакгаузу, отмечая в своих книгах крестиками знак, что в пакгаузе все проверено и оказалось верно. У чиновников, в посиливших от холода руках, едва держались ка-

рандаши; заметно было, что они, чиновники, страшно озябли: вздрагивали, пробираемые декабрьским морозом. Конечно, все оказалось верно, так как купцы заранее были приготовлены в поверке. Экстренного же свидетельства таможня назначить не может, потому что, по закону, купцы могут просить трехдневного срока, для окончания расчетов с китайцами. По окончании ревизии прозябших таможенных чиновников купцы, конечно, не упускают случая угостить пышным обедом, с цветами, фруктами, с шампанским, с речами, тостами и глупо-важной рожей старого солдата, одетого швейцаром, с такой же, глупой как сам он, булавой в руке.

Через несколько дней после окончания ревизии начинаются выборы в старшины. С утра рассыльный Осипов, вечно пьяный, с красной рожей и посинелым носом, бегаёт по домам с бумагой от старшин, приглашающих на собрание.

Купечество начинает понемногу собираться в дом старшин и молча усаживается в зале. Кто побогаче, тот всегда приходит попозже, встречаемый общим поклоном. В течение пя-

ти лет, которые я жил в Кяхте, один из тузов кяхтинской слободы постоянно приходил последним; приказчика, бывало, даже пошлет узнать, все ли собрались, и, как говорят злые языки, очень уж ему нравился общий поклон, которым его встречали при входе в залу.

В угольной[7] комнате уже приготовлены выпивка и закуска. Публика, в ожидании выбора старшин, пока еще не вся собралась и изредка похаживает в угольную комнату.

— Пойдем, парень, — шепчет сосед соседу, — выпьем по рюмочке.

— По одной разве. Так и быть, пойдем выпьем.

— Скоро ли кончится все? Страх скучно! — говорит выпивший.

— Что ты, голова! Еще ничего не началось, а ты уж и соскучился.

— Мы сегодня хотели у Шишукина собраться...

— Да ведь вы каждый день у Шишукина?

— Нет, вчера у Ришяева... я две тысячи зашиб...

— Хорошая была вчера игра...

— А слышал ты, каких лошадей привели

Василию Васильичу?..

— Как же! Как же! Нарочно ходил смотреть...

— Чудные лошади!..

— И спрыски надо делать!..

— Господа, господа, пожалуйста, все собрались... — слышится из залы.

Наскоро обтирая рты, публика чинно идет в зал, обдергивая полы сюртуков и поправляя галстуки; пришли и тихо уселись на стулья, точно святые, как говорится в простонародье. Несколько минут прошло в молчании.

— Вот теперь, господа, — несмело начинает один из старшин, вставая на ноги и упираясь рукой о стол, — надо бы выбрать новых старшин, как следует по закону...

Общество посиживает и помалкивает.

— За нынешний истекающий год, из добровольной складки, — продолжает старшина, — остаток, видно, будет небольшой...

Публика молчит. Кое-где слышатся легкие вздохи...

— Потому, — раздается снова в тишине его голос, — нынче, как вам известно, посещал Кяхту его высокопревосходительство, по это-

му, значит, случаю были лишние расходы, как того требовало приличие... Впрочем, это все будет показано в отчете...

Публика продолжает молчать. Кто-то тихонько сказал: — ну да, конечно, в отчете будет видно.

— Ну да...

— Конечно...

— Гм... Гм...

Опять молчание.

— Отчет, как и прежде водилось, — продолжает старшина, — мы подготовим в конторе к январю, либо к февралю месяцу, потому, как вам известно, в это время, перед свидетельством гостиного двора, дела всегда бывает много...

— Дело известное.

— Ну, конечно, понятно.

— Еще бы! Знаем, — слышится изредка со стульев.

— Теперь, господа, нужно бы приступить к выбору старшин, — говорит прежний старшина.

Публика опять молчит.

Другой старшина тихонько прошептал:

— Однако надо бы Петра Федоровича...

— Конечно, надо Петра Федоровича, — под-держал кто-то.

— Петра Федоровича, — ясно слышится третий голос.

— Ну да, ну да, Петра Федоровича, — заго-лосили все разом.

— Помилуйте, господа, я в третьем году служил, — кричит сильнее всех Петр Федоро-вич, — помилуйте, как можно.

— Нет уж, Петр Федорович, послужите.

— Я нынче, если Бог даст, собираюсь съез-дить в Москву, тоже дела есть — нужно, — упирается Петр Федорович.

— Нет уж, Петр Федорович, уж пожалуй-ста, послужите, — раздается со всех сторон и публика начинает напирать на Петра Федоро-вича.

— Я не могу, я служил в третьем году...

— Да кто не служил? Все служили... Нет уж, Петр Федорович, как хотите...

Публика кланяется и обступает Петра Фе-доровича — он пятится.

В зале начинается говор. Голоса раздаются все громче и громче. Все, до того времени

чинно сидевшие, поднимаются со своих стульев и напирают на Петра Федоровича.

Шум и смятение великое.

— Господа, — кричит кто-то, — просите горячее Петра Федоровича.

— Батюшка, Петр Федорович... — раздается громче со всех сторон.

Поломается Петр Федорович еще несколько времени и согласится.

— Ну, теперь кого же? — спрашивает один другого.

— Да теперь вас, Иван Кузьмич, надо...

— Что вы? Что вы? — дивится Иван Кузьмич, — да я не полагал...

— Послужите, Иван Кузьмич, что за важность — свое дело, семейное, — упрашивают купцы Ивана Кузьмича.

Опять шум, говор и опять упрашивание. Иван Кузьмич прижат к стене и еле дышит, отмахиваясь руками.

Поломается и Иван Кузьмич, следуя примеру Петра Федоровича, и прижатый в углу — согласится. Однажды, во время выбора старшин, один осаждаемый почему-то не желал занять почетной должности и убежал. С тех

пор купцы стали запирать дверь: дескать, крепче будет, не убегут.

Вслед за выбором Ивана Кузьмича, тем же порядком выбрали еще двух старшин. Скрепили все подписом, что вот так и так, торгующее на Кяхте купечество, в общем своем собрании, большинством голосов выбрали и проч...

— Ну, теперь, господа, поздравляем вас. Эй, парень, давай-ко сюда шампанского! — кричат старые, отслужившие старшины.

Выпили и поехали все к отслужившим старшинам, там выпили и пустились к новым, только что выбранным старшинам, у них тоже попили и, покачиваясь из стороны в сторону, разъехались по домам.

Наутро герои праздника с больными головами поехали принимать присягу на верность и честность службы... *«Даже не щадя живота своего»*, — повторяли они за священником, держа правую руку кверху и разогнув два пальца. После присяги представились директору таможни и градоначальнику с покорнейшей просьбой не отказать откусать хлеба-соли, как водилось и в старые, дескать,

годы тем же порядком.

Опять обед торжественный с шампанским, свечами, цветами и проч. и проч.

Через несколько дней новые старшины назначают собрание. Опять Осипов бегает по домам купцов. Собрались купцы.

— Вот теперь, господа, — говорит новый старшина Петр Федорович, понюхивая табачок, — нужно назначить цифру, какую брать с вывозимых ящиков... я насчет добровольной складки говорю...

Публика молчит. Слышатся тайные вздохи.

— То есть, видите ли, оно конечно, как и прежде, и в старые годы водилось, тоже, значит, каждый раз составляли, примерно, заранее подписку, что вот так и так, на текущий расход обязываемся в добровольную складку вносить по такой-то сумме с каждого ящика.

Публика по-прежнему молчит. Петр Федорович еще понюхал и опять начал говорить, — как прежде, в старые годы, как недавно и проч... — Он был большой говорун, только бы слушатели были. Долго он толковал, понюхивая, пока не перебил его Андрей Яковле-

вич, самый набольший туз в кяхтинской слободе.

— Так что же, значит, акт, гг. старшины, приготовьте, — сказал он. — Я согласен прошлогоднюю цифру платить... Полагаю, что общество не откажется.

Публика все помалкивает.

— Так, значит, так же, как и в прошлом году, — говорит старшина, — акт следовательно приготовить... Господа! Как вы думаете? Вы согласны по старой цифре назначить складку?..

Молчание продолжается.

— Да вы, Петр Федорович, обойдите каждого поочередно и спросите, — говорит Андрей Яковлевич, искоса посматривая на общество.

— Вы согласны? — спрашивает Петр Федорович, подходя к одному из собравшихся.

— Согласен, — шепотом говорит тот, вставая на ноги.

— Вы согласны? — продолжает Петр Федорович, подходя к другому.

— Как будет Господу угодно, — со вздохом говорит другой, ничего не понимая, что кругом делается.

— Вы согласны? — спрашивает старшина далее.

— Как общество, — отделяется другой.

— Да общество согласно, — говорит Петр Федорович, щелкая пальцем по табакерке.

— Куда, значит, люди — туда и мы. Только я первый к акту подписываться ни за что не буду.

— Вы согласны?

— Гм... Гм... Как общество...

Каждый из отвечающих говорит шепотом, а почему — Господь их знает...

VII

Переспросил Петр Федорович всех поочередно и снова сел на стул. Начался спор, кому подписывать бумагу, и никто не решался подписаться первым; снова пришлось старшине ходить и поочередно упрашивать подписаться. Поднялся шум и спор страшный: каждый точно оробел чего-то и уперся.

— Да на что ее, эту складку, делать-то? — закричал вдруг один из купцов.

— На что в самом деле складку, братцы? — подхватили другие.

— Нет, как же, господа. Ведь без сбора тоже нельзя.

— Кто говорит! Без складки оно тоже как же можно — никак нельзя.

— Теперь хоть не служи старшиной, так впору... — говорит Петр Федорович, набивая нос табаком.

— Оно конечно...

— Как же можно?..

— Господи помилуй! — вздыхает белобрысый купчик.

— Нет, позвольте. Вот тоже начальство бывает... никак невозможно.

Шум поднялся большой. Никто никого не слушал и каждый говорил.

— Нет, нет, погодите. Вот теперь бабка... зачем на общественный счет бабка[8] живет? Разве торговля когда родит кого? — кричал старик Макарьев.

— Торговля родит деньгу.

— Хе! хе! хе! Эт-то справедливо!

— Торговля, она тово...

— Это очень хорошо сказано, — обрадовались некоторые, довольные тем, что вопрос о добровольной складке как будто заминается.

— Нет, господа, шутки в сторону, — кричали другие: — вон из Москвы пишут, зачем, говорят, поп на общественные суммы...

— Мало ли чево пишут. Мы не татары, без попа тоже нельзя...

— Как можно без духовного отца!

— Конечно! Не ровно смертный час, вдруг... Оборони Бог...

— Конечно! Священник — это первое дело!..

— Так-то так, да пишут: заводите, говорят, на свои деньги; у нас, говорят, в Москве свои попы есть, для своего обиходу, и потому на свои деньги держим.

— Да не в попе дело... Про музыкантов тоже жалуются.

— Разве теперь, к слову сказать, музыканты большой счет составляют?..

— Мало ли на что не жалуются. Без расхода нельзя, пусть сами едут жить сюда.

— Теперь вот тоже про аптеку пишут: мы, говорят, здоровы, слава Богу, на наши деньги, говорят, в Кяхте аптеку содержат; мы, говорят, за комиссию платим...

— Оно точно. За комиссию мы получаем, а

без аптеки тоже невозможно, потому не ровен час...

— Ведь этот немец, говорят, понакопил деньжищев — страсть! А ему еще жалованье платят...

— Чего и говорить, — тут-то он и лупит деньги...

— Народ немецкий...

— Перестаньте, господа! Что это вы как расшумелись... Эй, парень, шампанского! — кричал, бегая по комнате, Петр Федорович и торопливо набивал нос табаком.

— Ну, господа, подписывайте — ведь уж без этого никак нельзя — ведь и в прошлом году так было...

— Эй, господа, в самом деле давай подписывать; что тут толковать, домой пора...

— Кто же начнет-то?

— Ну да все равно, надоело, по домам пора...

— Господи благослови... — говорит белобрый купчик и выводит на бумаге: «Кяхтинский второй купец», забывая подписать слово: «гильдии».

— Оно точно-с, — говорит он, подписав-

шись, — наше дело маленькое, как общество решит, так и будет. Мы, по милости Господа и Царицы Небесной, много довольны — вот что-с!

Подписи окончили и все отправились в другую комнату ужинать.

За ужином еще выпили. Макарьев несколько раз принимался доказывать, что бабку на общественные деньги нельзя держать, что торговля не родит детей.

— Да, Степан Михайлыч, вы ведь в Троицкосавске живете, так и говорите, что не нужно бабку, а нам, кяхтинским, она нужна.

— Да вы рассудите, ребята, тут дело нечисто, — кричит Макарьев.

— Ну да теперь ведь уж акт подписали, что спорить-то? — говорил довольный Петр Федорович, похлопывая пальцами по своей берестовой табакерке.

Купцы сами смекнули, что теперь спорить уж нечего, потому что споры эти ни к чему не приведут... Выпили они еще и молча разошлись по домам.

VIII

Выбранные «большинством голосов», новые старшины начали свою общественную службу и продолжали ее, конечно, тем же порядком, как и предшественники их, т. е. служили на пользу общества и государства и отслужили, как следовало ожидать, с честью. Приготовили и они отчет по приходу и расходу «добровольной складки» вместо декабря к апрелю.

— Да и куда с ним торопиться? Какой черт читать-то станет, прости Господи! Ведь все равно лежать же ему в конторе да гнить, — утешали сами себя старшины.

— Ну понятное, господа, дело. Вот я припоминаю, когда-то Андрей Яковлевич служил, так он вместо декабря едва к июлю приготовил отчет, да еще и то надо сказать, тогда от складки остались деньги тысяч до двадцати.

— Вот как! И такой грех случился, что от годовых расходов еще и остатки оказались? — спросил я, случившийся как-то при этом разговоре.

— Да, остались. Но это только раз и было,

потому, видите ли, какой-то добрый человек надоумил открыть свой кяхтинский банк, ну и стали было приберегать деньжонки-то; скопилось тысяч двадцать, да тоже ничего не сделали... Андрей Яковлевич ими пользовался полгода и едва от него их кое-как вытащили: в Москву, говорит, услал променять на серебро для общественной выгоды. Стыдить уж стали всем обществом — было тогда шуму-то на всю слободу!

— Где же теперь эта сумма.

— Да где? Ушла на текущие расходы, — мало ли здесь их. Вы только подумайте, на какую ногу поставлена наша Кяхта, каждый скажет, что радушнее и хлебосольнее вы по всей России не найдете. То и дело приезжие из Иркутска, власти там разные — честь нужно сделать — вот и обед. Празднование открытия торговли 14 апреля, опять — обед. Наступление весны 1 мая — обед. Масленица — обед с блинами. Для себя от скуки сделать тоже надо три-четыре обеда, ну для поддержки клуба нужно в год отложить несколько тысяч... а разные текущие расходы.

И идет себе кяхтинское дело своим тихим

манером. Получают комиссионеры за комиссии от иногородних купцов по 1 р. 60 к. с ящика и сколачивают копейку, а добровольная складка доставляет им титул радушных и хлебосольных; некоторые купцы получили даже золотые медали за свое истинно русское хлебосольство. Проходит год за годом, десятки лет за десятками, публикации отчетов никто не требует и — благо им! Иной из любопытства напишет из Москвы, что, дескать, как бы, господа, мне почитать, куда пошли мои деньги, взятые по 40 к. с ящика? — На улучшение торговли, мол, пошли, почтеннейший доверитель! На улучшение торговли идут ваши денежки, — отвечают ему отсюда, — а кстати, имеем честь вам почтеннейше доложить, что променяли ваши товары и серебро на чай отличнейшей доброты, лучшего качества и полного веса — только собирайте барыши.

— Ну и ладно, — успокаивается доверитель, — 40 копеек не велика птица, а барыш зашибить — это мы можем.

Другой, более любопытный, не удовлетворяется ответом, а требует полного отчета и

уведомления, на какое такое улучшение пошли деньги? А приезжайте, — ответят ему купцы, — в Кяхту и читайте в конторе старшин, а нам некогда рассылать копии по всем доверителям — их ведь не перечесть даже.

— А из-за чего ж в самом деле мне больно-то приставать, — сообразит любопытный: — польза от чаю хорошая, нечего Бога гневить, — и успокоится.

А кяхтинские купцы продолжают жить в свое удовольствие, думая вообще мало и во все не думая о том, что кругобайкальская дорога остается такой, как Господь создал ее в первый день сотворения мира; не приходит им на мысль и то, что по Байкалу суда качаются на волнах с товарами по неделе и по две в виду посольской станции, не имея никакой возможности попасть в Прорву[9], ибо никто и никогда не позаботился об устройстве пристани. Платят купцы за провоз товаров, по три и четыре рубля с пуда, из Иркутска до Томска, за 1500 верст, и никто из них даже не задумался о том, чтобы устроить речной путь по Ангаре и Енисею.

Подходят от доверителей из Москвы това-

ры, подвозят каждый почтовый день, на пяти и шести тройках, серебро и золото, да тайная дорожка неустанно протаптывается верховыми, пробирающимися с грузом драгоценных металлов. Все это и явно и тайно переходит в руки сметливых китайцев, а от них принимаются партии чая и отправляются в Москву. Китайцы накормят купцов до отвалу своими многочисленными, разнообразными яствами, угостят их горячим и крепким вином «майгулу» и сами при таком торжественном случае хватят через край.

— Ну наша поторгова дела, хайдзюйла еси (пьян стал), пlyingтер! — угощают они купившего чай купца, счастливые и довольные выгодной продажей чая.

— Отчего вы так скверно по-русски говорите? — спросил я однажды китайца и более никогда не решался повторить своего вопроса.

Он с упреком ответил мне на мой вопрос, что мы китайцы, хотя плохо, да все же говорим на вашем языке, а вы, русские, имея несколько десятков лет китайско-русское училище — не выучились до сей поры ни говорить, ни писать по-нашему.

— Да, — подумал я, — прав ты китаец, и нечего мне тебя спрашивать более об этом. Прав ты, потому что как ни на есть, а говоришь по-русски, хотя, может быть, и не имел никакого желания изучать его, да заботливое твое правительство не пускало тебя иначе в Кяхту, как заставив предварительно выдержать в Калгане (800 вер. от Кяхты) курс изуродованного кяхтинского наречия.

— Отчего же наши русские молодцы не искусились в этой грамоте? — спросит, пожалуй, читатель.

Вместо ответа я попрошу вас зайти в класс китайско-русского училища и послушать, как преподается в нем китайская грамота.

Входим. Зал довольно обширный, все в порядке, полы чисто вымыты, на скамьях сидят опрятно одетые мальчики, за столом посреди комнаты восседает седой и дряхлый старец, украшенный знаками отличий; перед ним лежит большая широкая книга, «Грамматика китайского языка, составленная монахом Иоакинфом». Сидит старец на стуле, упершись локтями на стол, и ведет такую речь.

— Был в то время, господа, — едва слышит-

ся его голос, — в то время, говорю я, был в Иркутске мой благодетель и начальник генерал Р... Пригласил он меня к себе. Это было в тот год, как я возвратился из моего первого путешествия в Поднебесную империю. Этакая, понимаете, честь: генерал к себе в гости приглашает. Ну, понимаете, я отправился. Вхожу; его превосходительство изволят сидеть по правую сторону дивана, а ее превосходительство изволят на левой...

Мальчики слушают, где и как изволили сидеть их превосходительства, а сами строят из карт домики или работают что-нибудь перочинными ножичками. Лекция о генерале с супругой кончается. Еле передвигающий ноги старец к концу класса, как будто вспомнив о своей обязанности, скажет слова два-три о китайских знаках, имеющих два хвостика, и о знаках, имеющих три хвостика, да тем и закончит.

— Завтра, господа ученики, если будем живы и здоровы, поговорим о следующих знаках, — добавлял он, поднимаясь со своего педагогического кресла.

А на следующий день опять он рассказы-

вал о каком-нибудь генерале.

Таким образом учится мальчик китайскому языку и, через несколько лет, оканчивает курс, проэкзаменованный тем же ветхим старцем. После экзамена поступает мальчик на службу к купцу в Торговой Слободе и три года тянет лямку, переходя поочередно все ступени служебных обязанностей, начиная от чистки сапог для приказчиков, до чистки игорных столов в хозяйских апартаментах. Когда он вырастет и сделается *парнем*, его посылают в Маймайтчин с приказчиками, принимать чай. Пройдут, наконец, еще три года, роковые три года, необходимые для того, чтобы получить почетное гражданство...

— Что-что? — спросит, пожалуй, удивленный читатель. — Почетное гражданство! За что? Как?

— За то, что мальчик учился сначала в китайском училище, за то, что три года был в услужении у купца, а в конце концов, за *знание китайского языка и за пользу, принесенную этим знанием торгующему на Кяхте купечеству, в торговых его сношениях с китайцами*. Вот за что, читатель! А вы думаете, это

легко? Не говоря уже про трехлетнюю службу, что стоит ему, бедному, ходить по домам купцов и вымаливать, как милости, подписи на аттестате, что *был полезен, для торговли, знанием языка.*

— А черт те дери, — думает купец, у которого парень выпрашивает подпись, — что я изверг что ли какой, счастье у человека буду отнимать, — ведь у меня рука не отвалится, если я подмахну у него на бумаге! На, брат, держи, не жалуйся на меня Богу.

В восхищении бежит парень с аттестатом в контору старшин, и пошел аттестат, куда надлежит, с всеподданнейшим прошением: освободить, по силе закона, такого-то от всяких повинностей и податей за пользу, принесенную им русской торговле с Китаем.

Много таких освобожденных, *по силе закона*, почетных граждан вышло на божий свет из китайского училища, и по всей вероятности, теперь бы эти выходы продолжались, если бы почтенный педагог не отправился к предкам. А по смерти его не нашлось другого знатока китайского языка, так что училище упразднилось. К лучшему это или к худшему?

му — судите сами.

IX

— **А** что, ты читал повестку от старшин? — спросил меня однажды мой знакомый, сидя по обыкновению на столе и постукивая ногой об ногу.

— Нет, не читал, а что такое?

— А то, что нас хотят просвещать, советуют иркутскую библиотеку купить, говорят, что дешево больно продается; а поэтому градоначальник и предлагает нашему купечеству купить.

— Ну так что же?

— А то, что завтра все гурьбой едут к его пре-ству изъявить ему полную и всегдашнюю готовность жертвовать всем для блага общего... Ты едешь?

— Отчего не ехать — подписку принесут, так конечно поеду.

— Ну, значит, вместе катим — на одной скотине.

Утром в десять часов все общество, известное под названием «Торгующего на Кяхте купечества», собралось в доме старшин и, заку-

сив вплотную, двинулось гурьбой в г. Троицкосавск.

Приехали. Все столпились на крыльце, пообчистили платье, сапоги и, перешептываясь, стали подниматься по лестнице дома, занимаемого градоначальником.

Побаивалось купечество его превосходительства порядком, и пушил же он их порой так, что Боже упаси... Чего-чего бывало не наговорит он им! С час бывало продолжается распеканция за какую-нибудь медленность по исполнению его распоряжения, касающегося торговой слободы. Горячо, бывало, говорит его пре-ство, а общество жметя и теснитя у дверей, не смея произнести ни одного слова. Да правду сказать, общество стоило того, чтобы его распекать...

Вот почему так и перешептывалось общество на этот раз у дверей, условливаясь не перечить его превосходительству, а значит, сейчас же с готовностью изъявить согласие, потому-де что дело идет о просвещении.

Вошли тихонько, на цыпочках, в прихожую, шубы сложили все на крыльце, чтобы в комнате лишнего шуму не делать.

Доложили его превосходительству, он вышел, приглашая всех садиться.

Купечество, которое побогаче, стало подвигаться к стульям, остальные робко переминались с ноги на ногу.

— Садитесь, господа! Садитесь! Я вас прошу — садитесь!.. Вы понимаете, я терпеть не могу подчиненности: все мы люди и следовательно — все мы равны. Садитесь, господа!

Все тихо разместились по стульям, около стен обширной залы.

Его превосходительство, сидя около столিকা и улыбаясь, смотрел, как усаживались купцы на стулья. Белобрысый купчик даже перекрестился, прошептал: «Господи благослови» — и осторожно опустил на кончик стула.

— Господа! — начал громко и отчетливо его превосходительство, — вам, конечно, нечего объяснять, что значит образование, какое важное значение имеют в этом случае библиотеки. Я вполне уверен, что то самое общество, которое так хорошо умело поставить себя, то общество, которое пользуется таким почетом, никогда не откажется от моего пред-

ложения, которое я сделал через господ старшин.

— Точно так, ваше превосходительство! — отвечали некоторые, вставая на ноги.

— Мы, как вам известно, никогда не отказывались...

— Благодарю, господа! Благодарю! Я всегда был уверен, что то общество, которое помогло мне осуществить идею женского училища в Троицкосавске, и которое способствовало восстановлению приюта, — всегда было и будет передовым и современным... Благодарю, господа, еще раз, — сказал градоначальник и милостиво пожал некоторым руки.

Общество молча кланялось и уверяло, что оно готово на всякие жертвы, и т. д.

И вот купцы купили в Иркутске у Шестунова библиотеку, закрытую по какому-то особенному случаю и перевезли ее в г. Троицкосавск. Мигом была приготовлена квартира, поставлены шкафы, повешены лампы, нанят библиотекарь и открыта читальная комната. Прошло с полгода, оказалось, что на одну подписную сумму, получаемую от читальной, библиотека держаться не может, — ну опять

аксиденцию потребовали. Еще прошло несколько лет: подписчики в библиотеке не прибывают, да и книг что-то мало берут, а разве кто «Трех мушкетеров» побаловаться спросит, или про «Двух Диан» полюбопытствует прочесть. Думали, думали купцы, да и решили перевести библиотеку в торговую слободу: на наши деньги заведена — значит наша собственность, так пусть же хоть у нас в слободе будет.

Прошло несколько времени еще. Деятельный градоначальник поправил в городе тротуары, песчаные площади засыпал навозом и утрамбовал щебнем, поставил по улицам фонари и привел г. Троицкосавск в более приличный вид. Проедет он бывало на вороном рысаке по главной улице, да и сам залюбуется: на всех присутственных местах вывески, на квартире врача — тоже, у акушерки — тоже...

Из желания способствовать умственному развитию общества градоначальник предложил издавать в Кяхте газету.

Оповестили опять через старшин все торгующее на Кяхте купечество и все поехали

опять в дом градоначальника. Его превосходительство радушно всех усадил, обласкал, повел речь о заслугах купечества, о его значении как лучшего и передового общества во всей Восточной Сибири и договорился наконец до издания в Кяхте газеты. Купцы начали было немного, туда-сюда, отвертываться: как же мол это, ваше превосходительство? Что же это такое? Зачем нам в Кяхте газета?

— А вы сами увидите, что это дело хорошее, — убеждал градоначальник: — я от вас ничего не прошу, кроме материальной поддержки.

— Мы, конечно, ваше превосходительство, всегда готовы к услугам, только знаете... оно как-то для нас неподходяще, потому мы люди торговые...

— Да поймите же вы, что мне от вас решительно ничего не нужно, кроме материальной поддержки.

— А сколько, примерно, ваше превосходительство, эта самая газета будет стоить?

— Самое пустое, — каких-нибудь тысячи три...

— Ну ладно, куда ни шло, ваше превосходительство...

дительство, мы с великим нашим уважением...

— Благодарю вас, господа! Это будет громаднейший шаг в интеллектуальном развитии кяхтинского общества... Это будет служить доказательством вашего высокого, передового положения, вы первые дадите инициативу журналистике в Забайкальской области, — говорил в утешение купцам его престо.

Поехали купцы от градоначальника, дали слово издавать в Кяхте газету. Через полгода явилась типография, наборщики, и самая газета, под заглавием «Кяхтинский Листок», вышла в свет. Всю работу приняли на себя несколько чиновников, составлявших штат градоначальника. В первых же номерах успели кое-кого продернуть, между прочим попался купец Забуддыгин. Прочитал он *эту самую газету* и с горя запил.

— Да я его расшибу! Только бы он ко мне свой нос показал... У! На месте задущу!.. — бушевал он на весь дом, изрекая проклятия редактору.

— Эй, парень! Музыкантов!

Полночь была на дворе. Поскакал парень сломя голову за музыкантами, кое-как собрал человек пяток.

— Играй, — заревел Забулдыгин входящим музыкантам и склонил на стол голову.

Музыканты заиграли камаринскую.

— У! Рразбойник! — кричал он, вскакивая со стула и торопливо выпивая рюмку за рюмкой.

— Играй! Черт вас задави! — бормотал он, едва шевеля языком.

Начинало уже светать, когда Забулдыгин заснул под чиликанье едва игравших от усталости музыкантов.

Редактор газеты никогда, конечно, более не заходил в дом Забулдыгина.

— Вот, господа, завели мы на свою голову этот Кяхтинский Листок; за наши же деньги нас же в нем и пробирают... да недолго им потешаться-то: только бы градоначальник уехал отсюда, мы тогда по-свойски это дело обделаем... — толковали купцы.

— За грехи видно нас Господь... — вздыхая, говорил белобрысый купчик.

— Вот мы их всех проберем, — говорил ре-

дактор.

Но на счастье купцов этого не случилось, ибо в один прекрасный день редактор Кяхтинского Листка волей Божиею помре, и газета покончила свое существование.

— Ну, слава тебе Христу Богу! — с радостью говорили некоторые купцы: — теперь, господа, чтоб типография даром не стояла, мы будем печатать ведомости о количестве ввоза и вывоза товаров.

— Оно и приличнее, потому наше дело коммерческое, а эта газета для нас, прости Господи, только один грех.

— А библиотека что? — спросит читатель.

Библиотеку тоже, как вещь при торговле совершенно лишнюю, распорядились купцы свалить в пакгауз и привесили на дверях ее тяжелые замки.

Нужно сказать, что такая печальная участь постигла библиотеку и газету в то время, когда градоначальник был переведен в другой город. Во всяком случае он не допустил бы этого, потому что слишком велико было его нравственное влияние на кяхтинское общество.

Х

Приехал жить в Кяхту из Тары один молодой купчик. Познакомился он со мной и с моим приятелем. Приятель мой живо сошелся с ним запанибрата и начал величать его Куликом Иванычем. Купил этот Кулик Иваныч себе лошадь и однажды вечером приходит рассказывать о ней.

— Вот, брат, у меня лошадь странная какая, — говорил он с удивлением: — черт ее знает, что с ней, только как слышит, что кто-нибудь сзади едет — бросится как бешеная, удержать не могу!

— В хороших, значит, руках была, — подмигивая, объяснял ему мой приятель.

— В каких же это хороших руках?

— Понятно: у контрабандистов была, да вероятно чем-нибудь проштрафилась; упала, может быть, в ров, перескакивая с двумя ящиками чаю через двухсаженную ширину — вот и повели ее на базар — благо, ребра себе не переломала... Да ты, Кулик Иваныч, щупал ли у нее ребра-то? Бывает, друг любезный, и так, что она бедняга, как ухнет со всего маху на

бок в овраг, так ей чайным-то ящиком пять-шесть ребер и переломит!.. Ты посмотри у своей-то лошади.

— Ребра-то у ней целы, да страшно, черт ее возьми, ездить, как бешеная бросается в сторону: намедни Собачкин сзади нагонять стал — я едва усидел в экипаже.

— А ты верхом привыкай. Может быть, после сам будешь контрабанду возить, так пригодится...

— Скажи, — спрашивал Кулик Иваныч, — ты ведь знаешь все сокровенное, — скажи, много купцов здесь контрабанду провозят?

— Как вам, ребята, сказать? Парни вы, кажись, добрые, — говорил мой приятель, в раздумье почесывая затылок, — а черт ведь к вам в души-то ваши влезет!.. Ну да уж слушайте что ли: занимаются контрабандой не наши кяхтинцы, это было бы очень для них низко, черная, значит, работа, — для этой работы в гор. Троицкосавске много всякого народу есть...

— Да ведь очень хитро, выходит, надо провозить контрабанду. У вас тут кругом всей торговой слободы идет высокий двухсажен-

ный заплот, везде стоит стража и по всей границе тоже стража, охраняющая от ввоза контрабанды.

— Ты, мой милейший Куличек, немного ошибся и неверно выразился; вернее будет, если ты скажешь: *стража, охраняющая контрабанду*, — объяснил ему мой приятель.

— Как же это так?

— Да что таиться? Был со мной случай: как-то раз, в моем собственном дворе, поймали было меня, — хотел, грешным делом, через заплот переправить пудишков тридцать чаишку, тут эти Пилатовы воины — трах! Отняли они мое наживное добро, — еле увернулся. Дурь на себя накинул я, объявление в полицию подал, что вот сего числа, ночью, напали на мой дом воры-разбойники. Ну и ничего, сошло с рук.

— Так это же не доказывает, что стража охраняет контрабанду, — заметил Кулик Иванович.

— Конечно не доказывает, — с усмешкой произнес мой приятель: — а ты не будь дурак, заранее с ними повидайся, почтение свое засвидетельствуй и условие заключи, конечно

на словах, а не на бумаге, что такую-то пошлину им предоставишь... Ты думаешь, что один все дело и обделаешь? Нет, батюшка Кулик Иваныч, тут при сделке-то многих подмазать надо, а то бывают грехи немалые. Купит, например, кто-нибудь из мелкотравчатых у пограничных казаков чай, заплатит им вперед деньги и за чай, и за доставку, да еще и сам при чае пробирается, вместе с казаками, темной ночью, около заплота; а казаки еще с вечера отцу-командиру своему на ушко шепнули: ваше благ-ие, мол, неудобно ли вам в 12 часу ночи на такое-то место прибыть, с шестью казаками. Его благородие, как раз в полночь, и летит им навстречу: крик, шум, выстрелы холостыми зарядами... Казаки как будто струсят и побегут, купивший чай, конечно, вслед за ними, не под суд же ему идти, а его благородие везет чай с триумфом в таможню. По дороге он к себе на квартиру завезет $\frac{7}{8}$, а остальную $\frac{1}{8}$ часть предъявит торжественно директору и членам, с докладом, что вот, дескать, поймали контрабанду, отбили ее после ожесточенной схватки, но контрабандисты, пользуясь темной ночью и имея быст-

роногих коней, скрылись. Его благородие разделит с казаками добычу и — слава Богу.

— Вот как! Тут, значит, казачьим офицерам вольготно? — спрашивал Кулик.

— А ты думаешь, так и есть, все по чести да по совести, эх ты! Откуда же у барона явилась пара серых с ухорским кучером, а? Разве, получая в год 300 р., можно такое блаженство себе предоставить? А К-ский? Да он отсюда увез столько денег, сколько у нас с тобой и у наших детей не будет, несмотря на то, что К-ский в карты проигрывал по тысячам... Но все это еще не высший слой контрабандистов. В высшем слое контрабандного искусства так рисковать не будут — там совсем иная механика. Для этого дела есть у них такие тихие места, *затончики* по-нашему. Есть они и в Маймайтчине, есть и в «Воровской Пади», и в этих-то затончиках и обделывается все сложное дело, там и чай в кожу зашьют, и пломбы собственного приготовления повесят на каждый ящик, и двинут партию, как следует, приличную — ящиков в 200 или 300.

— А попадутся?

— Попадаться не нужно, для этого держи

уху востро... Только бы с версту от Кяхты отойти транспорту; а уж там если и таможня нагрянет со всеми своими членами, то ничего ровно не поделает, потому что все в порядке.

— А если по таможенным книгам откроют, что такой партии и такой фамилии через таможню не проходило и пошлина не оплачена, — что тогда? — спросил удивленный Кулик Иванович.

— Дудки! милый человек, дудки! Заруби ты себе на носу, что накануне выхода контрабандной партии вывозится через таможню, той же фамилии и в том же количестве ящиков, партия чаю и очищается эта партия пошлиной. Если начальство поймает за городом контрабанду, то сейчас и ответ готов: вот, мол, мать-таможня, это он-то самый и есть, а долго мы стоим тут потому, что телеги у нас поломались. Первая же партия, с чаем, очищенным пошлиною, спешит соединиться с другими партиями и тогда никакая проверка невозможна; не задержать же для этого на дороге тысячи три ящиков чаю: купцы убыток понесут от промедления и, пожалуй, за такое усердие, иной чиновник и в Сибирь может

спутешествовать...

— Да мы и то в Сибири...

— Ну, назад в Россию пешком. Сила, братцы, солому ломит, как бы она ни топырилась. Иной начальник потрусливее, хотя знает, что контрабанда идет, да боится ее тронуть: Бог, дескать, с ней, пока мои бока еще целы! Стреляют же контрабандисты очень ловко. Однажды мне один из них рассказывал: гнались, говорит, за нами человек шесть верховых; ну, конечно, где им догнать нас — мы за лошадей по три да по четыре сотни платим... Гнались за нами они и отстали далеко, только собака одна не отстает — гонится и лает; как, говорит, Пятериков обернулся да выстрелил, так ее на месте и положил — не взвизгнула! Мы, говорит, приехали с чаем куда следовало, и Пятериков стал спорить, что пуля его в самый лоб собаке попала, — на сто рублей поспорили они и поехали утром смотреть, — действительно, так между глаз и всадил!

Я уже был отчасти знаком с подобного рода историями и спокойно слушал повествование; а Кулик Иванович даже язык высунул и глаза вытаращил — диву дивовался!

— Расскажи еще что-нибудь о контрабанде, — приставал он.

— Что, занятно видно?

— Ну расскажи, — приставал опять Кулик.

И начинал мой знакомый рассказывать, как контрабандой провозится в Кяхту с приисков золото, *песочек*, по местному выражению; как некоторые из больших тузов наживают себе этим капиталы и жертвуют от своей благостыни некоторые крохи на церковные ограды, на колокольные часы, и проч. и проч.

И действительно, все это выходило очень занятно.

Только нужно сказать, что все это было давным-давно, теперь и тени этого быть не может. Времена переменчивы! Эта последняя фраза дает нам право утешиться, поверить в возможность прогресса, в возможность совершенствования человечества. Мало ли чего не бывало! Мы не обличение пишем, а рассказываем прошлые факты, которые интересны как материал для истории цивилизации нашего русского общества.

Неприятно подействовали на все кяхтинское общество слухи о переменах, угрожавших кяхтинской торговле. Московские купцы писали в Кяхту, что поголовно подают Государю прошение и заключают его словами: «Спаси, погибаем». Кяхтинское купечество призадумалось и тоже порешило послать прошение. Старшины назначили для этого чрезвычайное собрание, в котором долго трактовали о том, как писать прошение Государю. Вспотели бедные купцы, но придумать ничего не могли. Послали за управляющим общественной конторой.

— Аким Акимыч! Как бы эту бумагу перебелишь, да там, значит, насчет этой самой грамматики. Вот, видите ли, какое время пришло; ведь на Высочайшее имя надо...

— Слушаю-с, надо будет Егорова-с. Он мастер на эти дела, хорошо пишет, можно-с, — почтительно докладывал управляющий.

— Что же, господа, надо полагать, с эстафетой просьбу-то?

— Конечно, дело спешное, оборони Бог, не

опоздать бы, значит... — говорил Петр Федорович, торопливо набивая нос табаком.

— А по пути однако надо-с и генерал-губернатору дать знать, так и так, мол...

— Да видно и тово... надо будет... Так и так, дескать, посылаем вот...

— Погодите, господа, пусть прочитают нам вслух — каково оно написано.

— Аким Акимыч, дай-кося сюда бумагу-то... Андрей Иваныч, уж потрудитесь, как там обчество, значит, порешило.

Андрей Иванович начал: «Ваше Императорское Величество! Вопрос о кяхтинской торговле...».

— Пойдите, пойдите, — закричал Андрей Яковлевич, искоса поглядывая на собравшихся, — это не тово... неловко, даже неприлично: как же можно, — сейчас «Ваше Величество» и сейчас: вопрос! Нет, нет, это, воля ваша, неприлично!..

— Да, оно точно как будто неловко чего-то, — поддерживает другой.

— Господи помилуй! — вздыхая, шепчет белобрысый купчик.

— Да ведь это все равно, что «честь имею»

или: «имею честь», — слышится из угла голос купца Лукошкина.

— Нет уж, Алексей Михайлыч, вы всегда либеральничаете; вы уж пожалуйста молчите... Тут, видите, какое важное дело.

— Позвольте, Андрей Иваныч, я полагаю лучше написать: «О кяхтинской торговле во-прос рассматриваемый»... Как, господа, вы находите? — говорил, косясь на всех, Андрей Яковлевич.

— Ну-кося, Андрей Иваныч, дальше-то как? Андрей Иванович продолжал.

— Вот это ловко! Это, значит, в порядке, за это спасибо, — говорили купцы.

— Аким Акимыч, вели-ко, брат, переписывать, думать тут больше нечего, сегодня в ночь и дернем эстафету.

— А об чем генерал-губернатору-то писать?

Один дает такую мысль: нужно написать, что торгующее на Кяхте купечество, в память покорения Амурского края и посещения Кяхты его высокопревосходительством, в общем своем собрании положило: соорудить по дороге на Усть-Керан памятник, который увековечит славу его высокопревосходительства —

ну а потом, значит, вот, мол, так и так: слухи, мол, ходят нехорошие; примите участие и т. д. В этом роде и составить. Я сейчас набросаю.

— Уж пожалуйста, — просят купцы товарища.

— Аким Акимыч! Скоро ли там у вас!

— Сейчас, сейчас, — откликается Аким Акимович из другой комнаты, где он зорко следил за перепиской Егорова, который, скрючившись в три погибели, старательно выводил разные узорчатые буквы.

— Теперь, на какую же сумму памятник соорудить? Да и зачем этот памятник? — слышался голос Макарьева: — ведь это, значит, ребята, даром деньги бросать; кабы в городе, ну оно ничего, как будто для красоты примерно, а то дело-то выходит не совсем чисто.

— Ах, Степан Михайлыч, вы точно Лукошкин восстаете против общества, стыдно. Ведь вы не мальчик; вам поди скоро 60 лет стукнет, — уговаривают Макарьева.

— Да вы чево, ребята, я не против общества, — отвечает сконфуженный Макарьев, — я только спросил, зачем за городом на дороге

памятник строить?

— Нельзя, политика того требует: там мы провожали генерал-губернатора на Амур, шампанское пили, в память, значит, события.

— Ну, как знаете, ребята, — говорит Макарьев, отчаянно махая рукой.

— Боже, милостив буди мне грешному, — слышится вздох белобрысого купчика.

— Эй, Аким Акимыч, что же это как у вас там копаются; готово ли?

— Сейчас, сейчас! Всего пять строк осталось... Егоров, не торопись, не испакости бумаги, — наставительно говорил Аким Акимыч Егорову, усердно выводящему красивые буквы.

— Ну-тко прочитайте-ко еще раз, посмекаем еще маленько, — заговорили купцы, когда Аким Акимыч принес переписанную бумагу.

Аким Акимыч прочитал.

— Теперича важно! Подписывайте-ко, Андрей Яковлевич, сначала вы...

— Нет, господа, Настоятелева сначала надо бы...

— Место ему оставьте... Он не откажется, потому бумага нужная, важная.

Начались подписи. Пришел черед белобрысому купчику.

— Послушайте, — говорят ему, — вы всегда пишете «второй купец», а гильдию пропускаете; пишете — второй гильдии, потому бумага важная.

Белобрысый купчик перекрестился и начал водить пером по бумаге; несколько голов внимательно следило за ним.

— Теперь «гильдии», пишете: глаголь, иже... ну, ну, ладно.

Белобрысый купчик тяжело вздохнул и отер пот.

— Макарьев! Вы тоже всегда пишете Бог знает как, пожалуйста, уж постарайтесь.

— А я вот, ребята, смекаю все, зачем это по эстафете-то гнать эту бумагу? — заговорил Макарьев. — Еще может статья сорока на хвосте принесла новость-то, а вы уж и испужались... Сколько годов жили мирно и ничего не было; зачем же теперь-то станут переменять? Хорошо ведь и по-старому...

— Ах, Степан Михайлыч, толкуйте тут еще, только сердите. Кто говорит, что по-старому худо? В том-то и штука, что про нас говорят, а

не мы ее выдумали, — перемену-то.

— А вы не всякого слушайте, мало ли чего говорят, — долбил себе Макарьев.

— Толкуй тут с вами! Поймите, — торговле угрожает опасность, — объясняли ему купцы.

— А все же, значит, с почтой выгоднее, чем с эстафетой, потому сотен пяток сэкономит, — толковал Макарьев, преданный экономическим расчетам.

Никто не отвечал на экономический вывод Макарьева, и окончив подписи, купцы молча разошлись, на этот раз даже без всякого утешения. Понурили они свои головы, и в первый раз запала в них мысль о будущности хорошего кяхтинского дела.

— Век жить — не поле перейти, — сказал один из купцов, надевая шубу.

— Это точно, — поддержал другой, спускаясь с лестницы.

— А все же бы, по-моему, с почтой выгоднее, — бормотал Макарьев, усаживаясь в экипаж.

XII

— Что ваши дела? — спрашивали на другой день китайцы: — что время худо что ли?

— Очень худое время, — говорил купец; — англичане хотят помешать нашей торговле, да и помешают, пожалуй.

— Черта, дела поговори! Чево напрасны. За намо сила побольшан. Сандаза (войско) пушка попали одина раза, сапчи кругло буду (из пушки как выпалят, всех сразу убьют), — хвалялся китаец.

— Тут, брат, темное дело, неизвестно, кто кого перехитрит, — говорил русский.

— Наша сила жестоки! — горячился китаец и показывал большой палец правой руки в доказательство своего превосходства над англичанами: — не погневайся; нама сама жестоки еси...

— Да ты чево кричишь-то понапрасну! — уговаривал русский.

— Я совсема кричи нехычи, я только така покажи, кавой-ва нама манер еси, — говорит, успокаиваясь, китаец.

Эстафета ускакала в Питер. О чем же писали и чего просили купцы, — спросит читатель. — Просили поддержать торговлю, очень полезную для всего края, просили разрешить ввоз серебра в Китай неограниченно и не допускать ввоза чаю через Европу; но если уж такой милости не будет, то просили сбавить пошлину и таможенную перевести из Кяхты в Иркутск, освободив Забайкалье от пошлины, или даже совсем уничтожить ее. «Так как дальность расстояний и дороговизна провозной платы, — писалось в прошении, — слишком тяжело отзывается на торговле».

— А что, ведь нам, надо полагать, пошлину уничтожат, потому мы целый Сибирский край кормим, — спрашивали купцы друг друга.

— Надо бы полагать, потому все меры приняты. Если уж не уничтожат, то все же сбавят, принимая во внимание дальность расстояний и многие другие причины.

Сделали, значит, свое дело. Написали прошение на Высочайшее имя, послали просительные письма к властям предержащим. На том все и замолкло до поры до времени. Кру-

гобайкальскую дорогу нашло нужным исправлять правительство (она, между прочим сказать, до сих пор еще не исправлена). Путь из Иркутска до Томска остался тот же, и о пути по рекам Ангаре и Енисею перестали даже и думать.

Дело пошло своим старым порядком. Прошло лето, осень и зима. Все ждали, что-то будет...

Прошло еще года два. Старшины по-старому отслуживали свою годовую службу и сменялись новыми. Таможня каждый год в декабре проверяла дела купцов и все оказывалось верно. Выбирались опять старшины; принимали присягу на верность и честность службы, задавались по этому случаю обеды, и дело шло себе так же спокойно и привольно, как и прежде.

В феврале 1862 г. из Китая возвратился уполномоченный от русского правительства. Купцы слышали о дозволении свободной торговли внутри Китая, но не знали, что делать с этим дозволением и как понимать его. Градоначальник целые дни ездил по домам купцов, упрашивал их делать общественные

собрания, являлся на них сам и уговаривал купцов открыть дело внутри Китая.

В этом случае его заслуги русской торговле незабвенны!

— Что же мы, значит, там будем делать? Здесь по крайности место у нас обсиженное и теплое, — отвечали купцы, задумываясь и почесывая затылки.

Градоначальник горячо принимался доказывать им необходимость воспользоваться правом свободной торговли внутри Китая и, после долгих трудов, уломал нескольких купцов отправить туда караван. Заключили купцы с монголами условие, снарядили караван, и 16 марта 1862 года, после молебствия, окропленный святою водою, он двинулся с русскими товарами и серебром внутрь Китая, под предводительством нескольких молодых купцов.

Один из властей, заметив, что местный градоначальник имел большое влияние на купцов, остался этим очень недоволен и много повредил самой торговле. Уж чем она была пред ним виновата — Господь знает! — Он послал в Петербург донесение, что купцы отпра-

вили в Китай гнилые товары. Слышно было, что из Петербурга послано было повеление министру-резиденту в Пекин, — освидетельствовать русские товары — на том основании, что китайцы глупы, чего доброго, пожалуй, гнилое возьмут; но что из этого вышло — неизвестно.

Через несколько дней после отправки каравана в Китай у кяхтинских купцов случился неслыханный казус. В гостином дворе из пакгауза, в котором хранилось, в обеспечение пошлины, золото и серебро, похищено того и другого на 28 000 р. Часовые не видали похитителей, замки на дверях пакгауза были целы и печати на сундуках тоже. Дело это было, кажется, очень темное, потому что само общество всеми средствами старалось замять и потушить его...

Один из молодых купцов подал было объявление таможене, требуя расследования дела, но купцы так на него взъелись, что бедный не знал, куда и деваться. Даже сам энергичский градоначальник, и тот написал к купцам официальную бумагу, в которой, высказывая сожаление о постигшем их несча-

стии, — называл молодого купца *образцом нравственной несостоятельности!* Все это дело было замято и кончилось, так сказать, семейным образом. Из акциденции, помнится, одолжили некую сумму, да один из старшин, по доброте, вероятно, заплатил остальные деньги из своего кошелька.

Хотя в отзыве о нравственной несостоятельности градоначальник высказался в ущерб самому себе, но тем не менее, благодаря исключительно его энергии, с 1862 года русские водворились внутри Китая, хотя и в незначительной степени. Из прошедших трех лет свободной торговли в Китае еще пока не видно никаких осязательных результатов. Гг. Иванов, Окулов и Токмаков открыли торговый дом внутри Китая. На последней московской выставке были у г. Иванова чай, будто бы со своих арендуемых плантаций. Все это выходит очень красиво и заманчиво, но, зная хорошо средства их торгового дома, — грешный человек, — смею усомниться в некоторых известиях. Достоверно знаю только то, что преобладающее влияние внутри Китая находится в руках англичан, которые уже

успели в Ханькоу открыть до шестидесяти торговых домов.

Что же случилось с кяхтинской торговлей после разрешения свободной торговли, сбавки пошлины, перевода таможи в Иркутск и ввоза чаю через Европу?

Купцы на первый год потерпели на нижегородской ярмарке большие убытки, на второй год, вследствие дурного выбора чаев, привезенных кругом света, кяхтинские чаи имели большое преимущество перед привезенными морским путем (именно только поэтому, а не по причине будто бы порчи чая от перевозки морем), торговля опять ожила до нижегородской ярмарки 1863 года.

На устройство пути внутри Китая и для развития там торговли назначен особый сбор с каждого ввозимого из Китая ящика чая.

Как распоряжаются теперь этой суммой, достигает ли она своего прямого, должного назначения, или так же, как пресловутая «добровольная складка», бесследно и бесконтрольно исчезает из общественной кассы, доставляя купцам только одно название радушных и хлебосольных? Да и собирается ли те-

перь эта «добровольная»? Не опомнились ли господа доверители и стали требовать публикации отчетов? На эти вопросы читатель найдет ответ в статье о Маймайтчине, в окончании которой, а именно, в последней главе, он узнает о том состоянии, в каком находится теперь кяхтинская торговая слобода и что ожидает ее впоследствии.

Грустно, что эта вековая торговля, так сказать, ускользнула из наших рук; но нужно примириться с тем, что совершилось, потому что всему есть свои законные причины, начало которых нужно искать в нашем прошлом; а разбирая прошлое, опять необходимо будет еще отклониться назад, — и увидим, что между событиями существует самая тесная и непрерывающаяся связь...

Очерки бурятской жизни

I

Наступало лето. Китайцы в белых халатах — точно тени умерших, лениво двигались по Кяхте, переходя из дому в дом и ругая русских, разъехавшихся по дачам. — Точно лошади или быки убежали русские купцы на зеленую траву, — ворчали они между собой.

— Ты куда, черта? — сердито спрашивал меня китаец, замечая сборы в дорогу.

— На дачу еду. Жарко здесь и скучно стало — все знакомые мои разъехали, — отвечал я.

Китаец с досады плюнул и ушел, сердито хлопнув дверью. Заглянул ко мне другой китаец, тоже любопытствовал узнать, куда я еду, и, получив тот же ответ, сказал мне дурака.

Я поехал на дачу. Действительно было жарко. Кони тяжело дышали и с них капал пот на сухую песчаную землю. Кое-как поднявшись на высокий Бургутуйский хребет, я

оглянулся кругом: позади внизу виднелись верхушки остроконечных сопок, впереди открывалась необъятная степь. Долго мы спустились с вершины хребта и наконец выехали на ровную, открытую местность[10]. С обеих сторон, вдали от дороги, паслись стада крупного и мелкого рогатого скота; еще далее виднелись табуны лошадей. Изредка начали попадаться бурятские юрты. Старик бурят, верхом на быке, запряженном в двухколесную скрипящую таратайку, тихо тащился по степи. Маленькая медная трубка торчала у него в зубах. Он задумчиво посматривал в разные стороны, монотонно мурлыча свою грустную степную песню. Жарко.

Бурят снял свою остроконечную шапку и почесал бритую голову, на затылке которой торчала косичка, похожая на мышиный хвостик. Он ехал по направлению к юрте, около которой бегали нагие ребятишки с загорелым медно-красным цветом кожи. Черные косматые собаки лежали под тенью, высунув языки, и тяжело дышали. Невдалеке от юрты молодой бурят, с арканом в руке, скакал верхом по степи, стараясь поймать коня. Полы его си-

него кафтана развевались по воздуху, шапка давно свалилась на землю, но конь не поддавался на аркан и увлекал бурята далее и далее в степь.

Мы переезжали уже речку Сужи, но я все еще смотрел назад, на остающиеся позади юрты. Меня занимала эта новая, невиданная еще мною картина.

— А что, ямщик, по Чикою и Керану много живет бурят? — спрашивал я.

— Да где же им и быть больше, как не здесь. Забайкалье — их сторона. Тут, почитай, сплошь живут бурята, до самого города Нерчинскова, — отозвался ямщик, не поворачивая головы.

Приехали к Керану.

Нанял я себе маленький домик в казачьей станице и сейчас же отправился к юрте бурят, стоявшей невдалеке от станицы. Наступали сумерки. Около юрты маленькие дети с матерями загоняли коров в изгородь, сделанную тут же у юрты. Женщина, сидя на деревянном чурбане, доила корову; вблизи от нее другая, в устроенной из бревен мялке, мяла кожу. В юрте горел большой огонь, войлочная дверь

была закинута кверху, и видно было, что по середине юрты, на огне, поставлена чугунная чаша, в которой варился кирпичный чай. На северной стороне, считаемой почетной, стоял красненький шкафик, с тремя уступами в виде лестницы; свет от огня падал на расставленные по этим уступам маленькие медные бурханы (идолы), перед которыми были поставлены жертвы, пшено и масло, в маленьких металлических чашечках. Направо стояла низенькая кровать, покрытая кошмой (войлоком), налево была раскинута на земле кошма, а на ней лежала старая бурятка. Мужчины сидели около огня и ждали чаю.

— Здравствуй, товарищ! — сказал я, входя в юрту.

— Здравствуй! — протяжно раздалось в ответ.

— Вот я приехал к вам в гости, посмотреть хочу ваше житье-бытье.

— Мы рады, только уж плоха наша юрта — небогата; скота тоже мало, — говорил один из сидевших, почесывая себе лоб.

Я сел на низенькую кровать. Старуха уставила на меня своя мутные, плохо видевшие

глаза и закашлялась. Через несколько времени прибежали два мальчугана и вслед за ними женщины вошли в юрту, принесли в кадшке молоко и вылили его в варившийся чай. Молодая смуглая бурятка вгоняла в юрту маленького теленка и укладывала его около стенки.

— Зачем же вы теленка-то сюда вогнали? — спросил я.

— Погода по ночам холодная стоит, нельзя — спортятся телята, — отвечал бурят, помещивая палочкой в котле.

Ребятишки сели тоже около котла и маленьким прутиком принялись мешать золу. Пожилой бурят выдернул у них прут и, бросив его в огонь, прикрикнул на детей. Женщины сидели в стороне и молчали.

— Ну, гость, чай-то наш пьете ли, а? Кирпичной чай не любит богатый русский мужик, а? — спрашивал бурят.

— Нет, спасибо, — кирпичный чай не пью. Прощайте, добрые люди, — отвечал я, вставая.

— Ну прощайте... а завтра на праздник пойдете ли, нет ли? — спросил бурят.

— А какой завтра у вас праздник?

— Праздник большой, — на гору пойдем, в кумирню, богу молиться. Лама придет и по книгам читать будет.

— Что же он читать будет?

— Книги читать будет, хорошие ламские книги...

— Да какой же это праздник? По какому случаю?

— Так праздник уж, большой праздник. Кони будут бегать и лама хорошие книги читать будет.

— Что же в этих книгах написано?

— Всякое святое слово написано, — хорошие ламские книги...

— Только в этом и будет весь праздник?

— Да праздник уж будет.

— Какой же праздник-то?

— Праздник уж... хороший праздник!..

Так я и не добился, что у них за праздник такой и по какому случаю.

Утром следующего дня я рано соскочил с постели и отправился посмотреть бурятский праздник. День был солнечный и жаркий. Буряты тянулись длинной вереницей, кто вер-

хом, кто пешком, по тропинке на самую вершину горы, где кое-как прилепилась маленькая часовенка. Измученный и усталый, я не успел еще добраться наверх, как уже молебствие кончилось. Оно и заключалось только, как я узнал впоследствии, в чтении нескольких молитв на тибетском языке, которого сам читавший не понимал. Все двинулись назад под гору, и я отправился вслед за толпой. Спустились с горы, и, выйдя на ровную местность, ламы (духовные лица) стали усаживаться в ряды по чинам. Кругом их садились буряты; некоторые хлопотали в стороне, разрезая на мелкие куски вареную баранину и раскладывая их на дощечки; некоторые варили чай в котлах и разносили его ламам и гостям в небольших деревянных чашечках; другие таскали дощечки с мясом и ставили перед сидящими ламами. Кони, назначенные для бега, уже отправились к тому месту, откуда должен был начаться бег.

Чинно и важно сидели ламы в своих желтых и красных кафтанах, с книжками за пазухой. Вновь приходящие буряты, вероятно запоздавшие по какому-нибудь случаю на мо-

лебствие, подходили к старшему ламе, наклоняли голову, и лама, в виде благословения, прикладывал ко лбу подходящего книжку. Получивший такое благословение смиренно отходил в сторону. В дальних рядах начинали покуривать трубочки, слышался в воздухе запах араки и через несколько времени чинное молчание стало нарушаться, сначала отрывистыми речами, а потом эти отрывистые речи перешли в общий говор. Внимание всех обращено было в ту сторону, откуда должен был начаться бег. Нетерпеливые поднимались и уходили на более высокие места посмотреть, не бегут ли кони. Стоя на холмах, они изредка переговаривались с сидящими.

— Видно? — спрашивал сидящий.

— Нет еще... Скоро надо быть...

— Пора бы...

— Вот что-то пыль поднялась впереди...

Вскоре слышался отдаленный топот и крики; яснее и яснее стало раздаваться приближение скачущих. Бóльшая часть бурят поднялись на ноги, только ламы остались сидеть, сохраняя важное и глубокомысленное выражение на своих красных, расплывшихся

лицах.

Кони, с заплетенными в гривы разноцветными лентами и с султанами на лбу, мчались во весь опор. Мальчишки-буряты, посаженные на них, усиленно хлестали кнутами и кричали во все горло. Лошадь, прибежавшую раньше других, хозяин взял под уздцы и повел к старшему ламе. Лама с важностью, достойно его сана, тотчас поднялся на ноги, прочитал коню похвальную речь и приложил ко лбу его свою книжку. Коня отвели в сторону. Оставшие во время бега кони, как недостойные благословения и похвальных речей, стояли на дальнем плане.

Опять пронесся запах араки, и через несколько времени буряты отодвинулись в сторону от лам, очистив таким образом место для борцов.

В стороне раздевались двое бурят. Оставшись в одних штанах, они засучили их выше колен и старательно натерли руки песком. Два бурята подошли к ним, взяли их под руки и подвели к ламам. Борцы смиренно преклонили головы перед старшим ламой, лама прочел над их головами молитву и стукнул обо-

их по головам книжкой. Борцов отвели на середину площадки и оставили одних. С минуты они потоптались на одном месте, потом начали придвигаться друг к другу, быстро наклоняясь к земле, схватывали на ходу песок, натирали им руки, и вдруг разом бросились один на другого. Началась борьба. Долго возились борцы, не уступая друг другу, долго пыхтели они, стараясь свалить друг друга на землю, но, после продолжительных усилий, они свалились оба и продолжали борьбу, валяясь по земле. Наконец один из борцов успел забраться на другого и стал его давить. Дикие глаза его налились кровью, у рта была пена. Из толпы выбежали несколько человек и стащили победителя с его жертвы. Победенный, едва поднявшись, скрылся в толпе, а победитель опять был подведен к ламе и снова получил колотушку в голову книгой.

Прошло несколько времени. Запах араки еще раз пронесся в воздухе, ламы пили чай и вкушали с дощечек баранину. Публика шумно говорила, покуривая из коротеньких медных трубочек. Слышались отзывы о борце, кто хвалил его, кто порицал; некоторые под-

пившие сторонники побуждали его, начинали ворчать, слышались слова вроде: «Эка важничает», «Куда ему — дрянь он!», «Вот погоди, попадетя, намнут ему бока-то!». Отдохнувший после победы, борец был опять подведен к ламе и, после обычного благословения, снова вышел на площадку и стал важно расхаживать в ожидании соперника.

Соперник не замедлил явиться.

Опять помялись они несколько времени, похватали руками землю и быстро бросились один на другого. Победителем остался прежний герой. Его снова стащили с противника и подвели к ламе на благословение. Он переборол до десяти человек, и каждый раз по окончании борьбы его подводили к ламе. Сторонники борца хвалили его, другие подходили и трепали по плечу; противная партия молчала...

Вообще же больше было шуму и говору, чем молчания; кое-где даже слышалась крупная брань, подобная тому, как ругаются наши крестьяне.

— Да ты что!

— А ты что?

— То-то!

— Ну!..

— Пошел! Пьяная морда!

Конечно все это произносилось на монгольском языке.

Посидели ламы и гости, поели не одного барана, выпили несколько котлов кирпичного чаю, изрядное количество араки и потащились каждый к своей юрте.

Тем и кончился бурятский праздник.

II

Прожил я на даче целое лето и в это время коротко познакомился с жизнью, нравами и обычаями бурят.

Буряты ведут жизнь кочевую, переселяясь в течение лета несколько раз с одного места на другое, для доставления скоту хорошего корма. При переселении принимается в расчет прежде всего то, чтобы на новом месте была хорошая трава и какая-нибудь вода; для бурята все равно, хороша эта вода или дурна: он и из лужи напьется. Снимут они кошмы с юрты; соберут весь скарб свой, сложат на одноколки, и потянется обоз, поскрипывая ни-

когда немазанными колесами, к новому месту, оставив на старом один только пепел и выжженные круги земли. Впереди таратаек всегда идет какая-нибудь старуха-родоначальница, набожно нашептывая молитвы, и, при переправе через ручей или ключ, непременно бросает в воду мелкую монету, прося у богов позволения на переправу. Иногда при переселении некоторые буряты мурлычат песни, но громко они не поют, а так, каждый для самого себя мурлычет. Содержание песен: степь, переезд на новое место, словом, те события, которые совершаются в данную минуту. Общего хорового пения у бурят я никогда не слышал и едва ли оно есть; песен народных нет, впрочем несколько бурятских песен обращается между ними в разных частях Забайкальской области. Об этом когда-то писал один из сибиряков. Переедут буряты на выбранное место, поставят юрту и, через час-другой, можно подумать, что они на этом месте целый век жили.

Некоторые на лето строят себе из бревен срубы, покрывают их драньем, и в таком незатейливом здании живут до осени. Насту-

пят холода, поставит бурят свою войлочную юрту, разведет в ней огонь и согревается семья в дымной и душной юрте. Есть и такие бедняки, что зиму и лето перебиваются в одной юрте. Кошма во время лета от жары и дождей сильно портится, и зимой в такой юрте жить бывает очень холодно.

У бурят самое почетное место (неприменно на север) всегда занимает шкаф с бурханами. Достаточные буряты имеют колокол фунтов в 6 или 7 и медные тазы (тимпаны), в которые они бьют во время совершения молитв. В середине юрты оставлено место для огня и над ним вверху отверстие для дыма, которое зимою, по окончании топки, прикрывается кошмой, отчего в юрте делается дымно и угарно. К утру юрта выстынет, все жмутся под бараньи шубы, и хозяйка спешит развести поскорее огонь. Пища бедного класса — исключительно один кирпичный чай, сваренный на воде, с примесью небольшого количества молока. Богатые съедают невероятное количество баранины, но самое любимое блюдо бурята — это внутренности быка, зажаренные с кровью. Хлеб у них делается самым про-

стейшим способом: смешают муку с водой и сделанные таким образом катышки положат в горячую золу, — вот и хлеб готов. Многие любят пить кумыс (молоко кобылицы) и выпивают его в громадном количестве. Вино готовится из молока, остающегося от выделки масла; молоко подвергается брожению и сохраняется потом в деревянных кадочках. Это вино называется «араки». Кошмы и войлоки буряты делают сами (большею частью этот труд падает на женщин) из шерсти своих баранов. Дохлый рогатый скот употребляется в пищу точно также, как и убитый. Некоторые из бурят обязывают себя клятвою не есть «падали» и исполняют это обещание, конечно, только при известном достатке; в крайности же и дохлая лошадь идет в пищу и, пожалуй, иной раз предпочитается даже невкусному кирпичному чаю.

Главное богатство буряты заключается в большом количестве крупного и мелкого рогатого скота и в табунах лошадей. Украшение богатых женщин составляет маржан — коралл красного цвета, величиною с кедровый орех, а иногда и более, смотря по состоянию.

Цена маржана зависит от величины и цвета, приблизительно от 75 р. до 150 р. за фунт, в котором заключается от 60 до 100 корольков. Одежда женщин, в праздничные дни, состоит из парчи ярких цветов, употребляемой у нас в церквах, а также и из шелковых материй; шапки их из бобров и соболей; на груди повешены русские серебряные монеты, в ушах серьги, унизанные в несколько рядов маржаном; на голове тоже украшения, сделанные из маржана, вроде диадемы; на руках большие серебряные браслеты; сапоги шелковые, вроде китайских, с толстыми подошвами. Девицы носят прическу, состоящую из множества косиц, убранных маржаном; замужние же носят только две косы, красиво лежащие по обе стороны груди и соединенные нитями из маржана и серебра. Одежда женщин мало отличается от одежды мужчин. Случается иногда видеть вдали едущую верхом женщину и никак нельзя распознать, мужчина это или женщина, пока не подъедет близко. Впрочем, отчасти, можно догадаться по головному убору, да и то не всегда.

Конечно, в менее состоятельном классе бу-

рят, как и у всех народов вообще, серебряные украшения заменяются медными, парчовые и шелковые ткани — простыми дешевыми и вместо бобровых и собольих шапок женщины носят мерлуцатые. Но как бы ни была бедна семья бурята, хотя бы она нищенствовала по улусам, а все-таки у каждой женщины сохраняется два-три зерна настоящих кораллов, для украшения в праздничный день своей прически. Китайцы ухитрились приготовить из рису нечто похожее на маржан, и это дешевое украшение в большом количестве расходуется по всей Монголии, достигая и до бурят.

Женщина в бурятской семье работает гораздо больше, чем мужчина. Утром она встанет первая, разведет в юрте огонь, заварит кирпичный чай и отправляется доить коров. Кончив это дело, бурятка возвращается в юрту, поить ребятишек чаем, и потом опять уходит, гнать скот на водопой. Муж в это время проснется, почешется, потянется и, лениво поднявшись с кошмы, пьет оставленный для него в котелке чай и покуривает свою трубочку; жена, возвратившись с водопоя, седлает

ему коня, и бурят едет верхом, по делу или просто гуляет по знакомым улусам. Жена между тем прибирается в юрте, что-нибудь шьет, делает войлоки или выминает в мялке кожу. Муж возвращается после своей прогулки и жена расседлывает коня, а он себе посиживает у юрты или заваливается на кошму, с неизменной своей спутницей — трубкой. Женщины нередко нанимаются к русским жать хлеб или косить траву. Для своих же стад и табунов буряты сена не заготавливают, предоставляя им целую зиму перебиваться как и чем угодно. Скот, питающийся ветшью, в течение зимы исхудает, ребра его высунутся, движения сделаются медленны и слабы. — «Ничего, — думает бурят, — вот наступит весна, — поправится»; — и действительно, с наступлением весны, когда появится сочная, питательная зелень, скот в две-три недели откармливается и поправляется, как будто и не постился никогда.

Некоторые буряты уходят в город на заработки и нанимаются к русским плотниками и землекопами — других работ они не знают. Впрочем, в последнее время буряты начина-

ют понимать выгодную сторону хлебопашества и мало-помалу принимаются, хотя и в незначительной степени, за этот благодарный труд.

III

Совершая свои молитвы, бурят становится на колени перед бурханами, складывает ладони рук и, поднимая их ко лбу, приговаривает какие-то слова. Более религиозные, кроме обыкновенной молитвы, еще устраивают около юрты вертящиеся от ветра столбики, исписанные разными молитвами. Некоторые от этого столбика проводят веревку в юрту и, подергивая ее, приводят в движение столбик: движение столбика вокруг своей оси, по понятиям бурята, заменяет его личные молитвы. Сколько раз повернется столбик, столько раз число молитв, уписанное на нем, зачтется в заслугу буряту.

— Дальджема! — кричит какой-нибудь старик своей вечной работнице-жене: — дай-ка мне добрую чашку араки.

Послушная Дальджема, верная и покорная раба своего супруга, вечная его работница, ве-

дет себя сообразно своему положению и не смеет противоречить своему властелину: — араки является по первому требованию.

Выпьет старик охмеляющее питье и, дернув несколько раз проведенную от столбика веревку, спокойно завалится спать. Это значит, что он помолился.

Если не каждый богатый бурят, то бóльшая часть из них, считает непременною своею обязанностью хотя один раз в жизни сходить в г. Ургу, на поклонение живому богу — Хутухте. Город Урга, отстоящий на триста верст от Кяхты, небольшой монгольский город, с дворцом для Хутухты. Этот город, кажется, и построен для его резиденции; в народе он называется «ламский город», потому что при Хутухте находится до десяти тысяч лам.

Отправляется монгол или бурят в Ургу и несет с собой, по силе возможности, соболей, серебра, а иногда и золота. Придет он в Ургу — услужливые ламы не откажут ему в принятии жертвы и позволят полежать, растянувшись на земле, перед входом во дворец живого бога. При этом, конечно, он наслуша-

ется от лам о тысяче чудес, которые творит их бог, и другой богатый слушатель только и знает, что распоясывает свою мошну да дает ламам деньги. Полежит поклонник минуты две-три перед дворцом, пошепчет молитвы, выскажет свои задушевные просьбы и отправляется в обратный путь, исполнив свой религиозный обет. Видеть Хутухту никто никогда не может, кроме приближенных, старших лам. Он живет себе во дворце с детства и откармливается на убой до 18—20-летнего возраста. К этому времени, по учению лам, душа его переселяется в душу какого-нибудь дитяти из благочестивого семейства в Тибете, а тело улетает на небо. Когда наступает подобный торжественный день, ламы, с разными приличными случаю церемониями, отправляются в Тибет, отыскивают там какое-нибудь богатое благочестивое семейство и объявляют ему, что Хутухта, как видно из священных тибетских книг, переселился в душу их сына. Семейство, конечно, жертвует ламам богатые дары, а маленькое дитя с почестями перевозится в Ургу. Проходит известное количество лет; мальчик подрастает, от-

кармливается, убажжаемый приближенными ламами, и впоследствии, по всей вероятности, его тоже убивают и заменяют новым, которого ожидает та же несчастная участь. Конечно, дело понятное, — чем чаще душа Хутухты будет переходить в маленьких детей из благочестивых и богатых семейств, тем выгоднее ламам...

Я был знаком с одним ламой, только что возвратившимся из путешествия в Ургу.

— Что, лама, ты, говорят, в Ургу ходил, — спрашивал я.

— Как не ходить, — ходил, — отвечал лама, почесывая лоб.

— Что же, ты отнес туда серебро или золото?

— Отнес немного...

— А что именно?

— Три соболя отнес, два золотых и пятнадцать серебряных денег, — пересчитывает по пальцам лама.

— Зачем же ты так много отнес, поменьше бы?

— Ничего уж... отнес... — задумчиво говорил бурят.

- Кому же ты их там отдал?
— Там большому ламе отдал.
— Зачем отдал?
— Живому богу молился...
— Разве без денег молиться нельзя?..
— Нет, пошто нельзя, можно... Только я живого бога хотел видеть, затем давал...
— Ты видел, что ли, живого бога?
— Его самого не видел, а дом его видел, — большой такой...
— Как же ты не видел? Ты ведь лама?
— Мне нельзя его видеть: я маленький лама. Серебро я отдал, соболей и золото дал — все взял большой лама.
— А тебе не жаль денег?
— Зачем жаль? Зато живому богу помолился, — говорил задумчиво бурят и по обыкновению потирал ладонью лоб.

В Урге, кроме Хутухты, есть еще пророки — гыгены. Эти хотя и не отличаются бессмертием, но имеют тоже некоторые особенности, доставляющие им и деньги, и почет. Гыгены, большею частью, пустынники и отшельники, и к ним обращаются, как к людям, которым боги, за их святую жизнь, открывают буду-

щее. Желаящие приподнять хотя кончик таинственной завесы будущего приносят к этим почтенным старцам серебро, золото, соболей и получают ответы на свои вопросы[11].

IV

Во время беременности женщину каждый месяц посещает лама и читает над ней молитвы о благополучном ее разрешении. По разрешении от бремени, лама, с подобающею важностию, перелистывает священную книгу, отыскивая в ней указание на тот счастливый день, в который можно совершить обряд крещения. Этот обряд заключается в чтении молитв на тибетском языке. Новорожденного моют и дают ему имя, по имени первого гостя, вошедшего в юрту.

Однажды, во время обряда, вошел в юрту русский священник, новорожденный была девочка. Буряты пришли в страшное недоумение и не знали, как назвать дитя. Священник заметил их затруднение.

— Да кто у вас родился-то? — спросил он.

Буряты переглядывались между собой и ничего не отвечали.

— Да что с вами? Говорите, кто же у вас родился?

— Дело плохо...

— Что же? Несчастье что ли какое?

— Девчонка родилась, — объяснили буряты.

Священник засмеялся.

— Ну так что же? Назовите ее Машкой и конец делу, — сказал он в шутку, а буряты поверили да так и назвали. Дитя выросло и осталось навсегда под именем *Машки*.

По окончании каждого обряда: крещения, свадьбы или погребения — лама получает для кумирни приношение в виде коня, быка, барана или кирпичного чаю, смотря по достатку дающего. Давая приношение, бурят не заботится о том, чтобы лама доставил его в кумирню; он крепко верит, что отдал жертву богу, а если принявший лама утаит дар в свою пользу, то сам же и ответит перед богом.

В каждой семье бурятской один из сыновей от рождения назначается в ламы. Это назначение открывается тоже через священные тибетские книги, где, будто бы, значит, быть ли ребенку ламой, или нет. Если быть,

то будущий лама отдается в учение, тибетскому языку и медицине; но бóльшая часть их, конечно, ничего не смыслят ни в том, ни в другом. Лама может жениться, как следует, только в таком случае, если в его семье нет братьев. Если же у него есть женатый брат, то лама пользуется его женою, как собственной. Некоторые утверждают, что у братьев в этом случае составляется компания, и этому, пожалуй, можно верить, потому что бурят, даже ради гостеприимства, уступает ночующему у него в юрте дорогому гостю свою жену, а иногда и незамужнюю дочь. Это вполне в нравах бурятских и этим особенно пользуются ламы. Та девица, которая забеременела от ламы, скорее других найдет себе мужа, так как связь ее с ламой считается чем-то священным. Если же беременность получилась от связи ее с простым смертным, то этот смертный должен взять свое дитя к себе.

Дети в бурятской семье находятся в полном и безусловном повиновении у своих родителей, и когда сын достигает такого возраста, что можно его женить, — отец выбирает ему невесту и посылает сватов к ее родите-

лям. Сваты торгуются о калыме, то есть, сколько должен дать жених за невесту голов скота, сколько серебра и проч. По окончании торгов сватов угощают аракой и бараниной; приглашаются в юрту жениха ламы и опять раскрывают они свои священные книги, отыскивая в них день, в который можно совершить свадебный обряд.

К девице, просватанной замуж, собираются ее подруги и живут у нее по несколько дней, приготовляя приданое. Вскоре после сватанья отцу невесты доставляется часть калыма, остальная же часть выдается впоследствии, смотря по условию. Накануне свадьбы, как у невесты, так и у жениха, убивают баранов и быков для угощения будущих гостей. Богатые буряты за несколько дней до свадьбы делают вечера, на которых однако жених не участвует. На этих вечерах, кроме ближних родственников, никого из посторонних не бывает; посиживают только собравшиеся родственники вокруг чайного котелка, попивают чаек и толкуют о предстоящей свадьбе, о калыме, о достоинствах невесты, и проч.

— Работница будет хорошая...

— Большая девка, здоровая...

— Да и калым недорогой дали... Девка отличная!

В день свадьбы жених со своими друзьями отправляется к юрте невесты; ее подруги, завидя приближающихся молодцов, становятся в круг и составляют из себя цепь, сплетаясь руками; в середину этого круга становится невеста. Жених с друзьями стараются разорвать цепь и вырвать из круга невесту. Писк и визг поднимается ужасный, подруги защищают невесту, насколько хватает у них силы и, не имея более возможности сопротивляться напору нападающих, уступают наконец невесту друзьям жениха. Взяв приступом невесту, друзья жениха одевают и закутывают ее в шубы или ткани, садят верхом на лошадь, и процессия с невестой уезжает в поле; следом за ней уходит и обоз с приданным. Жених возвращается назад в свою юрту, где ожидают его родные, и они, все вместе, отправляются верхами в поле отыскивать невесту. Едут они гурьбой по степи, видят расположившийся табором поезд невесты, но нарочно стараются проехать мимо. Ламы, важно за-

седающие где-нибудь поблизости у ручья, останавливают этот поезд жениха, спрашивая: куда вы едете?

— Мы едем по степи, — совершенно справедливо отвечают едущие.

Спрашивающие удовлетворяются ответом и задают новый вопрос: — Кого вы ищете?

И слышат в ответ следующее:

— Ищем мы корову, у которой рога серебряные, хвост шелковый, копыта золотые и вместо глаз горят яркие драгоценные камни. Не видали ли вы такой коровы?

— Видели, — отвечают ламы.

— Где же вы ее видели?

Ламы отвечают: — Мы сидели здесь у ручья, а она бежала мимо; мы остановили ее и взяли в свой табор.

— Отдайте же ее нам — она наша, — просят со стороны жениха.

Ламы несколько времени не хотят отдавать, но потом соглашаются и тогда оба поезда, соединившись вместе, отправляются к юрте жениха. Тут читаются священные книги, невесту переодевают в другое платье и затем начинается свадебный пир.

Так как в юрте жениха поместиться всем гостям нет никакой возможности, то бóльшая часть гостей рассаживаются около юрт. Время для свадебного пира всегда назначается к вечеру и продолжается до утра. Много съедается тут вареного и жареного мяса, много выпивается араки и кумысу и еще больше кирпичного чаю. Публика располагается небольшими группами, и в середине каждой группы непременно раскладывают костер. Молодые гости составляют пляски, старики мурлычат песни или сосут свои коротенькие трубки; нагие ребятишки бегают около огней; кое-где буряты борются, поощряемые зрителями; собаки подбирают обглоданные кости... Поздно ночью оканчивается этот праздник, и гостей большею частью развозят уже в одноколках, так как они бывают не в состоянии возвратиться домой верхом.

Первую ночь невеста проводит не со своим женихом, а с кем-нибудь из ее или его друзей, смотря по ее выбору. Этот обычай некоторые буряты оправдывают тем, что невеста остается в эту ночь неприкосновенной; другие, однако, при этом хитро посмеиваются и говорят

двусмысленности. Кто их знает, что это за обычай? Верно только то, что жених увидит свою молодую жену только на второй день после свадьбы, и тогда уже у них начнется настоящая супружеская жизнь.

Целый месяц после свадьбы молодая живет барыней, почти ничего не делает, и лишь изредка возьмется за какую-нибудь ничтожную работу. К концу месяца она съездит к своим родным, поживет у них недельку-другую и, возвратившись к мужу, принимает уже на себя все тяжелые обязанности жены-работницы.

Бурят может иметь в одно время не более двух жен. Развод допускается законом только в таком случае, если разводимые дадут обещание более никогда не вступать в брак. Официальные разводы бывают весьма редко и не заключают в себе ничего особенного. Сидят себе ламы в своих желтых и красных костюмах, читают священные книги, старший изредка позванивает в колокольчик — вот и весь обряд. Большею частью разводы бывают без участия лам, по обоюдному согласию супругов, а иногда просто жена убежит от му-

жа, и в таком случае он имеет право требовать калым назад, но если муж оставляет жену, то калым ни в каком случае не возвращается.

Оставившая мужа или оставивший жену может, с разрешения лам, снова вступить в брак, и этот законный брак можно повторять сколько угодно раз. Точно также и после смерти жены бурят может снова жениться; закон позволяет ему брак, пожалуй, если хотите, до ста раз; соблюдается только, чтобы в одно время не было более двух жен.

V

У бурят часто можно встретить баранов, быков и лошадей, увешанных разноцветными тряпками, вплетенными и привязанными к гриве, рогам и хвосту. Это — священные особы, и пугать, бить, а тем более убивать их считается величайшим грехом. Случилось мне видеть четырехрогатого барана, остановившегося у самого входа в юрту. Бурят стоял поодаль и не смел отогнать его от дверей.

— Что ты стоишь такой испуганный? —

спросил я.

— Да вот баран... — нерешительно отвечал бурят.

— Ну что же, баран?

Бурят делает на своей роже таинственное выражение и шепотом говорит, боязливо поглядывая на барана.

— Юрту заслонил — пройти нельзя...

— Отгони его, не съест ведь.

— О! Нельзя. Подожду мало, уйдет...

Действительно, баран постоял, потерял рогами о кошму и пошел дальше, к радости бурята, нетерпеливо ожидавшего его ухода.

Во время сильной бури, продолжительных дождей, грома, молнии и землетрясений буряты и их ламы начинают совершать моление перед бурханами; нередко во время землетрясений вырывают они ямы, в которые кладут жертвы — золото, серебро или кораллы для умилоствления разгневанных божеств.

Умирая, бурят приглашает к себе ламу и исповедуется.

Богатый еще при жизни делает завещание: сколько дать в кумирню, сколько оста-

вить семье и сколько положить с собой в гроб, в виде выкупа за землю. После его смерти приходят несколько лам, читают священные книги, бьют в тимпаны и по книгам же назначают день, в который следует тело предать земле, и место, где зарыть покойника. Случается, что в ожидании погребения умерший лежит по пяти и шести дней в юрте и разлагается, распространяя на полверсты кругом ужасную вонь. Подобное замедление, по рассказам некоторых бурят, бывает от того, что ламе мало дадут за труды, и священная книга, по его расчету, показывает отдаленный срок погребения.

На месте, выбранном для погребения умершего, собираются ламы, расстилают на землю войлок, кладут черную баранью шкуру, а на черную — белую и тогда уже начинается чтение священных книг и поклонение богам, чтобы они позволили вырыть яму для могилы. После чтения молитв покойника опускают в землю. Со всех четырех сторон в могиле ставят из чистого белого стекла баночки, наполненные серебром или золотом — это выкуп за землю. Потом закопают гроб, сделают

сверху насыпь земли, наставят кругом жердей и обтянут их веревками. На веревки повесят разноцветные тряпки и бумажки, испи- санные молитвами, и они, колыхаясь от вет- ра, будут, по понятиям бурят, заменять умер- шему молитвы. Совершив тризну на могиле, родственники покойного, вместе с ламами, отправляются обратно в юрту.

Понятия бурят о загробной жизни несколь- ко схожи с христианскими. Они верят, что на- ступит такой день, когда вся земля разрушит- ся и Бог придет судить и разбирать дела лю- дей. Грешных велит бросать в ямы — или хо- лодные, со льдом, или горячие, с пылающими дровами, смотря по грехам. Умерший, перехо- дя в новый мир, встретит по дороге всех оби- женных, обманутых и обсчитанных им, кото- рые будут к нему приставать и требовать удо- влетворения; некоторые из грешных увидят дерево, наверху которого будут сидеть их зна- комые и звать их к себе, рассказывая преле- сти и удобства своего помещения. Грешники полезут к ним на дерево, но, царапаясь об иг- лы и шипы, будут обрываться вниз, и снова потом взбираться, до бесконечности...

— Учить нас там будут много...

— И бить будут, больно будут бить... потому грехов много, больно уж грехов много. Куда ни повернись — все грех!..

И благочестивые буряты вздыхают при этом глубоко.

Некоторые из лам говорят, что мучения грешных вечно продолжаться не могут, потому что Бог, создатель всего мира, очень добр и непременно простит грешных, помучив их несколько времени. Праведных ожидает блаженство, состоящее из всякого рода наслаждений, конечно, во вкусе азиатском.

Богослужение бурят, кроме описанного чтения священных тибетских книг, совершается несколько раз в году в больших кумирнях. На эти богослужения приезжает главный лама, называемый хамба-лама. Это начальник над всем бурятским духовенством и пользуется большим почетом между бурятами за невероятную тучность своего тела. Вес хамба-ламы, умершего в 1861 году, доходил до 10 пудов.

VI

Давно уже русское духовное начальство заботится о распространении христианства между бурятами. Как шло и как продолжается теперь это распространение, мне неизвестно; но в бытность мою в Иркутске мне пришлось слышать несколько фактов, которые я считаю нелишним передать.

В начале шестидесятых годов буряты, вдруг, целыми улусами, стали принимать крещение. Духовное начальство было, конечно, очень радо такому успеху их проповеди. Но через несколько времени обращение в христианство так же быстро остановилось, как и началось.

— Что такое сделалось с ними? — думали недоумевающие проповедники.

Оказалось, что буряты принимали православную веру потому только, что освободились этим от влияния их родового князька, слишком усердно эксплуатировавшего их при всяком удобном и неудобном случае[12]. Князек, замечая потерю своего влияния, отправился в Иркутск и сам со всей семьей сво-

ей тоже перешел в христианскую веру, но он умел устроить свои дела так, что с крещением снова получил власть, как над обращенными в православие, так и над оставшимися в старой вере бурятами. С этого-то времени буряты не так ревностно стали переходить в православие.

Бывали такие случаи, что бедный бурят принимал крещение по несколько раз. Окрестят его раз, оденут, обуют и сладко накормят; пойдет он в свой улус рассказывать своим о хорошей русской вере и через несколько времени снова является под другим именем, объявляя о желании перейти в христианство. Опять он получает крест, рубашку, халат, шапку, сапоги и проч.

Рассказывали, что хамба-лама, получая от русского правительства известные права, обязывается не мешать распространению христианства между бурятами. Мешает он или нет — кто знает? Известно только то, что доход с бурятских кумирень он получает в весьма приличном количестве и терять его во всяком случае ему было бы очень прискорбно...

В последнее время русская миссия имеет свою резиденцию в Посольском монастыре на берегу Байкала. Один мой знакомый был очевидцем, как наши миссионеры обращают бурят.

Большая часть бурят знают по-русски, но при появлении незнакомого лица, кто бы он ни был, наотрез отказываются от этого знания: — толмач угый (переводчика нет) — да и только; хоть вы их принуждайте угрозами, хоть упрашивайте, буряты все будут отделяться своим: — толмач угый, — пока не увидят безопасности разговора по-русски. Приезжает миссионер в бурятский улус и, получив «толмач угый», начинает говорить через переводчика. Буряты стоят и сидят около него в юрте и, по-видимому, с вниманием слушают проповедь миссионера. Долго и много говорит миссионер, буряты все слушают, тихонько вздыхая и почесывая лбы.

— Ну что же, бедные дети степей, видите ли, какая прекрасная, святая и чистая вера христианская! — заключает свою речь миссионер.

— Вера хороша; славная, хорошая вера, —

отвечают ему некоторые из бурят, переминаясь с ноги на ногу.

— Ну так что же еще думать? Принимайте святое крещение, будете дети православной церкви и угодны Господу Богу, — избавитесь от вечной муки, которая вас ожидает за поклонение поганым и скверным идолам...

Буряты слушают, сохраняя молчание.

— Что же вы задумались, несчастные жертвы ада и вечных мук? Неужели вы предпочитаете вашу греховную веру истинному и праведному учению Христову? — спрашивает миссионер.

— Вера уж хороша, больно хороша, чудная вера! — говорят опять буряты, почесывая плохо выбритые лбы.

— Так что же еще вам нужно? Сами поняли, что хорошая вера, — спешите же принять святое крещение!

— Холодна теперь больно погода; вот уж лето подойдет, тепло будет, тогда уж можно креститься, — отговариваются буряты.

Миссионер уезжает в полной уверенности, что с наступлением лета буряты перейдут в православие. Приезжает он летом и начинает

опять уговаривать бурят.

— Ну вот и лето наступило благодатное, «приспе день спасения». Спешите примкнуть к стаду Христову, — говорит он им.

— Теперь тепло уж, больно тепло, — отвечают буряты, — можно хреститься... только вот что... ребята наши все по полям... кто скот пасет, кто чево... Вот ужо осенью все соберутся, тогда и хреститься хорошо будет...

Приезжает миссионер осенью и начинает снова доказывать бурятам преимущества христианской веры перед нечестивым идолопоклонством. Опять поддакивают ему буряты — хоро-о-шая вера, чудная вера! — и опять отнекиваются под каким-нибудь предлогом.

Один из горяченьких миссионеров, вероятно не имея силы выносить подобные отговорки, сожег их кумирню, желая этим доказать бурятам, что боги их бессильны и не спасут своего поганого храма.

Боги действительно оказались бессильны: сухие бревна старого здания скоро охватило пламя, ветерок явился на подмогу и в полчаса кумирня сгорела до основания. Буряты стояли, смотрели и молчали. Миссионер сказал

им еще несколько поучений, приводя в пример бессилие их поганых богов. Буряты опять слушали и опять похвалили русскую веру.

— Хо-ро-о-шая, чудная вера.

Миссионер уехал в Посольский монастырь. Но не прошло месяца, как буряты составили прошение и подали его в Иркутск. Писали они, что миссионер сожег их кумирню и всех богов, в ней находившихся, и что вместе с их богами сгорела икона, чтимого ими, Николая Чудотворца.

Чем кончилось это дело — мне неизвестно. Может быть даже, этого ничего и не было, может быть, люди, недовольные деятельностью миссии, сложили эту сказку; а если так, то тем лучше. Но я все-таки ее печатаю, хотя для того, чтобы дать понятие, какие сказки могли складываться в известное время, в известной местности. Эта сказка, если не содержит и капли справедливости, тем не менее имеет свое историческое значение, как материал, с помощью которого можно доискаться какой-нибудь истины и, наконец, понять, отчего фантазия автора была настроена так, а не иначе, отчего составлена такая сказка, а не

другого какого-либо содержания...

Маймайтчин[13]

I

Наша первые торговые сношения с Китаем были открыты не частными лицами, не торговою компаниею, а самим русским правительством, которое до первой четверти XVIII столетия отправляло, в известное время года, русских чиновников с нужными товарами внутрь Китая. Чиновники добирались с караваном до г. Пекина и, в обмен на привезенные товары, получали разные произведения Китая, как то: шелковые материи, фарфоровую посуду и проч. Чаю в то время требовалось мало и его вывозили из Китая в весьма ограниченном количестве.

В 1727 году приезжает на границу России и Китая уполномоченный от русского правительства граф Савва Владиславич Рагузинский и с того времени начинается (с русской стороны) основание г. Троицкосавска и торговой слободы Кяхты, а со стороны китайцев города Маймайтчина.

Первые торговые сделки русских с китайцами производились периодически: к декабрю месяцу в Маймайтчин китайцами и в Кяхту русскими привозились чай и товары, начинался обмен и к январю дело оканчивалось, не возобновляясь до зимы следующего года. Так продолжалось до последней четверти XVIII столетия; но с этого времени между Кяхтой и Маймайтчином обмен товаров делается все чаще и чаще и к началу XIX столетия китайцы открывают в Маймайтчине постоянные склады чая. Прежние товары, привозимые ими в более или менее значительном количестве, как то: далемба и китайка (бумажные ткани), чисуча, канфа (шелковые ткани), фарфоровые вещицы и проч. и проч., — отодвигаются на задний план, а первое место занимает кирпичный и байховый чай.

До 1853 года торговые дела русских с китайцами шли превосходно, несмотря на то, что для этих торговых дел существовало *положение*, по которому купец не имел права променивать свои товары дешевле известной цены, точно так же не имел права *покупать* у китайцев чай на монету.

С 1853 года начинается возмущение в южном Китае и с этого времени на китайских рынках падают цены на мануфактурные товары, а требуется золото и серебро; на Кяхте обмен товаров уменьшается и золотая и серебряная монета находят себе сбыт контрабандным путем, в огромном количестве.

С 1856 года русское правительство находит нужным принять во внимание просьбы купцов и открывает в Кяхте свободную торговлю, с ограниченным выпуском золотой русской и серебряной иностранной монеты. Торговля в это время достигает до 13 $\frac{1}{2}$ миллионов фунт. вывоза чая и затем начинает с каждым годом уменьшаться.

В 1860 году, опять вследствие многих просьб русского купечества, на Кяхте дозволяется свободная — в полном значении слова — торговля, но в то же время разрешается ввоз чая через европейскую границу и с этого времени Кяхтинская торговля окончательно рушится и к 1867 году в китайском городке Май-майтчине, вместо прежних двухсот торговых фуз, остается не более десяти, — остальные все заперты и владельцы их выехали из Май-

майтчина внутрь Китая.

Вот беглый очерк наших торговых сношений с Китаем. Здесь не место разбирать причины упадка кяхтинской торговли и потому, что мы об этом много говорили в свое время, и потому, что наша задача — познакомить читателя с г. Маймайтчином и его жителями.

Маймайтчин отделяется от торговой слободы Кяхты деревянным заплотом, который тянется на несколько сот сажен, обозначая собою границу. Пройдя в высокие ворота, ведущие за границу, мы в последний раз видим русского двуглавого орла, красующегося над этими воротами и удивляющего китайцев своими двумя головами.

— Тута ево, птица мудрена: его два голова ума много, неизвестна только, которна голова хьюзьяин, каторна голова пыркащик (т. е. неизвестно, которая из голов старше чином), — говорят китайцы, всматриваясь в русский герб. За этими воротами — Китай, или, говоря точнее, — Монголия, находящаяся под властью Китая.

Прежде чем попасть в Маймайтчин, нужно пройти через площадь, отделяющую этот

город от русской границы; площадь завалена всякими нечистотами, костями баранов и быков, — остатками китайского стола; иногда на этой площади падает и издыхает какая-нибудь больная лошадь, да так на ней и сгниет вся, а о дохлых собаках и говорить нечего; — никто на это не обращает внимания, потому что никого это не беспокоит. Ходят по этой площади стаями монгольские собаки, отыскивая себе дневное пропитание в кусках нечистот; иногда между ними попадаетея развалившийся в навозной куче грязный, оборванный нищий — монгол, боязливым и тупым взглядом осматривающий проходящего русского. Летом с этой площади невыносимая вонь далеко разносится в округности и слышится на улицах Кяхты.

Маймайтчин имеет три улицы, в каждую из них ведут особые ворота, запираемые на ночь; перед воротами стоит высокий экран, чтобы не было видно издали того, что делается на улице и в ворота въехать можно только сбоку. Впоследствии с левой стороны Маймайтчина вытянулась еще улица и на противоположной стороне города образовалось

большое предместье.

Ничего не может быть пустынное и глуше улиц Маймайтчина. Тянутся высокие стены, не имеющие ни одного окна на улицу; бóльшая часть ворот затворены и даже заперты изнутри на замок. Заслыша шаги прохожего, выбегают из-под ворот только маленькие китайские собачонки, гремя своими бесчисленными бубенчиками и оглушая визгливым, резким лаем. Над каждым воротами видна надпись мудреными китайскими знаками, объясняющими название фузы. Кое-где в растворенные ворота видна и внутренность китайского двора, устланного деревянным полом.

Внутренность двора представляет следующее. Посередине двора непременно стоит, на высоких подножках, картина, писанная масляными красками, изображающая долголетие. На первом плане этой картины нарисован старик, старый до невозможности и седой до белизны снега; рисуется он на всех картинах одинаково, всегда с высоким до уродства лбом. — «Тута ево ума побольшан, философа», — поясняет китаец, нахватавшийся от

русских мудреных слов, *тоненьких*, как он их называет. Около старика группируется несколько человек, представляющих собою отца, сыновей и всегда полунагих, жирных внучат. Вся эта группа целого поколения трется около безобразного, чуть живого старика, который как будто силится, не то от радости, не то от старости заплакать. Такая картина, одинакового, без малейших изменений, содержания, находится на дворе каждой май-майтчинской фузы.

Перед картиной летом расставляются цветы, в деревянных ящиках с китайскими надписями, и продолговатая бочка, наполненная водой, с плавающими в ней рыбками. Иногда тут же выставляются клетки с птичками, выносимые из душных фуз на чистый воздух. Направо от картины двери ведут в жилые покои, налево — анбары для хранения припасов, а сзади картины — пакгаузы для складки чая.

Из двора пройдем в покои, которые собственно и носят название фузы. — «За нама фуза милости поросим, погули» (т. е. к нам в комнаты пожалуйста, погулять), — приглаша-

ют китайцы, всегда радушные со всяким знакомым и незнакомым человеком.

Заходим и смотрим.

Фуза разделена на две половины. Одну из них занимает старший из акционеров торгового дома, приезжающий в Маймайтчин на 5 или на 6 месяцев, по прошествии которых приедет другой и заменит товарища. В каждую половину фузы ведет дверь, имеющая суконную занавесь, приподнятую наполовину кверху в виде навеса; в этой суконной занавеси есть в середине окно и когда она опускается, то входящий может сначала удостовериться, посмотрев в окно, не спит ли хозяин, и потом уже приподнять занавесь. Передняя часть каждой половины фузы занята широкими и длинными (во всю ширину фузы) нарами, под ними помещается печь; труба этой печи в несколько изгибов проходит под нарами и прогревает их, доставляя китайцам удовольствие спать на горячих кирпичах; труба никогда не выводится наверху крыши, а оканчивается всегда внизу около фундамента, или выводится под землю на задний двор фузы в предостережение от пожара.

По стенам внутри фузы развешено несколько бумажных картин с изображением драконов, змей, несуществующих зверей и т. п. страшилищ, с невероятно большими глазами и зубами; есть картины, изображающие военные эпизоды из китайской истории; герои их всегда рисуются громадного роста и лица их размалевываются разными цветами, как это в действительности и делают начальники китайских войск, для устрашения неприятеля. Около картин висят по стенам черные дощечки, на которых, золочеными знаками, написаны изречения китайских мудрецов; иногда, в соседстве с этою китайской мудростию, висит французская картинка дамских мод, по всей вероятности выпрошенная китайцем у русской купчихи и имеющая непосредственное назначение быть отправленной на родину, в какой-нибудь Калган или Сань-син, в качестве портрета с русских. На левой стене от входа на столе стоит небольшой шкафчик, чем-нибудь завешенный или прикрытый дверцами: в этом шкафике сохраняются боги, домашние пенаты. Посредине нар помещается маленький столик и пе-

ред ним жаровня, с постоянно горящими угольями, отчего нередко приходится трещать, не привыкшим к угару, русским головам. Вдоль стены на нарах лежат свернутыми все принадлежности спанья и только несколько кубических, упругих подушек лежит вблизи маленького столика, готовые к услугам для спины почетного гостя. Рамы в окнах имеют большие размеры, так что правая стена от входа занята почти вся тремя окнами; клетки в рамах очень мелки и вместо стекол они заклеены китайской тонкой бумагой. Этот южный обычай дорого стоит китайцам и русские морозы пробирают их порядочно, несмотря на то, что в некоторых фузах, кроме печей под нарами, сделаны еще и русские печи. Китайцы всю зиму не снимают с себя в комнатах меховых одежд и хотя сохраняют обычай спать совершенно раздевшись без белья, но зато и укутываются своими меховыми халатами со всех сторон, так что спящего человека не скоро заметишь под грудю шуб, мехов и халатов.

Посредине потолка висят фигурные подсвечники, с красными толстыми свечами; в

некоторых фузах их развешено несколько. Около стен стоят два-три уродливых кресла и тоже два или три стола, — эта мебель всегда черного или красного цвета. На столах помещаются: стеклянная чаша с водой, для живых рыбок, башенка для ловли мух, а иногда и русские часы, подаренные кем-нибудь из русских купцов и непременно испорченные и не поправленные, за неимением китайских часовых мастеров. Около двери вбиты в стену деревянные, причудливой формы, гвозди, похожие на оленьи рога: это вешалки для шапок. В углу — зеркало, разрисованное по бокам картинами, изображающими, по большей части, китайских дам.

Вот и все, что можно видеть в китайской маймайтчинской фузе.

Вообще, грязи в ней много, полы никогда не моются, паук спокойно плетет паутину где ему угодно, да и сами китайцы не чище своих жилищ. Бань у них не существует, тела своего китаец никогда не моет и носит белье до той поры, пока оно от ветхости не свалится с его плеч; а между тем, в праздничный день, видишь китайца-купца разодетым в шелковые

халаты и, не зная, не можешь себе представить, какая грязь под этими дорогими тканями. Впрочем, те из китайцев, которые уже обжились на русской границе, напрашиваются к русским в бани и иногда отдают мыть белье русским прачкам.

— О, тута баня жестоки! Кусай тело хырошанки! — рассказывает китаец, побывавший в русской бане, и долго отдувается, развалившись на нарах.

— Что же вы у себя не сделаете бань? — спросит иногда русский, заметив великое удовольствие на китайской роже.

— Наша такой обычай нету: баня никто не строит.

— Отчего же не устроить? Потом и обычай будет: ты выстроишь, за тобой другой будет строить...

— Э! Э! Приятель! Туте нельзя: закон нету!.. Дальше спрашивать нечего; сказана фраза: закон нету и — конец, сколько не спрашивайте, — ответ будет все один и тот же.

На главной улице Маймайтчина построенны высокие, мрачные ворота, в виде башни,

стоящие на перекрестке двух переулков; наверху башни и на причудливо изогнутых концах ее трех кровель висят колокольчики и бубенчики, издающие звуки даже при незначительном ветре. Паллас, в своем путешествии по Сибири, говорит о маймайтчинских воротах, что колокольчики «некоторый курант выигрывают»; может быть, в его время (в 1730 годах) курант и выигрывался, но в мое время, в начале 1860 годов, о нем не осталось никакого воспоминания. По всем четырем сторонам башни прибиты длинные и широкие доски, мелко исписанные китайскими знаками, — это временные распоряжения и разные приказы местного начальства, относящиеся к жителям города Маймайтчина. Над этими досками, или сбоку их, проходящий человек может заметить нарисованную на стене плеть; иногда, по случаю какого-нибудь строгого приказа, к доске, на которой этот приказ выписывается, приколачивают гвоздями настоящую, уже не нарисованную, а действительную плеть, для вящего вразумления публики. Такая оригинальная и весьма внушительная прибавка к приказу достигает впол-

не своей цели: жители с великим страхом прочитывают написанное и, так сказать, воочию видят, какие последствия могут быть с ними, если бы они вздумали либерально отнестись к написанному. Вблизи этих грозных приказов (тоже вероятно с назидательной целью) китайское правосудие, в лице местного дзаргучея (губернатора), выставляет преступников всякого рода. Тут ставятся и контрабандисты, пойманные с чаем, который они хотели провезти беспошлинно, и люди, уличенные в продолжительном пьянстве, и попавшие по воровству, и люди, совершившие убийство. Всегда почти, прижавшись в самый темный угол ворот, стоит несчастный мученик: массивная доска надета ему на плечи, на груди висит другая доска, исписанная большими черными знаками, объясняющими его преступление.

Помню, в одну из моих бесцельных прогулок по Маймайтчину, видел у этих ворот монгола: лицо его исхудало, глаза ввалились и вокруг их выступили сине-багровые пятна, губы растрескались и запеклись кровью от жажды; утомленный постоянной тяжестью, давящей

его плечи и грудь, монгол едва мог поддерживать свою голову.

Поскорее прошел я мимо этой жертвы китайского правосудия, потому что она производит слишком тяжелое впечатление...

Простоит он, несчастный, думал я, целый день, до позднего вечера на своем лобном месте; холодно, безучастно будет проходить толпа, давно привыкшая к подобным зрелищам; другой, веселый человек, еще и посмеется, подразнит, а если пожелает, то может дать и в рожу, ибо это не возбраняется: преступник должен переносить наказания, хотя бы его преступления были вызваны самим обществом, его экономическим и гражданским устройством, — до этого нет никому дела.

Таким образом китайца или монгола, уличенного в преступлении, учат уму-разуму и много еще пройдет дней, думал я, еще более ввалятся глаза бедного монгола и осунется смуглое лицо, голова повиснет к доске и будут гаснуть последние силы; но не сжалится над ним представитель китайского правосудия, не сжалится потому, что бедный монгол не может откупиться от наказания, не имеет

ни чаю, ни серебра. Дзаргучей, в свою очередь, поступать иначе не может, потому что не может существовать без взяток, так как должность его покупается им на три года за значительную цену: в эти три года он должен выручить то, что заплатил сам за место, и получить хотя какую-нибудь выгоду. Через три года приедет другой, тоже заплативший за право быть начальником, и в течение трех лет, подобно своему предшественнику, будет обирать китайцев при всяком случае.

Замечательно то, что когда наступает срок отъезда старого начальника и приезда нового, то оба они, как два злейшие врага, стараются разъехаться, чтобы не встретиться одному другому; дела же по управлению городом сдает новому начальнику один из младших чиновников, бывших при старом начальнике.

Китайцы раболепно преклоняются перед своими начальниками в их присутствии и отчаянно ругают их за глаза, чувствуя на своих спинах и карманах всю тяжесть их управления и потому-то, при всех недоразумениях, случающихся по торговым сношениям с русскими, китайцы упрашивают решить дело до-

машиним образом и не доводить его до сведения начальства.

— Тута, приятель, лучше дома реши: наша начальника очень жестоки! — говорит таинственно китаец и пугливо оглядывается, боясь, чтобы кто не услышал его либеральных речей.

II

Небольшой дом дзаргучея, построенный конечно на суммы маймайтчинских купцов, находится в конце главной улицы, в соседстве с громадной кумирней, в которой стоят всевозможные боги, ворочающие судьбами маймайтчинских жителей. Два столба, окрашенные красной краской, с металлическими, вызолоченными шарами наверху, стоят посреди первого двора дзаргучейского дома; они видимы версты за две, давая собою знать о месте жительства китайского властелина, имеющего больше влияния на жителей города, чем боги, мирно стоящие в громадной кумирне.

Конечно, китайцы этого ни в каком случае и не воображают, хотя не много нужно на-

блюдательности, чтобы заметить, какая разница между их кумирами и дзаргучеем: перед кумирами изредка ставят баранов, а дзаргучею зачастую тащат столько чаю, что можно бы на него купить сотни баранов; кумиры остаются безмолвны ко всему, а дзаргучей ищет случая придраться и, чтобы выжать из своей жертвы сок, запускает ей под ногти пальцев иголки, ставит на горячие уголья, и жертва, не имея возможности откупиться, как величайшего блага ожидает последнего дня своей несчастной жизни, и не дождавшись, и потеряв терпение ждать, при первом удобном случае распарывает себе ножом живот.

Однажды, заметив около дзаргучейского дома толпу монгол и китайцев, я из любопытства присоединился к ним. Толпа теснилась также и на дворе. Оседланные кони были привязаны к плетню, составляющему ограду первого двора. Самое же жилище дзаргучея находится внутри третьего двора, на который простые смертные не имеют права свободного входа.

Я пробрался в первый двор.

Монголы с ленточками на шапках и с пуками стрел за спинами (воинство) сидели у забора и курили свои коротенькие трубки. Другие, вместе с китайцами, толпой стояли посреди двора, громко разговаривали и с великим любопытством заглядывали во внутренность второго двора.

Прошло с полчаса.

Толпа то убывала, то прибывала; некоторые из смелых подходили близко к воротам второго двора и, заглянув туда, торопливо отходили назад в толпу, теснившуюся в ожидании выхода дзаргучея. Долго еще продолжалось ожидание, из второго двора выходили какие-то лица, проходили по первому двору и снова исчезали, они были одеты бедно и грязно и мало чем отличались от толпы. Вдруг вся нестройная ватага китайцев и монгол с криком и смехом бросилась вон из двора; я с удивлением смотрел на это быстрое отступление, не понимая его причины, и, оглянувшись кругом, заметил, что остался один посреди двора.

С улицы кричал мне знакомый китаец, усиленно махая руками:

— Митер! Митер (Дмитрий)! Ходи назада, дураки! Сейчас пушка попали буду, ходи ярова. (Сейчас стрелять будут, иди скорее).

«В самом деле, — подумал я, — кто их знает, что там за пушки, может быть и действительно что-нибудь страшное, недаром же все разбежались».

Вышел я к толпе, остановившейся на улице, в почтительном расстоянии от дзаргучейского дома.

— Где же пушки? — спрашивал я знакомого китайца.

— Аджегга (вот это)! Жестоки! — отвечал китаец, указывая на маленькие тумбочки, едва заметные от земли.

Между тумбочек пробирался монгол, осторожно снимая покрывающие их деревянные ящики. Он торопливо снял последний ящик, отбросил его в сторону и сам пустился бежать подалее от пушек.

Должно быть тоже был храбрый воин.

Несколько минут прошло в ожидании чего-то необыкновенного, казалось, по меньшей мере, должен был наступить в эти минуты страшный суд, — все стояли притаив ды-

хание и ждали... Но вот высунулся из ворот второго двора сначала зажженный фитиль, потом длинная палка, на которой он был насажен, наконец показалась рука, державшая палку, и, должно быть, самый храбрый из воинов тихонько выходил на первый двор; отворачивая лицо в сторону, он подкрадывался к маленьким пушкам и старался прижечь затравку.

Страшный суд наступал!

Оробевшие зрители давно зажали уши в ожидании выстрела; раздался, наконец, легонький выстрел, толпа повеселела и самодеvolmente захохотала.

Знакомый китаец подбежал ко мне и размахивал руками.

— Джо! Какойва! (Ах! Каково!). Жестоки?

— Ничего жестокого нет...

— Напрасно, приятель. Жестоки!.. Слушай, слушай...

И с этими словами он отскочил от меня далеко в сторону и снова зажал уши...

Воин с фитилем осторожно потянулся к второй пушке и поворотил свою смуглую рожу на сторону; раздался выстрел и снова захо-

хотала толпа.

Так он переходил от одной пушки к другой и каждый раз отворачивался, нагибаясь всем туловищем вперед и вытягивая насколько возможно далее руку с фитилем.

Кончились выстрелы. Воин гордо оглянул толпу и как человек, совершивший нечто необычайное, не захотел более доставлять удовольствия толпе своим присутствием и ушел на второй двор.

Через несколько времени стали выходить из второго двора китайские чиновники, медленно выступая один за другим; все они были одеты в суконные длиннополое кафтаны и суконные же короткие курмы. Потом показался и сам дзаргучей. Несмотря на жаркий летний день, на нем, сверх шелкового голубого длиннополого кафтана, была накинута курма из соболей, шерстью вверх. Над головой его колыхался большой красный зонт, придерживаемый руками воинов, у которых за спинами торчали пуки стрел в колчанах.

Толпа отошла еще далее.

Сидевшие у плетня монголы торопливо начали усаживаться на лошадей, шум и крик

поднялся ужасный, несмотря на то, что спокойно-важные поступи и выражения лиц китайских чиновников, казалось бы, должны были внушать толпе самые тихие, благоговейные чувства. Один дзаргучей чего стоил: он не шел, а едва передвигал ногами; голову держал прямо, не поворачивая нисколько ни в ту, ни в другую сторону, как будто он только что снял с затылка громаднейшую мушку, боль от которой не позволяла ему поворачивать головы. Пока он так шел, к воротам подъехала двухколесная повозка, запряженная лошаком. Сохраняя медленность в движениях, он, с помощью окружающих чиновников, влез внутрь повозки и сложил ноги калачом. Следовавшие за ним и впереди его чиновники, несмотря на то, что так важно выступали во время шествия по двору, сели на верховых лошадей, не отличавшихся особенно красотой и убранством, и поехали вслед за повозкой дзаргучей. Возница побежал на собственных ногах около повозки, держа вожжи в руках, а с обеих сторон понеслись на верховых монголы со своими колчанами и с развевающимися на шапках лентами.

Я долго смотрел вслед удаляющейся повозки, наблюдая за колыхавшимся красным зонтом, который один из верховых старался удерживать над самой повозкой дзаргучея, но лошадь его рвалась, а потому он то отставал позади, то обгонял повозку. Знакомый мой китаец давно стоял около меня и видимо был доволен, что я так долго всматриваюсь в удаляющийся поезд их начальника.

— Что, Митер, какой-ва нама дзаргуча? А? Хырошанки? — спрашивал он, довольный торжественностью церемонии.

— Очень хорошо! — похвалил я: — а что он, хороший начальник?

— Хырошанки! Очень хырошанки! — хвалил китаец, а сам оглядывался.

— Взятки не берет?

— У! Жестоки! — прошептал китаец и рукой махнул.

— А зачем он поехал к нашему начальнику?

Китаец скорчил глубокомысленную рожу.

— Посоветовай еси, тоненький слова... — таинственно отвечал он, как будто и действительно знал причину выезда дзаргучея в Кях-

ту.

Я пошел далее по Маймайтчину.

Вблизи дзаргучейского дома оканчивается главная улица, оканчивается она, как водится, воротами и экраном, заграждающим прямой въезд в улицу; за этой улицей начинается предместье города, известное под названием *ынгороза*. В нем уже нет богатых, раскрашенных фуз, — постройка простая, незатейливая, немало фуз ветхих, разрушающихся; живут в этих фузах одонки[14] маймайтчинского общества, торгующие кирпичным чаем, промышленяющие контрабандой, или продающие в разноску разные безделушки, бумажные картины, коробочки и пр. и пр.; ынгорозами оканчивается Маймайтчин, грязный и мрачный китайский городишко. Собственно и городом его называть нельзя, потому что в нем хотя и по несколько лет живут приезжие китайцы, но они не постоянные жители Маймайтчина, они и приезжают в него без своих жен и детей, так что в Маймайтчине никогда не бывала ни одна китайская женщина.

Почему китайцы не привозят своих семейств на русскую границу, это объясняют

двояко: одни говорят, что в силу установившегося с начала торговли обычая, китайцы не хотят нарушать его, другие находят в этом политическую причину, что будто бы китайское правительство не позволяет своим подданным вывозить на границу их семейства во избежание эмиграции, так что семейство китайца, как будто, остается в залог и гарантирует собою его возвращение на родину. Которое из двух предположений вернее, — не могу разрешить.

За ынгорозами открывается местность ровная, безлесная; вдали синеются высокие горы, едва видимые простым глазом. Дорога вьется по степи и незаметно исчезает вдали, как будто сливаясь со степью. Вот показались на дороге черные точки и высоко над ними пыль поднялась. Точки приближаются, яснее и больше делаются они и наконец превращаются в верблюдов, мерно шагающих друг за другом. По бокам у них навьючены тюки с ящиками чая, на спинах их сидят запыленные и загорелые монголы. Караван медленно двигался вперед; войдя в предместье Маймайтчина, монголы перебросились несколь-

кими словами со встречными китайцами, очевидно расспрашивая о месте фузы того, кому следовал чай, и затем длинная вереница верблюдов потянулась в ворота Маймайтчина и скрылась в главной улице.

Чай снимают со спин верблюдов следующим образом: по известному крику ямщиков-монголов верблюды опускаются на колена, на спинах их развязывают узлы, и тюки, зашитые в кошмы, сами собой падают на землю. Когда приходит в Маймайтчин чайный караван, тогда по узким улицам нет никакой возможности не только проехать, но даже и пройти пешему: везде лежат верблюды и такая остановка сообщения продолжается до того времени, пока со спин верблюдов не снимут всех ящичков и тогда уже развьюченные животные уводятся в предместье Маймайтчина.

III

Самое скучное и тяжелое время в Маймайтчине — это летние месяцы. Торговля совершенно прекращается, наступает жара, отовсюду несет воню разлагающихся нечистот; на улицах, в фузах, на площадях, везде вонь, духота и пыль. Китайцы в такие дни беспрестанно поливают свои пыльные улицы водой, мочат внутри дворов полы и тем только уменьшают действие духоты и жара. По случаю летнего затишья в торговле, китайцы бóльшую часть дня спят или дремлют, слушая, как бьются мухи, попавшиеся в фигурную башенку-ловушку. Старшие акционеры фуз, не только в летние месяцы, но и в самое горячее торговое время, спят по 18 часов в сутки, про летние месяцы и говорить нечего: положительно дрыхнут с утра до вечера и с вечера до утра. Занятий никаких нет, общественной жизни тоже, книги читать китайский купец не любит, да по правде сказать, ничего он в них для себя путного и не найдет, остается, следовательно, сон, а если сна нет, вино, наконец опиум, — надо же как-нибудь

время уколачивать. Проснется китаец от сна и принимается тянуть горячий чай без сахара и курить табак; выпьет чашек десять чаю, выкурит трубок двадцать (трубки очень маленькие, менее русского наперстка) и снова заваливается спать.

Встают китайцы летом очень рано, вскоре после восхода солнца, и пьют горячую воду, — чай пить вскоре после сна натошак считают вредным, — холодного китайцы никогда не пьют и думают, что если утром, на тощий желудок, выпить холодной воды, то можно заболеть и умереть. Немало они удивлялись, смотря на русских, пьющих холодную воду со льдом: им казалось, что вот-вот человек свалится с ног и умрет. После получаса времени, проведенного после сна за чашкой горячей воды, китайцы не знают, как уколотить время; главные пайщики фуз ходят по фузам своих знакомых, пьют чай, курят табак, и думают только о том, как бы поскорее прошло время до 10 часов утра. Летом в 10 ч. у китайцев уже готов обед, и почти девять десятых из маймайтчинских жителей после этого часа заваливаются спать. Китайские приказчики,

несмотря на то, что торговых дел нет, все-таки считают нужным по очереди уходить в торговую слободу Кяхту и посещать купеческие дома каждый день, для того, чтобы не прозевать какого-нибудь торгового дела, или не пропустить мимо ушей торговых сведений, получаемых русскими.

Идет очередной приказчик в Кяхту, лениво переступает с ноги на ногу, потому что торопиться ему некуда, — он знает, что бóльшая часть купцов выехали из Кяхты на дачи и оставили для китайцев незапертой одну комнату в доме, для того, чтобы они могла приходить в нее и дремать. Придет китаец в пустую комнату, накурится своего мелко искрошенного табаку, насыплет пеплу на пол, наплюет и уйдет в другой дом, где, также не видя хозяина, посидит, подремлет, а пожалуй даже и выспится, если не помешают ему свои же товарищи китайцы, любящие порой подшутить над своим собратом: привязать его длинную косу к стулу, спрятать фуражку, пощекотать в носу или испугать громким криком.

Иногда в пустую комнату соберется чело-

век десять-пятнадцать, — сидят, покуривают, дремлют; иной вытягивает себе под нос тоненьким фальцетом китайскую песню: «ши-чи, ши-па» — про девушку, которая шестнадцати лет оставила родительский дом и скоро забеременела. Эта песня, по крайней мере в Маймайтчине, пользуется большой популярностью и ее знает каждый китайский мальчишка.

Стоит только кому-нибудь из русских купцов объявить китайцам, что он желает купить чаю, как на другой же день зал его наполнится китайскими приказчиками, которые положительно будут осаждать купца с предложением чаю. По этому случаю русский купец и не выходит сам в комнату, назначенную в его доме для китайцев, а впускает их по одному в свой кабинет и за каждым запирает дверь. Для того, чтобы соблюдать очередь, все китайцы усаживаются на стулья, стоящие у стен комнаты, и крайний к двери кабинета, по выходе оттуда китайца, заменяет его место в кабинете; лишь только он поднялся и освободил свой стул, как сидевший с ним рядом пересядет на его место, его сосед тоже и так

все китайцы пересядут стулом ближе к двери кабинета. Точно на исповедь ходят они в комнату хозяина, и продолжается такая исповедь иногда с утра до вечера: все китайцы побывают в кабинете, а купец дела все-таки не сделал; назавтра опять та же история, и продолжается она до того времени, пока купец не выйдет из своего кабинета в зал и не скажет: — ну, господа, дело кончено, я чай выменял, больше мне не надо.

Китайцы начинают приставать, просят объяснения, у кого выменял чай, на какой товар, почему у него, а не у меня и т. д.; но купец, долго не думая, уходит и запирает дверь кабинета. Иногда, после его ухода, китайцы еще долго стоят у дверей и кричат: «отопри, тоненький слова есть», и, не дождавшись открытия дверей, уходят с бранью из дому; а завтра опять идут и опять ждут торгового дела. Летом, вообще, такие случаи редки, потому что кяхтинцы выжидают решения дела на нижегородской ярмарке; зимой же каждый день во всех купеческих домах с утра до вечера комната полна китайцами и производятся торговые сделки.

С 10 часов утра до 12 Кяхта пустеет: китайцы ушли обедать и отдыхают. Акционеры фуз после обеда спят часов по пяти, и, напившись чаю в 3 часа дня, снова дремлют с трубкой в зубах. В продолжение пяти лет моего знакомства с китайцами, я только однажды видел китайца, читавшего книгу. Это меня удивило, как явление редкое.

— Какую это ты книгу читаешь? — спросил я его, вглядываясь в непонятные для меня китайские знаки.

— Книга мудрена! Тута все писал, как подериза военна (как на войне дрались).

И китаец пустился рассказывать содержание книги; наговорил он мне множество чудес о китайском военном искусстве, о силе китайских богатырей, прославившихся в истории своими невероятными подвигами и доблестями, вроде того, например, как один богатырь размалевал себе рожу красками, сделался похож на страшного зверя, взял в руки меч и, бросившись на неприятеля, в один час истребил все его многочисленное войско.

— О, тута нама богатыри, жестоки! — добавил китаец, воодушевляясь рассказанными

подвигами. Подвиги китайских богатырей, — про которые мне пришлось слышать самодовольный, многоречивый рассказ китайца, — эти подвиги и богатыри, совершающие их, относятся не к народному эпосу, т. е. не к тому времени, в которое всякий народ, в безыскусственных словесных произведениях, поэтически выражает свой взгляд на окружающую природу; нет, рассказы, слышанные мной, составляли эпизоды из китайской истории последнего столетия и потому я считал совершенно разумным остановить разболтавшегося китайца и сказал ему:

— Все, брат, это вздор, сказки нелепые!..

— Како сказки! Тиби дураки! Тута книги государи дело, его воля спрашива, когда книга писати! — кричал китаец, размахивая книгой.

— А все-таки в книге твоей только одна чепуха.

— Тиби сам чипуха! — гневно сказал китаец и спрятал книгу в ящик.

Он долго потом сердился на меня за то, что я выказал недоверие к его книге. Вообще китайцы склонны ко лжи и часто врут так, что,

как говорится, мухи дохнут от их вранья, таково оно тошно. Например, на вопросы: — сколько верст до Урги? — китаец скажет немного-немало тысяч пять, тогда как до Урги всего 300 верст. Или, — каковы китайские пушки? — китаец скажет, что у них есть пушка, из которой если выпалить, то ядро пролетит прямо в Москау (в Москву). И как ни старайся разуверить, — ничего не сделаешь, китаец будет божиться, клясться и не сознается во лжи. Ложь их всего более развита в тех случаях, когда разговор идет о их отечестве, или при сравнении предметов русских с китайскими. Были, например, в Кяхте маневры, двигались правильные колонны войск, гремела музыка; китайцы смотрели, разинув рты, и дивились, но как только спросили их: что, хорошо? — Худа! Нама печински лучше! (У нас в Пекине лучше). — И так во всем: что бы ни показали китайцу, как бы ни заинтересовала его показанная вещь, но только стоит спросить: что, хороша?

— Худа! Нама печински лучше, — ответит китаец и отойдет от вещи: не стоит, мол, смотреть.

Грамотных между китайцами много, т. е., пожалуй, все живущие в Маймайтчине знают грамоте, но какая же это грамота: выучился китаец несколькими десятками знаков, необходимых ему в общежитии, и кроме них ничего не смыслит; для него каждая книга также темна, как и для безграмотного. Те грамотники, которые понимают печатное, могут считаться по одному на тысячу.

В летний день, от скуки и от безделья, китайцы не знают, куда деваться; обойдут все дома в Кяхте, надремлются вдоволь, а времени до вечера остается еще все-таки много. Таким образом обойдя все торговые дома в Кяхте, возвращается приказчик в фузу, ответит на вопрос сонного хозяина, что дел никаких нет, — и не находит для себя более любезного занятия, как сесть перед клеткой скворца, обучать его человеческому языку.

— Лайба хайцаба! (пожалуйста чай пить), — пищит он тоненьким голоском и с терпением, достойным лучшей участи, повторяет эту фразу тысячу раз.

Другие приказчики фузы наблюдают за уроком и помогают своему товарищу.

— Лайба хайцаба! — слышится в тысячу первый раз.

Старший хозяин фузы сидит, дремлет, лениво вслушивается в однообразный звук повторяемых слов и по сонному его лицу изредка пробегают самодовольная улыбка.

Скуластая физиономия китайца прильнула к клетке; с другой стороны такое же скуластое и смуглое лицо товарища уставилось на птицу и урок продолжается не прерываясь.

— У! Его жестоки! — объясняли китайцы мне, имевшему случай присутствовать в фузе во время урока: — которая неделя поучи, — все говори, все говори, — конец нету!

— Да бросьте вы это ученье, — охота вам! — говорил я.

— Как можно? Его поучи, — после говори буду, — хырошанки...

И опять начинается ученье-мученье.

— Лайба хайцаба! — лепечет наконец скворец, к великой радости учителей.

Все довольны, смеются, размахивают руками, даже дремлющий хозяин встает со своих нар и улыбается, глядя на скворца, вконец осоловевшего от уроков.

— У! Нама палендза (птица) очень мудрена люди. Всяка слова знает, — философа! — рассказывают потом китайцы всем своим знакомым русским и расхваливают птицу.

Главные акционеры фуз, утомившись от спанья и дремоты, иногда для разнообразия уезжают из Маймайтчина, за шесть верст, к озерам; поездка эта предполагается с целью наудить рыбы, но и там на берегу озера, с удочкой в руке, китаец покачивается из стороны в сторону от одолевающей его дремоты; солнце ярко светит и, пропекая спину рыбака, убаюкивает его на берегу.

«Нет, — думает он, — здесь неудобно, жестко, и подушек мало, и солнце печет, лучше ехать домой», — и, полусонный, он возвращается обратно в душный и пыльный Маймайтчин. Некоторые из молодых хозяев (а такие редко бывают — по большей части все старики) летом уезжают верст за 15–20 от Маймайтчина в монгольские улусы и развлекаются там в обществе монголов.

До того времени, пока не было разрешено свободной торговли, китайцы редко ездили в г. Троицкосавск (4 версты от Кяхты), потому

что отъезд этот был сопряжен с разными хлопотами: нужно было просить разрешения у своего начальника, потом у русского комиссара, объяснять причины, зачем и для чего понадобилось ехать в город, и потом уже, получив разрешение и билет на пропуск через шлагбаум, ехать, но не иначе, как только на определенное время, часа на два или на три. — Двухколесные китайские повозки тяжелы и неуклюжи, лошаки, везущие их, не имеют силы скоро бежать и вот по этой причине китайцы просят русских купцов дать экипаж и лошадей для поездки в город. Русские купцы не отказывают в этом своим соседям и они со смехом и припрыгиванием усаживаются в удобную коляску; рысистые кони мчат их по шоссейной дороге и удовольствию китайцев нет конца: точно дети хохочут и припрыгивают в экипаже, и кучера-то потреплют по плечу, и проезжему знакомому закричат, показывая на себя: — смотри-ка, мол, еду в город!..

— Ну, приятель, спасибо, — благодарят они потом русского купца, — очень спасибо! Русски лошки (лошади) очень ярова ходи (ширко

бегают)...

— Что же у вас таких нет?

— Наша печински лучше еси... Здесь только нет...

И — опять соврал: в Пекине и во всех городах, как и в Маймайтчине, китайская жизнь во всех отношениях одинакова. Сложившись раз навсегда в известные формы, она в них и остается, и никто не изъявляет желания на перемену, не изъявляет потому, что не видит и не слышит о другой жизни; а в пограничных городах, при столкновении с другими народностями, хотя иной и удивляется чему-нибудь и хотел бы завести у себя нечто подобное, но спешит скрыть свое удивление, спешит показать, что это вовсе не хорошо; что «печински лучше», да и как же можно делать какие-либо нововведения, нарушать вековые правила, да кто и позволит нарушить? Китайское правительство за этим строго смотрит. Вот посмотрим, что-то будет теперь, после того, как европейцы сломали нанкинскую фарфоровую башню...

Обычай, правило, программа до того всосались в плоть и кровь китайцев, что они не

смеют ранее известного года отрастить себе усов, бороды, не смеют, отрастивши, их сбрить, да и бритье обыкновенно производится в известное число месяца. Не смеют они, по собственному желанию, переменить зимнюю фуражку на летнюю, — каждый выжидает известный день, в который все население переменяет зимние шапки на летние; будь в этот день 30° холода, а китайцы все-таки наденут летние шапки, потому что уж так всегда водилось, зачем же нарушать обычай.

— Ну, а вот как же насчет опиума? — спросишь бывало китайца, разговорившись о их обычаях.

— Э, приятель! Тута дела особлива, тута всегда и прежде тихоньки были повози...

— Закон же вам запрещает курить опиум?

— Тута ничего: тута всегда много люди тихоньки кури была.

Следовательно, дело совсем не в законе заключается, а в том, был ли он прежде нарушаем или нет; если был, так нечего и думать, — дорожка протоптана: не я первый, не я последний. Эта логика, кажется, общечеловеческая. А между тем, курение опиума пре-

следуется китайским правительством жестоко; впрочем известно, что преследованием не всегда можно уничтожить преступление.

IV

Китайцы празднуют свой Новый год («белый месяц») по течению Луны. В ночь на Новый год они переменяют своего бога торговли, и если в течение года плохо шли дела, то сменяемого бога высекут розгами, не обращая внимания на его божеские достоинства; а нового бога с честью, при выстреле из пушек и при треске ракет, ставят на место прежнего. Ранним утром, только что начинает светать, китайцы, уже отпраздновав дома наступление нового года, идут в Кяхту и ходят по всем домам комиссионеров и купцов, поздравляя их со своим китайским праздником.

Для этого праздника китайцы сохраняют свои лучшие наряды и те из мелких торговцев, которые кое-как перебиваются изо дня в день мелочным торгом, тоже имеют на этот месяц (Новый год празднуется целый месяц) приличную и чистую одежду. Посещая рус-

ских, каждая китайская фуза дарит каждому русскому комиссионеру подарки: маленькие ящички цветочного чаю, шелковые материи, ящички китайских фруктов, хотя по большей части эти фрукты такого низкого качества, что их не всякий и есть будет.

Русские купцы встречают гостей с радушием и вместе с ними празднуют наступление китайского нового года, — так сливаются две национальности и горячий чай, разведенный наполовину ромом, приводит зачастую празднующих к взаимным поцелуям. В обмен за полученные от китайцев подарки, русские дарят их в свою очередь сукном, плисом, платками и проч.

К 11 часам утра поздравления обыкновенно оканчиваются и китайцы отправляются обратно в Маймайтчин.

В продолжение белого месяца улицы Маймайтчина украшаются разноцветными бумажными фонарями и бумажными флагами и значками разных цветов; через улицу, с одной стороны на другую, перекидываются веревки и бумажные значки, развешанные по ним, представляют всю улицу в каком-то

странном виде: точно город замаскировался в шутовской наряд и хочет рассмешить шутками своих обитателей.

Внутри фуз раскидываются широкие столы и на них расставляются всевозможные яства; двери открыты для всех проходящих: кто бы ни был, знакомый или незнакомый, бедный или богатый, — приходи, пей и ешь: китайцы поблагодарят за внимание и будут очень рады посещению. В фузах перед домашними богами стоят тоже разного рода яства и горят разноцветные свечи.

В большой маймайтчинской кумирне, перед громадными идолами, одетыми в дорогие, ярких цветов, ткани, тоже расставляются жертвы в большем количестве, чем в обыкновенное время, свеч зажигается бесчисленное множество; на улицах и в особенности на перекрестках улиц устраиваются какие-то домики вроде часовен, внутри их ставятся боги, перед ними — жертвы и множество горящих свечей. Вечером город иллюминуется и ворота для впуска и выпуска, запираемые в обыкновенное время с солнечным закатом, — в продолжение белого месяца остаются откры-

тыми часов до одиннадцати вечера.

На театре продолжают спектакли, не прерываясь с утра до вечера, и оглушающий звук труб и литавр далеко несется по узким улицам города. Во все продолжение праздника китайцы и монголы густой толпой лезут на театральную площадь, на которую выходит сцена театра. Вход, как и всегда, бесплатный.

Бедный актер, за один кирпич чая (около 60 коп.), мерзнет целый день на 30° холоде, выкрикивая, насколько есть силы, какую-нибудь историческую драму, про войну одного князя с другим. Занавеса сцена не имеет и об окончании спектакля публика узнает по тому, что актеры, не снимая своих княжеских костюмов, преспокойно садятся к столу и пьют чай, согревая руки у горячей жаровни. Зрители часто сменяются, одни уходят, не дождавшись конца, другие приходят в половине пьесы, постоят, покурят, побранятся иногда, а то, пожалуй, и подерутся между собой и уйдут, заменяемые другими, новыми зрителями.

На сцене, между тем, идет спор и смятение

великое: два князя, только что напившиеся кирпичного чаю и согревшие руки, кричат один на другого и ходят по сцене, делая невообразимо широкие шаги. По пяти воинов, представляющих собою силу — несметную рать, стоят с обеих сторон, с деревянными пиками. Князья кричат все громче, голоса их от морозу и от утомления голосовых органов делаются хриплыми, но князья не умолкают, и, крича, размахивают кнутами: размахивание кнутами дает знать, что князья не пешком ходят, а ездят на лошадях — публика может дополнить отсутствие лошадей на сцене своим воображением. За спинами у князей целые арсеналы стрел, и княжеские лица густо наклеены разного цвета красками, так что видны только одни белки глаз, которыми князья ворочают во все стороны, доказывая этим, что они очень рассержены. Музыка, тут же на сцене находящаяся, ревет, и визжит, и гудит, и из всего этого выходит что-то невообразимо дикое и нелепое.

Но вот музыка стихла, войска двинулись в путь и вместе с князьями, нестройно столпившись в узких дверях, исчезают наконец со

сцены. На сцене остаются одни музыканты. Через несколько времени из дверей выходит китаянка, якобы жена одного из князей. Скрипка пискливо начинает ныть и под ее звуки княгиня затягивает слезливую галиматью о том, что князь ее теперь сражается с неприятелем и его, пожалуй, чего доброго, могут убить. Так как за отсутствием в Маймайтчине женщин, роль княгини играет мужчина, то не очень-то нежные звуки вылетают из его остывшего на морозе горла. Поплакала-поплакала княгиня, потерла своими длинными рукавами глаза и поплелась назад, справедливо сознавая, что слезами горю не поможешь.

Сцена опять опустела, наступил антракт.

Музыканты, нисколько не стесняясь присутствием на площади публики, стали пить чай и поссорились между собой из-за чашек; не успели они выпить по чашке чаю, как на сцену торопливо вбежали воины. Музыканты поспешили схватиться за свои инструменты и снова поднялся шум и смятение великое. Победитель, — один из ссорившихся князей, — важно вошел на сцену, откинув голову

назад и выпятив вперед живот; за ним следом вошел побежденный и остановился у дверей, понутив голову. Воины притащили откуда-то стол, поставили его посреди сцены, на стол взгромоздили стул и победитель, подбрав длинные полы своего кафтана, полез на это возвышение; арсенал, висевший у него за спиной, тянул его назад и он едва мог взобраться на свой трон. Наконец забрался и сел, подпершись руками в бока. Побежденный подошел к столу и опустился на колени...

Бубны, трубы, скрипки, — все это сливается в отчаянный вой и дерет немилосердно уши. На этом оканчивается пьеса и актеры, не расседывая своих спин, садятся к столу, пьют чай и греют руки у жаровни.

Через четверть часа снова начинается спектакль и — так до ночи.

В один из дней белого месяца дзаргучей делает обед для русских купцов и чиновников. Расходов по устройству этого обеда у него, конечно, не бывает: сделает только распоряжение, чтобы купцы доставили все, что нужно для стола и покорное купечество с почтением все доставит и, пожалуй, даже, во время обеда

прислуживать будет, если только дзаргучей прикажет. На этот официальный обед русское общество приезжает все в одно время, для чего и собирается предварительно в доме кяхтинского комиссара. При въезде в Маймайтчин едущих встречает китайский маскарад, с музыкой, песнями и плясками. Маскарад этот следует впереди гостей и, проводив их до дзаргучейского дома, продолжает во дворе свои игры и пляски во время обеда; но часто бывает так, что уши, не привыкшие к диким крикам и звукам, не могут выносить их и потому русское общество просит прекратить музыкальное угощение. Костюмированных угощают со двора, а так как, по случаю праздника, они бывают достаточно нагружены водкой, то, несмотря на святость места (двор начальника!) начинают браниться с прислугой и лезут драться.

Обед продолжается иногда более четырех часов и состоит из пятидесяти и более разнообразных китайских яств, приправленных уксусом, чесноком и проч. и проч. По окончании обеда дзаргучей вместе с гостями отправляется посмотреть на игру актеров, и с на-

ступлением вечера, когда Маймайтчин иллюминуется, дзаргучей посещает некоторые более достойные его внимания фузы.

В продолжение белого месяца торговых дел между русскими и китайцами не бывает, это считается грехом, но не все ведут себя безукоризненно, — и торговые дела не прекращаются; впрочем, обмена товаров в продолжение белого месяца не бывает: все торговые обороты только заключаются на бумаге или на словах, а исполнение их откладывается до окончания праздника.

V

Каждый год в августе месяце совершается в Маймайтчине, в известный день, отправление душ китайцев, умерших в течение года. Когда бы ни умер китаец, хотя бы на другой день после отправления душ, его душа должна ждать до будущего года своего возвращения на родную сторону. Десять тысяч китайских церемоний предшествуют и сопровождают это странное отправление душ умерших в Маймайтчине китайцев. Главное основание этого обряда заключается вот в

чем: заготавливаются к этому дню столько маленьких бумажных повозок, сколько в течение года умерло китайцев в Маймайтчине. Все эти повозки, имеющие назначение везти души умерших, вывозятся в открытое поле и там, по исполнении различных обрядов и церемоний, торжественно сжигаются; дым, поднимающийся и развевающийся по воздуху, служит доказательством, что души умерших отправились в путь благополучно.

— Что, ваши умершие теперь уехали на родину? — спрашивают русские, на другой день после обряда.

— Теперь уехали, теперь уж они дома, — с уверенностью отвечают китайцы.

— Как же они дорогу найдут?

— Найдут, ничего, — вперед же сюда ехали, обратно путь знакомый, — объясняют они, ломая русские слова на китайский лад.

Насколько китайцы религиозны, — трудно сказать. Из их ламайской и буддийской сект образовалось такое множество подразделений, что китаец, кажется, совершенно запутался в этих подразделениях и сам не знает, к какой он секте принадлежит. На вопрос о ре-

лигии он всегда говорит, что это дело очень мудреное, да и не любит он об этом говорить.

— Тута бога дело, чево напрасно языка почеси! — вот его ответ на религиозные вопросы.

Однажды увидел знакомого китайца, возвратившегося в свою фузу в каком-то длинном и широком, странного покроя, халате.

— Что это ты такое надел на себя? — спросил я.

— Это халатза особлива: за бога молить ходи, — небрежно отвечал китаец, стараясь поскорее сбросить видимо неприятный ему костюм.

— Так ты в кумирню что ли ходил?

— Э! Молиться ходил, — с неудовольствием ответил китаец.

— Что же ты так небрежно об этом говоришь?

— Э! пlyingтер, тута обычай такой есть, я совсема молиться не хочу, а обычай такой, — нельзя...

И опять уважение к обычаю ставится выше всего.

Следуя этому обычаю, китаец напяливает

на плечи неприятный для него молитвенный костюм и идет в кумирню; там он, тоже по обычаю, кладет пред богами жертвы: барана, или пшена, или целого быка, смотря по состоянию и по важности того дела, которое привело его к богам; растягивается он перед идолами во всю длину своего тела и шепчет те слова, которые привык шептать во время молитвы, не вникая нисколько в их внутренний смысл. Во все продолжение его моления, духовное лицо (бонза) звонит в чугунный колокол, висящий при входе в кумирню. Окончит китаец моление и спешит поскорее в свою фузу, чтобы сбросить с себя молитвенную хламиду и в ту же минуту позабыть о своих молитвах, о кумирне и о тех богах, перед которыми он валялся распростертым на полу.

— Часто вы молитесь своим богам? — спрашиваю я.

— Зачем часто? Напрасно ходи не надо...

— Однако ж часто ли?

— Тута обычай есть. Какой время ходи надо, — ну ходи...

— А если несчастье какое, неудача в делах, нездоровье, тогда молитесь?

— Ну, тута другой дела. Тута своя воля, хочешь, ходи, — молиза, барана носи, быка. А здорова, — напрасно ходи нечего... бога не любит, когда ему мешают. Дела есть, — ходи, молиза; дела нету — не ходи...

И прекрасно: зачем же, в самом деле, понапрасну беспокоить богов.

Зимою 1858 года, во время бывшего лунного затмения, в Маймайтчине поднялся такой крик, шум, стук и звон в медные тазы, бубны и литавры, что при общем смятении забыли даже выстрелить из пушки, в знак того, что дзаргучей отходил ко сну. Да и ему, по всей вероятности, не спалось в эти минуты, потому что, по понятиям китайцев, затмение луны дело весьма крупного свойства: дракон, извольте видеть, садится на луну и хочет помешать ей светить на землю; если его не спугнуть, то он, пожалуй, останется на луне и тогда не увидишь ни одной светлой ночи, а потому китайцы и спешат принять против этого меры: самое радикальное средство — испугать его шумом, криком и стуком и потому-то китайцы так усердно хлопочут об этом; хлопоты их не пропадают понапрасну, — дракон

пугается шума и оставляет луну, удаляясь на свое место.

Землетрясения, хотя бы и довольно сильные, по понятиям китайцев, очень полезны для земли и служат предзнаменованием хорошего урожая; но когда, в 1861 году, с 30 декабря, начались в Забайкальской области страшные землетрясения и продолжались более недели, китайцы просто-таки ошалели от страха и ужаса и не знали, что делать. Бросились они сначала в главную кумирню и потащили туда на жертву баранов, но видя, что боги сами трясутся и падают от страха, — они обругали их за трусость и уже не знали, к кому обратиться за помощью...

— У! Жестоки! — говорили они впоследствии, — тута наша бога трясиза была... и бога испугался, все равно человека. У! Жестоки!..

— Что же это такое, по-вашему, было?

— Тута тоненький (хитрый) дела! — таинственно отвечали китайцы.

— Что же такое?

И объясняют китайцы, что случилось нечто необычайное: большой бог, который там высоко на небе живет, тот самый бог, у

которого все боги кумирни находятся в приказчиках, рассердился на злого духа, а так как злой дух живет под землей, то бог во гневе своем и потряс землю, для того, чтобы злой дух почувствовал его могущество и на будущее время вел себя умнее.

— От кого же вы узнали такие подробности?

— Книга такой есть.

— Какая же это книга?

— У! Книга умная, — всякое слово тамо писано...

— Кто же написал?

— Филонсофа! Учена люди. У! Книга умна! Жестоки!

Следовательно, нечего и спорить и объяснять, когда существует такая вера в умных людей философов, сочиняющих такие умные книги.

Но китайское правительство, в последнее время, вероятно не очень-то верит своим умным философам и потому распорядилось, по согласию с русским правительством, в 1861 году отправить из Пекина в Маймайтчин несколько десятков военных чиновников, для

изучения военного искусства.

Учителями их назначены были русские офицеры, присланные для этого из Петербурга. Начали они первые уроки с объяснения силы электричества и применения его к военному делу. Несмотря на то, что переводчик по два битых часа толковал им и, указывая на производимые в их присутствии опыты, объяснял, что от чего происходит, — китайцы не верили рассказам. Чтобы удостоверить их в силе электричества, инструкторы нашли необходимым показать пример на деле: поставили всех учеников в ряд, заставили их взять друг друга за руки, образовали, таким образом, непрерывную цепь и крайним дали в руки проволоки: когда электрический ток был пущен и всю эту братию мгновенно передернуло, — они бросили проволоки и уехали от своих учителей, говоря, что не имеют ровно никакого желания иметь дело с нечистой силой.

Начались потом длинные переговоры и едва-едва могли уговорить перетрусивших китайцев продолжать учение.

Это учение, как известно, продолжалось

только около двух месяцев и было прервано тем, что англичане, желая покрепче оседлать китайцев, предложили их правительству бесплатное обучение войска в Тяньдзине. Ученики были весьма рады поскорее уехать из Маймайтчина, потому что их, жителей южного Китая, сибирские морозы пробирали порядочно. Вслед за ними было отправлено оружие и пушки, обещанные русским посланником при заключении тяньдзинского трактата.

Дзаргучей успел и тут нагреть себе руки: инструкторы объяснили, что пушки нужно везти на других колесах, сделанных в размер колеи монгольских дорог, иначе — могут испортиться колеса и в Китае таких не сделать. Дзаргучей официально отвечал полным согласием, но колес не сделал, а отправил пушки на тех же колесах, на которых их получил; между тем в его отчете по отправке орудий был выставлен расход на колеса; это мошенничество было случайно открыто и о нем донесли в Пекин. Не знаю, чем покончил дзаргучей за эту штуку. Может быть заплатил хороший куш большим чиновникам, а может быть, разорившись на уплату за взятки взят-

ками, не имел средств заплатить, по приговору суда, должный штраф и попался под удары бамбука: в Китае чинов не разбирают, есть деньги — откупайся, плати штраф, нет — вздуют так, как и простого земледельца.

Кроме штуцеров и пушек к китайцам отправили, в подарок, маленький телеграфный аппарат и химические весы, — кто знает, какое применение сделают они из этих двух вещей; всего скорее случится то, что, в силу китайской бережливости, поставят они и весы, и телеграфный аппарат куда-нибудь повыше в шкаф, чтобы руками не хватать, и будут издали посматривать на подаренные русскими диковинки.

Вообще говоря, аккуратность и бережливость китайцев изумительна. Носит он свой костюм по пяти и более лет; появление на его плечах нового платья составляет чуть ли не эпоху в его жизни. Случится, например, несчастье, — умрет родственник, нужно траурный костюм надеть: поморщится китаец, покупая себе черный халат, белый кушак, белые сапоги и по окончании траура спрячет все это в сундук, думая, дескать кто знает, по-

жалуй опять там какой-нибудь дальний родственник богу душу отдаст, так пригодится, чем покупать новый траурный костюм.

Траур у них соблюдается строго и называют они его по-русски: «печали поноси». Если умирает близкий родственник, то траур бывает продолжительнее и иногда тянется более года; если умирает отец или мать, то китаец перестает брить волосы на голове; нашивает на верх шапки, вместо красных кистей, белую заплатку и во время продолжения траура голова его обрастает длинными волосами. Иногда бедный китаец не имеет средств, чтобы купить себе траурный костюм, тогда приобретает его напрокат и охраняет самым тщательным образом из опасения не заплатить штрафа за повреждение.

Бережливость и расчетливость китайцев характеризуется следующим случаем.

Один русский купец подарил китайцу, главному хозяину фузы, четыре жестяных коробки со спичками и объяснил при этом, что каждая коробочка имеет в себе по пятьсот спичек. Китаец очень благодарил за подарок, потому что у них нет деревянных спичек, а есть

только бумажные, которые зажигаются от угля. Ушел он весьма довольный подарком, но часа через три возвратился к купцу и с укоризной начал выговаривать, что так дарить нехорошо, что обманывать грешно и проч. и проч.

— Что ты мне наговариваешь? Разве я тебя чем обманул? — спрашивал удивленный купец.

— Как же не обманул? Говорил то, а вышло другое...

— Да чем? Когда?

— А спичками-то: говорил, что в каждой коробке по пятьсот спичек, а их меньше, — целой сотни недостает.

— Так ты их пересчитывал, что ли? — едва мог спросить купец, надрываясь от хохота.

— Чево напрасно смеешься? Три раза посчитал, — с отчаянием говорил китаец, — три раза проверил, все нету, целенький сотня недостани.

И этим пересчитыванием спичек занимался не приказчик какой-нибудь, получающий в год сто рублей серебром жалованья, а главный акционер фузы, на долю которого доста-

валось, может быть, тысяч пять-шесть рублей годового дохода.

VI

Каждый приказчик китайской торговой фузы с каждым годом возвышается в своих должностях, смотря по своим заслугам и поведению. Перейдя от низших должностей к высшим, а именно, к продаже и покупке товаров, приказчик, бывший до того времени на жалованье, получает уже некоторую долю прибыли от годовых оборотов торговой фузы. Жалованье приказчики получают весьма ограниченное, так что, на наши деньги, в год будет не более 150 и 200 р. сер. Большой суммы приказчики никогда не получают, а именно потому, что имеют возможность увеличить свои доходы от годовой прибыли фузы. В продолжение моей пятилетней жизни на китайской границе многие из моих знакомых китайцев из простых приказчиков сделались акционерами фузы, за свои заслуги, принесенные торговому делу.

У китайцев женятся рано и потому большая часть живущих в Маймайтчине лю-

ди семейные, семейства которых живут на родине, — мужья посылают им свое скудное жалованье, а сами истрачивают не более десятой части из получаемого вознаграждения. Редкий случай видеть китайца нерасчетливого, не берегущего денег, а еще реже услышать о каком-нибудь китайце, который не посылает домой денег, получаемых им в Кяхте. Не знаю, насколько сильна любовь детей к отцу, в каком отношении находятся одни к другим члены китайской семьи; но уважение к старости между китайцами чрезвычайно развито и мне часто случалось видеть, как молодые, богатые люди, при виде идущего мимо них старика, вставали со своих мест и приветствовали его; а старик этот, между тем, был не более, как мелочной торговец, перебивавшийся изо дня в день продажей мороженых яблок, винограда и проч.

Чинопочитание между старшими и младшими приказчиками фузы доведено до того, что когда в фузе остается только два младших приказчика, то старший из них пользуется тем же уважением, каким пользовался хозяин, когда был дома. Если хозяина нет в фузе,

то его место занимает старший приказчик; если и его нет, то его место заменяет другой приказчик, стоящий степенью ниже первого; если, например, он встанет со стула в то время, когда остальные приказчики сидят на своих местах, то они все поднимутся со своих мест и не сядут на них до того времени, пока не сядет вставший или не прикажет им сесть. В присутствии хозяина в особенности строго соблюдаются эти церемонии; по уходе его, хотя тоже никто их не нарушает, но все делается как-то свободнее, вольнее.

Когда приказчик фузы отправляется в гости, то его провожают с различными церемониями, а также устраивают не менее официальную встречу при его возвращении, хотя бы он возвращался порядочно выпивши. Ко времени его прихода домой все приказчики фузы усаживаются на свои места: бывший в гостях входит в фузу, поднимает обе руки кверху и подходит в таком положении к шкафику, в котором стоят боги — домашние пенаты; отдав им подобающую честь, он кланяется сидящим, те, в свою очередь, тоже поднимают руки кверху и опускают их вниз, не сти-

бая в локтях. Такое поднимание и опускание рук делается несколько раз; вся церемония происходит молча и затем уже, по окончании ее, пришедший рассказывает товарищам о своих похождениях. Случается так, что возвратившийся с обеда едва в состоянии окончить церемонию возвращения, и то только благодаря тому, что она совершается молча, иначе он бы ее не выполнил, ибо язык его не может произносить членораздельных звуков, а только заплетается между зубами, и вместо известий о том, каков был обед, товарищи слышат от возвратившегося только одно мычание. Такое послеобеденное состояние не считается предосудительным.

Вообще же встретить между китайцами завязатого пьяницу, да еще буяна какого-нибудь — такая же редкость, как у нас встретить на улице мертвое тело. Точно так же, говорят, в южном Китае легко встретить у городских ворот умирающего с голоду, как у нас на улице пьяного буяна. В Маймайтчине существует всего только один кабачок с продажей ханьшина (рисовой водки); в этом кабачке всего чаще бывают русские рабочие, охотники до

китайского теплого вина. Выпьют рабочие и уж непременно затеют с китайцами ссору: «потому, что ты, теперич-ка, все равно пар, души в тебе настоящей нет и молишься ты деревянным идолам». Китайцы из-за религиозных вопросов ссоры не поднимут, а обидеть себя понапрасну не дадут, а потому ссора часто оканчивается дракой; а так как русские сильнее и ловчее китайцев, то и победа остается на стороне первых, хотя лица этих первых, после битвы с китайцами, оказываются исцарапанными до крови. До судебного разбирательства дело редко доходит, из боязни судебных издержек...

Приказчик китайской фузы, получивший отказ от должности, если не находит достаточных причин к этому отказу, может искать суда у торговых старшин. Эти торговые старшины в Маймайтчине каждый год выбираются самим торговым обществом из своей среды; выбираются всегда десять старшин и на них лежит обязанность наблюдать за правильностью торговых дел; к ним обращаются для разрешения спорных вопросов. К ним может обратиться и приказчик, получивший от-

каз от места.

Эта апелляция к торговым старшинам очень важна для приказчика, потому что, если отказ его хозяина не имеет уважительных причин, то старшины или уговорят его хозяина взять приказчика назад, или дадут ему от себя удостоверение, что он перед хозяином своим ни в чем не виноват. С этим удостоверением приказчик всегда найдет себе место в другой торговой фузе. Если же отказ от службы имеет какую-нибудь уважительную причину, то приказчику бывает весьма трудно найти себе другое место: он должен или уехать на родину, или поселиться в предместье ынгороза и заняться какой-нибудь мелочной торговлей. Случаи такого рода бывают очень часто, но замечательный, по своей трагической развязке, факт, совершившийся в 1850 году, бросает яркий свет, как на китайскую жизнь вообще, так и на положение приказчика торговой фузы. Расскажем этот факт с некоторыми, незначительными, подробностями.

Одна маймайтчинская торговая фуза отказала, почему-то, своему приказчику от места.

Приказчик, не считая себя виновным, тотчас же отправился к торговым старшинам искать себе защиты в их правосудии.

Старшины собрались у хозяина фузы и началось разбирательство дела. Сначала говорил обвинитель, отказавший от места своему приказчику. Старшины молча слушали и покуривали, по обыкновению, из своих маленьких трубочек. Хозяин закончил свои обвинения. Приказчик, во все время его речи молча стоявший посреди фузы, начал говорить в свое оправдание и доказывать свою невиновность. (Дело было очень сложное и запутанное, известно только, что в основании его был факт вот какой: от одного русского купца была выменена на чай партия горностаев, приказчик, принимавший эту партию, ошибочно или умышленно, принял несколько десятков шкур фальшивого горностаея). Долго говорил приказчик, горячо размахивая руками и захлебываясь от торопливости речи. Старшины слушали молча.

Приказчик, наконец, окончил свою защитительную речь.

Старшины, видимо, затруднились решить

дело. Начался спор и в тихой до того времени
фузе поднялся ужасный шум. Кричал хозяин,
кричали старшины, кричал сначала и обви-
ненный приказчик; но потом он, видя, что его
поле сражения все более проигрывается, пе-
ременил тактику и стал просить у хозяина
пощады, не ради его, а ради старых его роди-
телей и малых детей. Хозяин не изменил сво-
его решения; старшины же не оправдали при-
казчика и не обвинили хозяина: вопрос, как
видит читатель, остался неразрешенным. Та-
кое окончание дела нисколько не улучшает
положения приказчика, потому что другой
хозяин затруднится принять его на службу,
зная о темном деле. Оставалось приказчику
одно — вымаливать себе у хозяина милости:
он долго кланялся ему в ноги, стучался голо-
вой о пол, плакал, рыдал... Но потеряв надеж-
ду на милость хозяина, он в виду всех присут-
ствовавших схватил со стола нож, распорол
себе живот и, свалившись на пол, в пред-
смертных судорогах начал выдергивать из се-
бя кишки...

Это — мщение китаецца за обиду!

Это самое страшное мщение, какое только

мог он сделать, потому что он, во-первых, отнимал этим счастье у фузы и клал на нее дурную тень; во-вторых, — подвергал своего хозяина неизбежному суду и страшным последствиям этого суда: китайские чиновники, заслышав о таком событии, целого быка перед идолами положат, потому что такой счастливый случай дает им возможность содрать с хозяина фузы хорошую взятку.

Случилось мне слышать еще о нескольких несчастных случаях, бывших при торговых сношениях китайцев с русскими: два или три главных акционера каких-то китайских торговых фирм покончили свою жизнь самоубийством. Причиной этих несчастных случаев была неуплата русскими купцами долгов китайцам. Так как по прежнему трактату кредит между русскими и китайцами не дозволялся, то китайцы, лишенные возможности искать своих прав законным образом, не находили себе другого исхода, как только распороть свои желудки. В этом случае не жажда к деньгам и не скорбь по ним была поводом к самоубийству, а то, что, вследствие неуплаты долга русскими, китайцы не могли оправдать

своего кредита: дела фузы рушились и на головы акционеров падали все последствия банкротства. Конечно и теперь, при новом трактате, позволяющем кредит, возможна несостоятельность, а вместе с нею и неуплата долгов, но теперь китайцам может служить утешением то, что все делается «на законном основании».

Впрочем, в последнее время китайцы стали очень осторожны и большого кредита русским не делают.

VII

Теперь Маймайтчин опустел и больше никогда ему не оживиться, хотя наши торговые дела с Китаем и развились. Маймайтчин — это наше прошлое и, как всякое прошлое, невозвратен: дела с Китаем, в таком виде, в каком они были в Кяхте, более не повторятся, потому что и отношения наши с Китаем теперь другие и купечество наше стало умнее и сообразительнее, чем прежде.

Но, начав нашу статью историческим очерком развития торговли, мы и окончим ее последовательным рассказом о падении Май-

майтчина.

Во время перевода таможни в Иркутск был разрешен впуск кантонского чая через петербургскую таможню. Русские купцы, получив сбавку пошлины на чай, сначала были довольны и надеялись на то, что будут в состоянии конкурировать с чаями, привозимыми в Россию морем. Китайцы, глядя на них, тоже потирали себе руки и ждали большого развития торговли. Но немного прошло времени, и на Кяхте вместо восторга была скорбь и стелание великое, китайцы крепко призадумались: во многих фузах были большие запасы чаев, которых продать было некому, потому что Нижегородская ярмарка огрела кяхтинцев и их доверителей двадцатью рублями убытка на каждый ящик чаю. Дела многих китайских фуз пошатнулись, чай пришлось продать в убыток, кредит они свой внутри Китая оправдать к сроку не могли, — ну, словом, все пошло врозь. Так мало-помалу, в продолжение некоторого времени, китайцы вытряхивали из карманов часть барышей, приобретенных ими во время векового существования торговли. Они, хотя и находились в пе-

чальном положении, но все-таки не унывали, потому что надеялись на поправление дел в будущем: «перемелется, мол, все мука будет». Дело между тем перемололось действительно и муки для китайцев не вышло, а вышло то, что вследствие договора тяньдзинского, мы, русские, получили право ездить внутрь Китая и производить там торговлю.

Это было для маймайтчинских китайцев страшным ударом.

Несмотря на всевозможные хитрости и препятствия, которые они устраивали для того, чтобы помешать водворению русских внутри Китая, но все-таки не могли помешать этому, и русские караваны двинулись в неведомый до того времени Китай.

Маймайтчинские торговцы стали посылать гонцов к своим главным акционерам в Калган и Сань-син, писали им об опасности, которой подвергается маймайтчинское дело, и предлагали свои советы. Те, в свою очередь, хлопотали перед главными начальниками в Пекине и предлагали взятки за то, чтобы не позволять русским ездить с товарами внутрь страны. Чиновники брали деньги, притесня-

ли сначала русских, как только могли и как умели, но не могли открыто действовать и остановить движения караванов. В продолжение трех лет русские до того ознакомились с Китаем, что образовали там свои постоянные конторы.

Маймайтчинские китайцы совсем упали духом. Стали они понемногу выбираться из Маймайтчина, предчувствуя невозможность вести дело по-прежнему.

А по-прежнему дела идти не могли по следующим причинам:

С разрешением проезда внутрь Китая русским открылась возможность знать, какая цена существует на чай на месте его приготовления, какие цены на китайских рынках русским товарам, какие в Китае пошлины и сколько расходуется на провоз чая из Китая до русской границы. До открытия свободной торговли никто из русских не имел этих сведений, да никто о них и не заботился. Духовная пекинская миссия занималась своими делами в Пекине; кроме миссии никто не мог доставить какие-либо сведения о китайских торговых делах, а миссию об этом не просили,

да, конечно, никому и в голову не приходило мысли разузнавать о китайских торговых делах, благо кяхтинская торговля шла хорошо, давала большие барыши, оставалось только радоваться, задавать лукулловские обеды и сидеть сложа руки.

Во время продолжения докараванной торговли, китайцы очень хорошо знали о полном неведении русских относительно состояния торговли внутри Китая и старались, насколько было возможно, обращать это неведение в свою пользу. Получались, например, ими торговые сведения из Китая, они не обнародовали их до вечера, то есть до того времени, пока все китайцы не возвратятся из Кяхты в Маймайтчин и потом уже, заперши ворота, делали общее собрание, на котором сообща решали, как вести себя в отношении к русским, в каком смысле передавать им те или другие новости о торговых делах в Китае, чтобы не повредить своим интересам, и действовали в этом случае с редким единодушием.

Иногда даже нарочно они выдавали ложные сведения за истину, говоря, например, о

возвышении цен на чай в Калгане, или все в одно время начинали говорить об упадке цен на русские товары внутри Китая, или о понижении курса на серебро и золото.

Проверять эти сведения было конечно невозможно, оставалось верить на слово китайским рассказам!

Русские купцы, в свою очередь, не могли противостоять китайской хитрости, потому что никогда не умели сохранить в секрете получаемых из России сведений и, по свойственной русскому человеку откровенности, на другой же день рассказывали все китайцам. Китайцы, кроме того, что знали о русской откровенности, всегда старались разузнавать о русских делах подробнее, через русских приказчиков и наконец сами вслушивались в разговоры купцов между собою, притворяясь непонимающими русского разговора.

Впрочем, невозможности скрыть получаемые сведения были и другие причины: русские купцы сознавали, что удерживать в секрете получаемые сведения бесполезно, потому что нет никакой возможности действо-

вать всем единодушно. Из всего торгового кяхтинского населения было не более трех-четырёх торговых домов, которые вели свои собственные дела, а остальные все были комиссионеры, обязанные по своей должности исполнять без рассуждений приказания своих доверителей; доверители же жили внутри России и не знали хода кяхтинских дел в данное время. Напишет, например, доверитель в Кяхту, чтобы променять такие-то и такие-то товары на известный сорт чая по существующим ценам и отправить чай, непременно на такой-то месяц, в Москву или Нижегородскую ярмарку. Где же тут возможность соображаться с ходом дел и выдерживать цены? Есть ли какая-нибудь возможность противостоять единодушному действию китайцев в торговом деле?

В Кяхте до сего времени сохранились рассказы про разные торговые проделки китайцев.

Узнавали они, например, что такого-то товару получено русскими незначительное количество, товар привезен в Кяхту в первый раз в виде опыта, — и вот начинали китайцы

усердно выменивать его на чай, давая хорошую цену. Русские купцы, променяв выгодно товар, писали своим доверителям, что товар китайцам понравился и есть надежда на хороший сбыт его в будущем. Доверители, основываясь на полученных сведениях, посылали товар в большем количестве; получался он на следующий год в Кяхте, но китайцы наотрез от него отказывались.

— Почему же вы его не берете? — спрашивали удивленные комиссионеры.

— Потому что не нужно.

— Да вы же брали его охотно в прошлом году.

— Да, брали! Нужно было — потому и брали!

— Почему же теперь не хотите брать?

— Потому что больше не нужно. В Китае он теперь не требуется...

Комиссионеры вздыхали, жалели, что много выписали этого товару, а горю помочь не могли.

Товар складывали в пакгауз гостиного двора, лежал он там год, другой, третий; китайцы предлагали за него половину той цены, за ко-

тору он был куплен русскими. Комиссионеры писали своим доверителям о прекращении требования на этот товар и получали разрешение сбыть его с рук почем ни попало: что же делать, — не везти же его назад в Москву за 6500 верст.

Обмен совершался. Китайцы задавали русским обед, откармливали их своими разнообразными яствами, крысьим и собачьим мясом, угощали горячим вином — «майгулу» и были очень довольны, что дешево выменяли хороший товар.

Такие случаи бывали нередко и исключения не составляют, никто только не замечал этого в свое время, но вот пришло другое время — и все рушилось. Китайцы, несмотря на то, что всеми силами старались мешать русским в изучении Китая, несмотря на то, что их правительство не позволяло ни одному из своих подданных ехать на границу без знания русского разговорного языка, чтобы не дать русским возможности изучать китайский язык, — русские все-таки пробрались в Китай и хотя плоховато, но тем не менее настойчиво ведут свои дела внутри Китая. Кях-

тинское училище китайского языка не принесло, конечно, никакой пользы, и русским, уехавшим в Китай, приходится изучать китайский язык на месте.

В то же время, когда русские караваны двинулись внутрь Китая, некоторые из небогатых китайцев стали пробираться в наши владения. Сначала они свободнее и чаще стали ездить в Троицкосавск, потом даже стали возить туда свои товары, чай, сахар-леденец и проч. За ними следом потянулись мелочники из предместья ынгоро́за и стали оглашать улицы русского города своими непонятными криками — обло! обло! (яблоки). Через несколько времени китаец в городе Троицкосавске построил харчевню и поселился в ней на постоянное жительство.

Китайцы покороче познакомились с русскими женщинами известного поведения и, по всему вероятию, в Забайкальской области скоро появится новый смешанный тип.

Через год несколько китайцев добрались до Иркутска, открыли там магазин с чаями и шелковыми материями, завели китайский трактир, довольно грязенький и плохонь-

кий. Впрочем, дела их идут в денежном отношении не очень плохо и вероятно в таком же состоянии будут продолжаться. Маймайтчин из рынка, снабжавшего чаями всю Россию, превратился в рынок, с которого чай расходуется только по Забайкалью и Восточной Сибири; в Западной Сибири он уже встречается с чаем кантонским и не может с ним конкурировать — кантонский стоит дешевле.

В последнюю мою поездку в Сибирь я встретил знакомых китайцев в иркутской таможне.

Восторгам и радости не было конца.

— Митер! Митер!

— Стара плиятер!

— Э!

— Како пожива!

— Плиятер!

— Э!.. Джо та на! (Вот как!).

— Плиятер! Сердечна! Э!..

— Митер!.. Э!..

Чуть не плачут — обрадовались.

— Ну как ваши дела идут?

— Худа!.. Како можно.

— Прежни времи маймайтчински хыро-

шанки были!

— Теперь худа!

Погоревали о делах и разговор перешел на г. Иркутск.

— Ну как он вам нравится?

— Печински лучше...

— А телеграф-то? У вас в Пекине телеграфа нет.

— Э! Тута черта дела.

— Нама за черта пlyingтер нету...

На другой день они явились в мою квартиру.

— Здрасту, Митер!

— Стара пlyingтер!

После обычных приветствий, расспросов о здоровье, погоревали китайцы о Маймайтчине и потом попросили меня написать для них депешу, которую они хотели отправить в Кяхту к одному из русских комиссионеров, с передачею в Маймайтчин.

— Как же вы хотите посылать депешу по телеграфу, когда он по-вашему есть дело чертово?

— Э, нужды нету! Ты пиши. Нама чай фамильный сюда надо. Пиши.

— Тута ярова почта (телеграф), мы сами отдаем...

Зная расчетливость китайцев, я спросил, известно ли им, сколько стоит посылка депеши из Иркутска в Кяхту.

— Нет, неизвестна.

— То-то, смотрите. Телеграмма стоит не дешево.

— А сколько примерна? — спросили старые знакомые, наострив уши.

— Полтора рубля.

— Како можно такой слова? — закричали китайцы и от удивления привскочили на своих местах.

— Джо! (Ах!) Какой цена! — кричали они, широко раскрыв свои черные глаза. — Чево напрасна? Тута дела легоньки, только мало-мало постукать — полтора рубля!

— Жестоки!..

— Да ты, Митер, я подумай, врешь?

— Правда. Зачем мне врать?

— Яй боха (Ей богу)?

— Зачем божиться, говорю — правда.

Китайцы задумались, но однако порешили послать депешу.

Это было мое последнее свидание с китайцами.

Из последних известий, полученных с китайской границы, мы знаем, что Кяхтинская торговая слобода почта вся сгорела, сгорела и часть Маймайтчина; но нынешняя Нижегородская ярмарка дала значительную пользу на кяхтинский чай и это заставляет нас остановиться в произнесении приговора о невозможности существования Кяхты. Самые последние известия, полученные по прошествии нескольких месяцев со дня пожара, истребившего Кяхту, знакомят нас уже не с обгорелыми пепелищами кяхтинских торговых домов, а с новою планировкой улиц, с планами будущих зданий, которые предполагается построить из кирпича и камня, а не из дерева, как это было прежде.

Следовательно, нельзя заранее сказать, что ожидает нашу чайную торговлю и в какие отношения станем мы к нашим соседям китайцам. Прежнего Маймайтчина конечно уже не будет, такой пользы на чай, какую прежде драли с нас китайцы, конечно им не

получить; да и наши купцы тоже должны проститься с прежними громадными барышами, но чайная торговля с Китаем может принять большие размеры, только не на границе, а внутри Китая. Следовательно, наша старуха Кяхта может снова помолодеть, сделавшись главным складочным пунктом, через который неминуемо должны проходить товары в Китай и из Китая. Можно надеяться, что горькие последствия ошибок прежних лет послужат хорошим уроком нашему купечеству.

От Кяхты до Благовещенска

I

Путь из Кяхты на Амур заставляет нас вернуться несколько назад. Мы снова на той дороге, по которой ехали в Кяхту. Опять перед нами бедный город Селенгинск, степная, лишенная видов дорога; снова бурятская кумирня, одиноко стоящая посреди безлюдной степи, наводит нас на прежние впечатления.

При проезде в Кяхту, мы своротили с почтовой дороги за 20 верст от г. Верхнеудинска. Теперь нам нельзя миновать этот город и потому мы должны сказать о нем несколько слов.

Верхнеудинск ничем не замечательнее Селенгинска, разве только тем, что стоит он при р. Селенге, тогда как Селенгинск отстоит от реки этого имени на несколько верст; впрочем, так называемый старый Селенгинск стоит тоже на берегу реки, но только в нем (т. е. в старом городе) осталось очень мало жителей, потому что бóльшая часть из них пересе-

лилась на новое место.

Население Верхнеудинска значительно более, чем население Селенгинска. Первый имеет хотя какую-нибудь будущность, потому что с того времени, как открылся путь на Амур, город этот начинает несколько оживляться: то обозы тянутся через него, то проезжающие едут. Селенгинск же не имеет никакой будущности, и с того времени, как чайная торговля на Кяхте ослабела, этот городишко окончательно пустеет. Что же еще сказать о Верхнеудинске? Да более и сказать о нем нечего, даже и почтмейстера, подобного селенгинскому, в Верхнеудинске не оказалось, т. е. пожалуй, почтмейстер-то и есть, но он политикой совсем не занимается и думает только о том, как бы доказать проезжающему, что лошади все в разгоне...

В Верхнеудинске бывает ярмарка, на которую съезжаются торговцы со всего Забайкалья. Начало этой ярмарки в январе; но случается так, что Байкал замерзает позднее обыкновенного и товары, следующие из Иркутска, приходят на ярмарку после ярмарки. Таким образом ярмарка оказывается без многих то-

варов; но это нисколько не вредит делу: купцы, опоздавшие на ярмарку, вносят гильдейские деньги и открывают свои лавки. Со стороны купцов было ходатайство о том, чтобы время, назначенное для Верхнеудинской ярмарки, изменили и вместо января назначили ее в феврале. По всей вероятности это ходатайство теперь уважено.

Из Верхнеудинска путь идет по Бурятской степи до г. Читы (на расстоянии более 500 верст). По этой степи кочуют буряты, обладающие громадными стадами баранов и бесчисленными табунами лошадей. Селения очень редки; реки от почтового тракта далеко; ключи, орошающие степь, встречаются довольно часто, вода в них мягкая, светлая и холодная.

Чита — город без жителей; в нем не более тысячи человек всего населения. Этот город, вероятно, скоро заселится, потому что с открытием свободы золотопромышленности, открывается обширное поле деятельности для частных лиц. От воспоминаний о Чите всего более остается в памяти песок; самый город представляется мне теперь какой-то необыкновенной массой песку, — песок вез-

де: при въезде, внутри города, в квартирах и при выезде — все песок, и поэтому Читу справедливо называют песчаным городом.

Из Читы в Нерчинск дорога гористая и сколько верст, столько подъемов и спусков по горам (расстояние 300 верст). Добраться от Читы до Нерчинска — подвиг; но зато зимняя дорога превосходна: путь по горам остается в стороне, а едут по льду реки Ингоды, которая называется Шилкой при слиянии своем с р. Ононом.

Наконец мы в Нерчинске.

Нерчинск лучше и многолюднее Читы. Стоит он при р. Нерче, впадающей в р. Шилку; эта р. Шилка (т. е. Онон, соединившийся с Ингодой) имеет в своем округе много горных заводов, для проплавки серебра и свинца.

От Нерчинска нам оставалось всего сто верст пути до станицы Сретенской, где мы могли расстаться с экипажем и пересесть на пароход.

В станице Сретенской мы прожили с 25 апреля по 1 мая, в ожидании пока очистится река Шилка ото льда. Почти все избушки казаков были заняты проезжающими на Амур и

потому, волей-неволей, приходилось платить по рублю в сутки за помещение в дымной, вонючей и тесной избушке. Хотя в станице Средненской есть гостиница, но она была задолго до нашего приезда набита проезжающими.

Немноголюдная, бедненькая станица в это время приняла какой-то суетливый характер, — по грязным улицам с утра до вечера торопливо сновали фигуры офицеров и чиновников: в это время жил в станице генерал-губернатор, в ожидании пути на Амур, и его присутствием объяснялась эта суетливая беготня по улицам. Вообще же преобладающий элемент был на стороне военных и гражданских чинов, частные лица как-то ступшевывались в массе эполет и светлых пуговиц. Чем более очищалась река Шилка ото льда, тем суетливее делалось в станице, торопливее ходили соскучившиеся от ожидания проезжающие и хлопотали о получении билетов для проезда на казенном пароходе.

Начальство предполагало отправить два парохода. На одном отправлялся генерал-губернатор, а другой назначили для частных пассажиров. Мест оказалось мало и опоздав-

шие достать билеты должны были дожидаться неделю или две до следующего парохода; некоторые с горечью на сердце выпрашивали себе места на купеческих баржах, отправлявшихся с товарами на Амур.

Первого мая река совершенно очистилась ото льда и вслед за ним тронулся первый пароход, на котором поехал генерал-губернатор со своим штатом. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы на том пароходе, на котором изволил отправиться его высокопревосходительство, — могли быть частные пассажиры... Через несколько часов и мы отправились в путь. По Шилке мы проплыли превосходно, но у станицы Покровской, при слиянии Шилки с Аргунью[15], нас встретил аргуньский лед и отчасти задержал наше плавание. У этой станицы мы догнали тот пароход, на котором плыл генерал-губернатор. Несмотря на то, что этот пароход уже снова отправился в путь, — мы остановились у берега: это сделано было для того, чтобы дать время губернаторскому пароходу уйти подальше, так как наш пароход был гораздо быстрее на ходу, а обгонять начальство и уйти вперед ка-

питан не решился...

Путешествие до Благовещенска не представляло ничего замечательного, кроме пустынности и малого заселения берегов. Более или менее похожие одна на другую станицы поочередно сменялись, оставляя по себе воспоминание своим казенным видом, одинаковым и всегда большим расстоянием одной избенки от другой и отсутствием прочной оседлости. На пути от Сретенской станицы до г. Благовещенска всего две-три станицы более других населены и, видимо, их экономическое положение лучше. Албазинская станица, например, смотрится настоящим русским селом: раскинулась она на высоком берегу, на месте прежнего города Албазина; деревянная, весьма порядочного размера церковь построена на первом плане, на самом возвышенном месте, вблизи окопов прежнего города. Кроме Албазинской станицы, только одна станица Черняева имеет нечто напоминающее об оседлости; в ней тоже во время нашего проезда строилась церковь; а остальные станицы, как я сказал выше, сливаются в общую массу казенных поселений, плохо устроенных и за-

частую не на месте поставленных...

На пятый день пути, подплывая к Благовещенску, мы опять догнали пароход, на котором ехал генерал-губернатор, и, таким образом, подошли к берегу в одно время с пароходом начальника края. На берегу теснилась небольшая толпа любопытных, палили пушки, народ ждал выхода на берег генерал-губернатора... Лишь только пароход остановился против губернаторского дома и начальник края вышел на берег, как толпа закричала: «Ура!». Генерал-губернатор сделал толпе под козырек и отправился, вместе с благовещенским губернатором, в коляске, осматривать молодой город.

Наконец пришла и наша очередь пристать в берегу. Вышли мы, стали осматриваться кругом, отыскивая глазами извозчиков, но не видели ничего подобного им. Таким образом, первое впечатление было самое невыгодное для г. Благовещенска.

Стали мы наводить справки и оказалось, что в Благовещенске об извозчиках, конечно, никогда не было и помину; на берег, для перевозки багажа, явилась только одна телега. Я

пошел отыскивать сначала пристанище и попал на квартиру к одному чиновнику. Возвратившись к пароходу, я увидел весь берег преобразившимся: на расстоянии сажен ста лежали груды чемоданов, подушек, узелков, картонов и всякой дорожной всячины, ожидающей перевозки с берега на квартиры. Одинокая телега, принадлежавшая, как оказалось, переселенцу молокану[16], уже совершила несколько переездов от парохода в пустынные улицы города и обратно. Только что она возвращалась к пароходу, как ее снова заваливали снизу доверху багажом и усталая лошадь снова плелась по пустынным улицам молодого города. Перед окончанием перевозки явилась на выручку какая-то колесница, служившая для перевозки бревен, и таким образом способ передвижения улучшился. С грехом пополам наконец дошла очередь и до моего багажа и кое-как я перебрался на квартиру.

Жена чиновника, моего квартирного хозяина, просила извинения, что не успела в мое отсутствие привести в порядок комнаты: на полу, на столе и на окнах валялись кусочки

лент, обрывки кружев и разные принадлежности дамского туалета. Оказалось, что хаос происходил от предстоящего бала: в городе заранее знали, что начальник края должен быть на первом пароходе, и бал, в ожидании его приезда, был, как говорится, на чику[17], — в день нашего приезда он и устроился. Перед вечером муж чиновницы принарядился в полную форму, пригладился и принял праздничный вид; только одно не гармонировало в его фигуре с общим праздничным видом — это тревожные и частые посматривания в окно на небо.

— Что это вы так тревожно посматриваете в окно? — спросил я, занятый его озабоченностью.

— Видите, в чем вся суть, — отвечал чиновник, — нам с женой непременно нужно быть сегодня на бале, нельзя — служба: бал дается в честь главного начальника края и манкировать таким приглашением конечно никак невозможно.

— Ну так что же тут общего с вашим беспокойством?

— Да вот небо что-то хмурится, как бы

дождь не прыснул; извозчиков ведь у вас нет, а явиться на бал мокрым опять нехорошо...

— Жаль мне вас!

— Что делать, — нельзя!..

Через несколько времени чиновник с супругой отправились на бал пешком, и так как туча действительно подвигалась, то они и спешили скорым шагом, не переставая ежеминутно посматривать на небо и вероятно подумывали, какую-то Бог даст погоду на обратный путь.

На следующий день в девять часов утра на берегу снова громыхали пушки, возвещая об отъезде начальника края. Он уехал далее вниз по Амуру...

Теперь скажем несколько слов о самом городе.

Благовещенск, как и все вообще поселения по Амуру, очень растянут вдоль берега; сразу видно, что город за уши вытянут в длину, чтобы казался многолюднее; но несмотря на это, он еще долго не дотянется до своей цели. Цель эта — устье реки Зеи, впадающей в Амур с левой стороны, в двух верстах от города. Препятствием к достижению этой цели слу-

жит главным образом, во-первых, ошибка при основании города, застроенного в 4-х верстах от устья Зеи, а во-вторых, малочисленность населения и в-третьих — станица Нижнеблаговещенская, построенная при самом устье Зеи.

Описывать Благовещенск я считаю совершенно лишним, потому что с того времени, как писал о нем г. Максимов, город почти несколько не изменился, — прибыло два дома на берегу, да уничтожилось несколько землянок, замененных лачугами, построенными на второй улице.

Вслед за пароходами стали приплывать к Благовещенску и баржи с товарами. Интересно и поучительно это плавание барж. Отправляются они из г. Читы тотчас же по вскрытии р. Шилки и выгода каждого купца, конечно, проплыть по Амуру первым, — лучше поторгует. Сколько усилий употребляет каждый, чтобы плыть впереди, сколько затаенных желаний неудачи своему собрату кипит на его сердце! Стечение этих неуклюжих барок сильно оживляет город, в особенности по набережной улице.

Около берега стоят пять-шесть барж и идет в них торговля. Чиновники с супругами, казаки, казачки, маньчжуры и маньчжурки, — все спешат к баржам и производят в них нечто подобное толчее. Только к полудню около барж толпа редет и делается посвободнее.

Я пошел посмотреть на торговлю, зашел в одну из барж, — покупателей было очень немного, да и те, видимо, зашли любопытствовать; только маньчжур со своей женой заглядывался на занимавшие его часы с кукушкой; как на грех часы начали бить двенадцать и кукушка, припрыгивая, начала куковать. Маньчжурка раскрыла рот от удивления и дергала за полы своего мужа; маньчжур, заметно, и сам изумился кукушке и хотел приобрести ее в собственность, но чувствовал, что она должна стоить недешево.

— А сколько пятаки тута часа стоита? — спрашивает он купца.

— Много пятаки, — улыбаясь, отвечает купец: — рублями считать надо, пятаками не сочтешь.

— Ну плимерно сколько бумажки (ассигна-

ции)?

— Десять бумажки.

— Пять бумажка! — сердито сказал маньчжур и хотел идти из баржи, во избежание соблазна, но умоляющий взгляд маньчжурки остановил его.

Публика из баржи поубралась, стало еще свободнее. Маньчжур начал торговаться с купцом, предлагал ему устроить мену на овес, рис, гречу, но купец менять не соглашался. Наконец торг порешили на восьми бумажках, купец уложил часы в ящик и маньчжур бережно понес их в свою лодку, так же бережно, как Плюшкин нес полученные от Чичикова кредитные билеты.

Дней шесть продолжалась оживленная торговля на баржах, а потом, в один день, одна за одной отчалили они от берега, стараясь не давать одна другой преимущества приплыть к станице ранее. Вслед за баржами, уплывшими вниз с красными товарами, стали приплывать к берегу Благовещенска баржи с бакалейными товарами — сыр, икра, макарены, горошек, варенье, стеариновые и сальные свечи, мыло и русское масло из За-

байкаля, несколько лучше и дешевле маньчжурского. Опять спешат жители закупать так давно не виденные продукты, потому что в городских лавках (Юдина и Амурской комп.) еще с начала зимы все уже было распродано и, по словам жителей, зимою выписывали из Читы, с почтой, стеариновые свечи.

Май месяц самое оживленное время для Благовещенска. Кроме барж, приходящих из Читы, в городе строятся свои баржи; местные капиталисты (все те же: Юдин, Амурская К°, Людорф и Кандинский) покупают у маньчжур быков, просо, ячмень, рис, овес, гречу и все это сплавляется в Николаевский порт для удовлетворения жителей, насидевшихся во время зимы на солонине да на замороженном мясе, продаваемом по 16 руб. пуд, да и то в виде милости, ради знакомства.

В июне месяце по набережной улице города, по распоряжению местного начальства, начались работы. Предполагалось протянуть во всю длину города береговую аллею и около одного из домов, высунувшегося на самый край берега без кола и двора, — рассадить це-

лый лес — нечто вроде парка, в миниатюре конечно. Полицеймейстер целые дни наблюдал за этой работой и был оторван от нее только страшным убийством двух человек, сделанным в доме купца Пахолкова. Этот ужасный случай встревожил весь город, забыли про парк, и про аллеи. Дело было таким образом: вечером в восемь часов купец Пахолков, возвратившись домой, увидел убитыми своего кучера и мальчика лет 15-ти; в доме все было перерыто, из гардероба повыбрано платье, чемоданы разрезаны и брошены посреди комнаты, но так как у чемоданов было двойное дно с секретным помещением для кредитных билетов, то убийцы, совершив преступление, не могли найти денег. Сумма же, находившаяся на дне чемоданов, была около тридцати тысяч рублей. Наряжено было следствие и преступление в продолжение двух недель открылось: убийцы были два плотника, работавшие на соседнем доме батальонного командира Языкова. Дело, вместе с преступниками, переслали в Забайкальскую область.

В Благовещенске каждый месяц две недели продолжается маньчжурская ярмарка. Много было забот и хлопот для начальства при выборе места для этой ярмарки. Три раза ее устраивали на различных местах, три раза торговцы русские и маньчжурские разбирали свои лавки и переносили их с одного места на другое, потому что все отчего-то некрасиво выходило и казалось неудобным. Переселившись с лавками на третье место, маньчжуры начали громко говорить, что если еще раз заставят их переносить свои лавки, то они и торговать в русском городе не будут, а уедут к себе домой, на родной левый берег. К счастью, лавки остались на третьем месте, поблизости которого соорудили из старого дома, ранее бывшего помещением для губернатора, — гостиный двор и над ним водрузили коммерческий флаг. По странному стечению обстоятельств, флаг повесили наоборот, верхним концом книзу, и дня три он провисел таким образом, потом кто-то заметил, и ошибку исправили. В гостином дворе, во время моего

приезда в Благовещенск, лавок никто не занимал, да и некому было: у купцов лавки построены около своих домов.

Маньчжурская ярмарка начиналась обыкновенно с девяти часов утра; десятки разнообразных, более или менее фигурных лодок приставали к русскому берегу. Маньчжуры выгружали свои товары и таскали их на ярмарку на своих собственных плечах. Нойон (чиновник) ударял несколько раз в бубны и ярмарка с этого момента считалась открытой. Ехали городские барыни, большею частью жены чиновников и офицеров, закупать провизию; шли казаки и поселенцы, кто за мукой, кто за табаком или аракой; появлялась в толпе народа, присущая исключительно только Амурскому краю, обдерганная, оборванная, грязная и пьяная фигура казака-сынка[18], получившего на Амуре звание *гольтипака*. Торговля начиналась. Маньчжуры беспокойно поводили глазами, стараясь поймать значение русских слов, размахивали руками, показывая пальцы и безжалостно ломали и коверкали русские слова, перемешивая их со своей родной речью.

— Анда! (Друг!), — говорил, пошатываясь, гольтипак, протягивая руку к папушке[19] табак.

— Шолоро! (Уйди!), — кричал маньчжур, махая руками. — Шолоро! Лаканча (худо)!

— Сколько пятаки? — бормотал пьяный, бессмысленно выпучивая осоловевшие глаза.

— Шолоро! Мангу ачи ты (денег нет у тебя), — снова кричал маньчжур, выпроваживая пьяного гольтипака из своей лавчонки.

Гольтипак, верный самому себе, начинал сыпать отчаянную брань на неповинную голову маньчжура и хотел драться, но, сознавая собственное бессилие, пошатываясь и ругаясь, уходил далее, где снова начиналась та же история с другим маньчжуром.

Торговались покупатели таким образом: поселенец подходит к лавке и высматривает, что ему нужно, потом берет известный продукт в руки и показывает его маньчжуру. Маньчжур поднимает пальцы кверху, означая ими количество пятаков, требуемое им за покупаемую вещь.

— Пять пятаков што ли тебе? — спрашивал поселенец, поднимая всю ладонь кверху.

— Ая! Ая! (Хорошо!), — кричал весело маньчжур от радости, что его поняли. Поселенец показывал четыре пальца. Маньчжур отрицательно качал головой и, не имея силы выдержать молчание, принимался говорить по-маньчжурски, несмотря на то, что поселенец не понимал ни слова. Поселенец наконец выкладывал на прилавок известное количество денег, и торг оканчивался.

Далее, около одной из лавок, маньчжур, по-видимому очень бедный и уже довольно старый, в дырявом кафтанишке, держал в руках дикого гуся и старался объяснить окружающим его казакам, как он поймал его. Он представлял своей фигурой птицу, идущую по степи, тревожно и торопливо поворачивал своей старческой головой в разные стороны, как будто высматривая, нет ли где врага-человека, и потом вдруг начинал дергать правой ногой, доказывая этим, что гусь попался в петлю, расставленную в поле. Маньчжур окончил свою пантомиму и глупо улыбался, вопросительно смотря на публику.

Целый день около лавок теснится толпа казаков и поселенцев, бесцельно передвигаю-

щаяся от одной лавки к другой. К полудню начинают показываться пьяные фигуры казаков, к вечеру слышатся там и сям песни, сменяются криком, бранью и доходят наконец до драки. Часам к семи раздается снова удар в бубны. Торопливо начинают бегать и суетиться маньчжуры, собирая свои товары; они спешат к своим лодкам, боясь опоздать и подвергнуться за это справедливому гневу своего нойона, присутствующего на ярмарке с утра до вечера, в качестве охраняющей силы; в сущности же эта охраняющая сила имеет характер карающей и ищет только удобного случая содрать с охраняемых штраф в собственную пользу. Быстро таскают маньчжуры с ярмарки к своим лодкам товары, быстро укладывают их и отплывают от русского берега. Вскоре по реке поднимается свист и визг: маньчжуры, распустив паруса, вызывают своим свистом бога ветров, прося его помощи и попутного ветра. На следующее утро снова лодки являются у русского берега, заботливый нойон конечно опять присутствует на ярмарке и несколькими ударами в бубны возвещает о позволении начать торговлю и вече-

ром снова такими же ударами возвестит о закрытии ярмарки и тем заставит торговцев суетливо бегать от лавок к лодкам, укладывать свои товары и уезжать обратно, до следующего дня.

Обороты Благовещенской ярмарки конечно ничтожны. В продолжение двух недель каждодневной торговли все маньчжурские лавки вместе выручат не более двух тысяч рублей кредитными билетами. Все эти билеты потом переходят через руки маньчжур в карманы местных русских купцов, выменивающих билеты на русское серебро, считая каждый рубль в 1 р. 50 к. и 1 р. 45 к. Со времени заселения Амура цена на серебро была за каждый серебряный рубль два бумажных рубля, но возрастающая конкуренция на эту выгодную (лично для купца) торговлю понизила курс на серебро до 1 р. 40 к. Благовещенские купцы ведут с маньчжурами дела отдельно от ярмарочной торговли; эта последняя, так сказать, мелочная, розничная торговля, имеющая отношение только к местным жителям. Торговля же местных купцов с маньчжурами ведется просто на дому. Купцы

закупают у маньчжур большими партиями быков, муку и проч. и сплавливают означенные продукты вниз по Амуру до Николаевского порта, где нередко продают часть своих товаров на иностранные корабли или выменивают их на джин, портер и т. п. Иностранные корабли покупают или меняют только в таком случае, когда им необходимо иметь балласт. Кроме отправки из Благовещенска партий живых быков, некоторые из купцов отправляют вниз по Амуру значительное количество солонины в бочонках, покупая быков тоже от маньчжур и засаливая мясо на месте. Бочонки заготавливаются молоканами из соседнего с городом селения, расположенного около реки Зеи.

Получая от маньчжур все вышеозначенные предметы, русские купцы взамен их выдают большую часть русскую серебряную монету. Русские товары конечно тоже идут к маньчжурам, но сравнительно в весьма незначительном количестве, более всего плис, даба, нанки, иглы и отчасти сукна. Кроме торговли с купцами, маньчжуры закупают много скота в казну и получают за это

звонкой монетой.

Сентябрь и октябрь в Благовещенске снова оживляются торговлей. Все спешат покупать заграничные товары, и на Амуре успела развиться страсть к заграничным предметам, конечно, только в высших слоях общества. В 1862 году Людорф имел в таком ничтожном по населению городе, каков Благовещенск, иностранных товаров на тридцать тысяч рублей серебром; но, да не подивится читатель этой цифре, — бóльшая часть товаров заключалась в винах, а остальная, менее значительная, в мануфактурных изделиях, в сахаре, сигарах, в бакалейных товарах и косметических вещах. Стеариновые свечи на Амуре предпочитают покупать русские, потому что привозимые через Николаевск гамбургские свечи невыносимая дрянь, издающие вонь и отекающие хуже сальных. Папиросы привозятся из Иркутска, Нерчинска и Читы от пятидесяти копеек до рубля за сотню; частью они готовятся на месте из привозимого русскими турецкого табаку. Осенью 1863 года, когда уже не было более надежды получить товары из Забайкалья, один из благовещен-

ских купцов скупил весь имевшийся в городе табак и начал делать сквернейшие папиросы, подмешивая в турецкий табак маньчжурский листовой, и эту смесь изволил продавать по чудовищной цене. Публика конечно была весьма недовольна такой проделкой, бранила в глаза и за глаза лавочника, но все-таки покупала папиросы его фабрикации. Все означенные товары — вино, портер, сахар и сигары, провозятся в Забайкалье, а в Иркутск они не попадают, по причине пошлины, взимаемой в Иркутской таможне со всех иностранных товаров, провозимых через Амур. Мера эта конечно уменьшает привоз товаров и отчасти тормозит развитие торговли на Амуре. Многие из торговых людей оправдывают эту меру, говоря, что иначе американцы забрали бы на Амуре всю торговлю в свои руки, что и теперь они подавляют русскую торговлю, но если американцы удачно ведут дела на Амуре, то отчего же этого не могут делать русские, что же смотрела и чем занималась Амурская компания во время своего существования на Амуре?

Все эти пресловутые — управляющие, ди-

ректора, ревизоры, что могут отвечать на прямой вопрос о причине расстройства дел компании? У Амурской компании был очень солидный основной капитал и при этом капитале конечно не менее почтенный кредит; была даже поддержка нравственная со стороны сибирской администрации; к ней, к этой знаменитой компании, весьма сочувственно относились в России; — следовательно, что же расстроило ее? Чего недоставало ей для того, чтобы полновластно господствовать на Амуре и конкурировать с мелкими американскими торговцами? Крупных неудач и несчастий у нее ни разу не было, — следовательно, где же причина упадка дел? Чего недоставало для успеха? Известно, чего недостает нам — самого главного, без чего никакие сочувствия, никакие деньги ничего не значат, — недоставало знания, — вот чем была больна Амурская компания! И эта болезнь, эпидемически заедавшая весь состав управления с верхнего края до нижнего, начиная с последнего приказчика до маститого старца — последнего ревизора компании, — эта болезнь, как и следовало ожидать, довела компанию

до того, что дело прекратилось скандальной распродажей оставшегося имущества товаров по $7 \frac{1}{3}$ за рубль.

Единственная польза, которую принесла умершая компания на Амуре, это то, что большая часть служащих в ней лиц составили себе благоприобретенные капиталы и завели свои собственные дела; компания в этом случае, конечно, играла страдательную роль...

Всего более, как я сказал выше, продается в Благовещенске вина, большею частью низкого и отчасти среднего достоинства. Портер продается от 90 к. до 1 р. 25 к. бутылка. Коньяк от 10 р. до 15 р. за ящик — дюжина бутылок, и от 1 р. до 1 р. 50 к. за бутылку. Джин от 60 к. до 1 р. 20 к. бутылка. Шерри Кордиаль от 9 р. до 10 рублей ящик, — дюжина бутылок, и от 80 к. до 1 р. за одну бутылку. Шерри Кордиаль — это нечто похожее на вишневую наливку, сносное — при первом глотке, неприятное при втором и отвратительное до гадости, до омерзения на третьем. Эта пресловутая наливка настаивается на одних только вишневых косточках: ягоду догадливые немцы (из Альтона, около Гамбурга) употребляют на ва-

ренье, а из косточек стряпают наливку с примесью в нее невероятного количества сахара. Эта наливка исключительно предназначена для шанхайских китайцев и в Японию, для чего каждая бутылка украшена золотыми и раскрашенными, во вкусе китайцев, ярлычками, но с занятием Амура русскими она нашла себе новый, отличный сбыт в среде русского казачества...

Цены на жизненные припасы в Благовещенске по некоторым продуктам много разнятся зимой и летом, потому я считаю нелишним выставить и те, и другие. Товары получаются из двух источников. Таким образом:

Кроме огурцов на Благовещенском базаре мне не случалось никогда встречать других овощей. Некоторые из хозяев имеют огороды, но на продажу овощей никто не отдает, а пользуются сами плодами своих трудов. В последнее время, благодаря молоканам, на базаре стала появляться свежая капуста и арбузы, на капусту, как видно из таблицы, цена существует ужасная, но это потому, что она очень плохо родится, а на арбузы я цены не помню.

Цены.

От маньчжур получается:	Цены.			
	Зимой.		Летом.	
Мясо (за пуд)	1 р. 80 к.	2 р.	3 р. 50 к.	4 р. 20 к.
Пшеничная мука	1 р. 50 к.	1 р. 75 к.	2 р.	2 р. 30 к.
Осетрина свежая	1 р. 80 к.	2 р.	2 р.	— —
Икра свежая осетр.	2 р.	2 р. 50 к.	2 р. 50 к.	— —
Фазаны мороженые пара	— —	50 к.	зимой только	
Масло коровье (пуд)	12 р.	— —	14 р.	— —
Сало коровье	4 р. 50 к.	— —	6 р.	— —
Овес	— —	35 к.	— —	50 к.
Греча	— —	40 к.	— —	40 к.
Рис	2 р.	— —	— —	2 р.
Табак листовой	6 р.	7 р.	6 р.	7 р.
От русских покупается:				
Ржаная мука	80 к.	1 р.	80 к.	1 р.
Соленая капуста за ведро	2 р. 50 к.	3 р.	— —	— —
Свеж. капуста 100 вилок	— —	— —	10 р.	— —
Дров сажень	2 р. 75 к.	3 р.	2 р. 75 к.	3 р.
Сена воз	1 р. 50 к.	— —	1 р. 50 к.	— —
Свечи сальные из Читы	10 р.	— —	8 р.	— —
Мыло из Читы	8 р.	— —	6 р.	— —

III

В Благовещенске мне нужно было прожить, по моим собственным делам, более года и потому волей-неволей нужно было мириться со скукой и бездействием. Об общественной жизни в городе нет и помину[20]. Небольшое общество чиновников и офицеров, сначала так хорошо и дружно жившее, через полгода, под влиянием сплетней и дамской хлестаковщины, перессорилось между собой и раздели-

лось на отдельные кружки. Общество купцов г. Благовещенска составляет особенный кружок, где спокойствие ералаша, преобладающего в чиновном кругу, заменяется тревожным штосом, стуколкой и звоном бутылок и стаканов. К этой среде примкнула часть холостого чиновничества и между ними, во время моей жизни в Благовещенске, занимал первое место какой-то молодой фельдшер. Он пользовался полнейшим авторитетом по части опустошения купеческих карманов...

Объяснять эту глупую жизнь безусловно конечно нельзя. Люди, не приготовленные ни воспитанием, ни жизнью к другой, более здоровой и полезной деятельности, все же скучают, и против этой скуки нет для них никакого средства, кроме картежной игры или пустой, ни к чему не ведущей болтовни. О книгах, например, тут и помину нет. Знают, что в благоустроенном городе должна же быть хоть какая-нибудь библиотека, — ну заводят библиотеку, дают ей место где-то на чердаке под самой крышей дома, куда идти не всякий решится, да и идти туда незачем. Средства Благовещенской библиотеки очень скудны и по-

мещается она, как я сказал выше, на чердаке, куда нужно пройти по грязному воняющему крыльцу, на котором без зазрения совести солдаты выливают и выбрасывают всякие нечистоты; потом путь лежит по душному коридору, где проходящего обдает запахом махорки и прогорклого масла, слышатся песни и шум солдат, живущих на первом этаже, и наконец путешествие в библиотеку оканчивается темной шатающейся лестницей, ведущей на чердак в маленькую комнату. Вот где библиотека! Где теперь она помещается? Дали ли ей более лучшее и приличное место? Не знаю.

В мое время в Благовещенске поговаривали частенько об устройстве клуба, но дело тем и кончилось, что поговорили и пошумели, — впрочем клуб не может создать общества, когда его нет...

*«У нас есть так называемый свет,
Есть даже люди, но общества нет:
Русская мысль в одиночку созрела,
Да и гуляет без дела».*

В один из теплых вечеров я по обыкновению вышел гулять. Пустынно было по улицам, давно замолк стук топоров, раздававшихся там и сям в продолжение дня, прекратились выстрелы артиллерийского ученья и батальонные солдаты возвращались уже с работ по постройке нового деревянного собора, только военные музыканты наигрывали еще свои марши против губернаторского дома. Был четверг[21].

Публика лениво и как-то сонно двигалась по набережной улице; видно было, что все друг другу давно наскучили и не знают, куда деваться от бездействия и тоски. Как радость, как Бог знает какое необыкновенное счастье, — оживил долетевший издали пароходный свист, все засуетились, ожили и спешили скорыми шагами к месту пароходной пристани. «Пароход идет! Пароход!», — слышалось всюду. На берегу начала собираться толпа; появились купцы; за ними следом маньчжуры, слышался разговор.

— Что же вы, берете у меня рубли-то? — спрашивал купец.

— Модоне ачи (не понимаем), — отвечали

маньчжуры.

— Рубли, рубли! — объяснял купец и, соединив большой палец правой руки с указательным, изобразил кружком серебряный рубль.

А, анда! Модонэ! (А, друг! Поняли!), тута десяти тысяча есь! — закричали маньчжуры, показывая пальцами на пароход.

Купец начал уверять, что серебра на пароходе быть не может, что серебро из России уже все вывезли и только у него одного осталась еще небольшая часть, но маньчжуры не верили его рассказням и махали руками.

— Э! Анда! Знама! Кажда парохода серебро вези много есь!

С парохода начали сходить пассажиры, кто торопливо вертел головой в разные стороны, осматривая город, кто грустно шагал, не обращая ни на кого и ни на что внимания. Один офицер вел под руку даму. Дама плакала и утирала платком слезы. Заметно было, что Благовещенск порадовал даму до слез своими длинными пустынными улицами.

Из толпы, стоявшей на берегу, выдвинулась вперед высокая фигура поселенца с

клеямами на щеках и на лбу; он старался как возможно съежиться и принять жалобный вид.

— Батюшка! — пропищал он разбитым голосом, подходя ко мне, — нет ли, родимый, копеечки на бедность! Подайте убогому, несчастному.

Я промолчал. Поселенец стал поочередно подходить ко всем стоявшим на берегу и корчил самую плачевную фигуру; получая отказ, он шел далее и снова начинал выводить заунывным голосом о своей бедности и убожестве.

Кто-то ответил ему, что готов бы дать милостыню, да не имеет при себе мелких. Поселенец еще съежился и пропищал самым жалобным голосом: да нет ли, батюшка, хоть целковинького? Сказал он эту фразу, и сам не мог удержаться от улыбки. Публика конечно засмеялась и кто-то спросил, откуда и куда пробирается он?

— Я, батюшки мои, отцы кормилицы, возвращаюсь из холодных стран Николаевских, с Чиныраховской крепости, где был в работе за непочтение родителей; возвращаюсь я в теп-

лые области Забайкальские, не имею дневно-го пропитания и ради его приемлю от рук человеческих подавание. Ваше высокоблагородие! — закричал он, вдруг возвышая голос на целую октаву: — отцы-благодетели, не откажите несчастному!

Замечая, что плачевный тон не достиг своей цели, поселенец вдруг тряхнул головой, выпрямился во весь свой длинный рост и гаркнул.

— Ваше высокоблагородие! Я вам сказочку скажу.

— Пошел прочь! — крикнул офицер, против которого стоял поселенец.

Поселенец снова преобразился. Он разгладил усы, подпер руки в бок и грубо ответил:

— Да ты не больно, брат, кричи, я и сам с усам, вот что! — Потом помолчал несколько времени, обвел пьяными глазами толпу, взглянул на пароход, выпускавший последние пары и, сделав публике под козырек, пошел по направлению к мелочным лавочкам, далеко дающим знать о себе запахом отвратительной араки.

Скоро публика разбрелась по домам, совер-

шенно довольная, что приход парохода отчасти нарушил общее однообразие. Я прошел далеко в поле и возвращался назад, когда уже совершенно стемнело. По улицам не было уже более видно ни одного человека; кое-где лениво бродили коровы или лошади. Далеко стояли один от другого маленькие домики жителей, соединенные между собою длинными плетнями, заменяющими забор. Около плетней лежали свиньи. Пройдя длинную улицу, я вышел к берегу реки. На реке было тоже безмолвно и тихо, на пароходе не было видно ни души, кроме дежурного матроса; город спал, только за рекой в маньчжурской деревне изредка мелькали огоньки, да из губернаторского дома, в раскрытое окно, неслись звуки шубертовской серенады. Только что я прошел дом губернатора, как встретил едущего в одноколке казака, он окликнул меня. Я остановился и спросил, что ему нужно. Казак остановил свою тощую лошаденку и почти шепотом как-то таинственно спросил.

— Вы, ваше почтение, не купец ли?

— Да, купец, — отвечал я, — а что тебе?

— Так-с... мучицы вот вам не сподручно ли

взять?

Я удивился этой ночной торговле и заглянул в одноколку, в ней действительно лежал маленький мешок муки. «Неужели украл?» — подумал я и пригласил казака ехать на мою квартиру.

— Отчего же ты ночью привез продавать? — спрашивал я. — Ведь не украл же ты ее: всего-то, я думаю, у тебя пуда полтора?

— Пошто, ваше почтение! Как можно, помилуйте!

— Отчего же ночью, скажи пожалуйста!

— Да так... так точно, что... как будто и неловко немного... да уж так...

— Так и нужно бы днем.

— Да что уж таиться, ваше почтение, — начал казак, махнув рукой, — дело-то все выходит в том, что мы здесь как то есть от казны получали провиант, примерно хлеб, так, значит, теперь в уплату нудят, а делишки-то все еще плоховаты; деньжонками-то бедно... Вот теперь бы этот самый мешок в склад казенный надо бы везти, хлебушко-то отдать, а я грешным делом свое-то добро крадучи продаю.

— Неладно, брат.

— Оно точно, ваше почтение, не совсем-то ладно, ничего тут как есть хорошего нету, да ведь недостатки-то наши больно жидковаты, тоже вот примерно и по хозяйству все в неустройстве... Другие вон наши тоже забайкальцы, которые снялись со старых-то местов богатыми, им и здесь не хуже прежнего пожалуй, а бедняку везде едино: все нужда да нужда...

Я купил хлеб у казака по рублю за пуд и на прощанье спросил его, где они поселены.

— Станица-то наша за Зеей... Вот теперича и падежи-то нас тоже донимают крепко, — скот часто валится. Я вот лоньским[22] годом двух меринов сволок в реку, только и видел, как их унесло по реке, а какие мерины-то были хорошие да работающие! — по двадцати пяти бумажек купил у маньчжура, чистыми деньгами отвалил пятьдесят-то рублей, — да вот что станешь делать-то? — старик вздохнул, поблагодарил за покупку и уехал со двора.

В июле месяце пристали к берегу до пятнадцати лодок, на каждой сидело человек по пя-

ти крестьян, народ все рослый, здоровый и румяный. Жители города были удивлены причаливавшей флотилией и на берегу стала собираться толпа любопытных.

— Что вы за люди такие? Что вам такое здесь нужно? — спрашивали горожане.

Из лодок вышло на берег несколько стариков, помолились они на восток и обратились к публике с вопросом.

— Почтенные господа! Скажите нам, где здесь поселились молокане?

— А на что это вам?

— Мы переселенцы и хочется нам с ними повидаться, и может быть, коли Господь благословит, и поселиться с ними по соседству.

Молокане поселены по Зее вскоре после занятия Амура, кажется, через полтора года. Они вышли из Таврической губернии, и по их рассказам, за то их переслали на Амур, что однажды, во время посещения их селения архиереем, — старики что-то крупно поговорили о вере, расхваливая свою секту. Народ они весьма трудолюбивый и честный, бедных между ними нет, а о сборе милостыни между ними и не слышно. Однажды случилась в городе Бла-

говещенские покража, у одного из мелких торгашей подрылись воры под лавчонку и выкрали товару рублей на пятьсот иди шестьсот. Началось следствие и по розысканию оказался виновным один из молокан, да еще старик, весьма почтенных лет, имевший свой собственный дом и торговлю мясом. Нужно было видеть, как это поразило молокан, как они озлились на укравшего старика и отшатнулись от своего собрата по вере. Не марай, говорили они, нашу незамаранную честь, а если ты после всего, чему тебя учили с детства до старости, оказываешься собакой, — то и пусть тебе будет собачья смерть.

Из гражданских переселенцев есть еще, тоже около Благовещенска, поселившиеся вблизи архиерейского дома скопцы, но их немного, всего семей шесть или семь и кроме молочного хозяйства да отчасти птицеводства они ничем не занимаются. Молокане же доставляют в город дрова, делают бочонки для отправки вниз по Амуру солонины, доставляют со своих огородов овощи, хотя пока и в очень незначительном количестве. Они же первые начинают пробовать пшеницу, ко-

торая почему-то очень плохо родится у русских, подвергаясь почти каждый год болезни, известной под названием помпы, — красная сыпь на колосьях. В маньчжурском же хозяйстве засеваётся всего более пшеница и никогда не сеется ни ржи, ни ярицы. Некоторые из молокан, более состоятельные, строят в Благовещенске свои дома и отдают их под квартиры. Один построил верстах в 20-ти от города речную мельницу, но при отсутствии необходимых занятий дело не доведено до конца. Один артиллерийский офицер предложил свои услуги молокану и взялся поправить у него мельницу. Но импровизированный механик ещё больше напортил, так что молокан — хозяин мельницы — вынужден был просить услужливого механика оставить его в покое.

— Уж я те, ваше высокое благородие, самых что ни на есть лучших арбузов представлю, только уж ты, значит, пожалуйста ослобони меня от твоей работы.

Офицер закусил губы и должен был оставить мельницу в покое. При основании города задумали наши русские механики устро-

ить конную мельницу; мельницу-то выстроили, а работать на ней нельзя, не действует, значит! Так теперь и стоит на берегу уродливое здание, крытое соломой. О ветряных мельницах никто и не думал, а они, кажется, были бы очень полезны Благовещенску, — он стоит на ровной безлесной местности и ветры в нем бывают очень часты и продолжительны. Соседи — маньчжуры — не имеют ни речных, ни ветряных мельниц, — одни только ручные и конные, и потому цена на пшеничную муку в Благовещенске не бывает дешевле 1 р. 50 к. за пуд, доходя иногда до 2 рублей с половиной.

В Благовещенске, в первые два года его существования, затевалось многое, но ничего не сделалось. Устроилось было общество огородничества, выпросили и землю, и работы начались, да потом все забросили, не собрав плодов даже с одного посева. Потом один из докторов проектировал кожевенный, салотопенный и мыловаренный заводы, но сочувствия в публике не оказалось, хотя дело это действительно было бы выгодное. В заключение, архитектор предложил образовать ком-

панию для устройства пивоваренного завода, но это уже конечно само по себе не могло пойти при дороговизне и недостатке хлеба. Около Благовещенска принимались устраивать хозяйство на рациональных началах два фермера. Один поляк, нарочно для этого переселившийся из Забайкалья, а другой местного батальона офицер, променявший шпагу на плуг; но дело у обоих рухнуло самым плачевным образом. Поляк начал первый. Он поселился по Зее, приплавил из Забайкалья скот (в то время не было еще разрешено покупать скот у маньчжур), сделал постройки и принялся за дело, но наступившая прибыль воды затопила его хлеб, а скот весь пал от заразной чумы. Собрав свои последние крохи, бедный поляк, отец многочисленного семейства, принялся снова за дело и на будущую весну погорел. Пожар, случившийся по неосторожности рабочего, лишил его последних средств и возможности продолжать хозяйство. Неизвестно, что случилось с ним впоследствии. Во время моей жизни в Благовещенске я его видел сторбленным и истомленным. История другого фермера не имеет

такого грустного характера. Воинственный фермер уложил на свою ферму все, что у него было, наделал долгов и снова променял плуг на шпагу. Но в истории амурского фермерства есть замечательный по своей бестолковости ход дела фермы господина Р., о котором сам Р. под именем «Амурского хлебопашца» печатал две статьи в Русском Вестнике: «О вольнонаемном труде на Амуре» и «Из амурской жизни» (Русский Вестник 1863–1866 года). Но как известно, что правильный и беспристрастный суд над самим собой не всякий может произнести, то и г. Р., рассказывая о ходе своей фермы, скромничал перед читателями и не рассказал своих хозяйственных промахах. Я потому говорю открыто о промахах г. Р., что дело, им заведенное на Амуре, принадлежало всецело мне. Тут была положена вся моя жизнь, все мои средства и самая колоссальная ошибка была, конечно, с моей стороны, так как я забыл о басне Крылова, что не бывает добра, когда пироги печет сапожник. Теперь уже от этой фермы осталось только одно воспоминание. Господин Р. так запутался в своих делах, что не имел возможности полу-

читать выписанные мною кругом света сельскохозяйственные машины, — они, кажется, до сей поры лежат в Николаевском порту, как уведомлял меня частным образом торговый дом Есипова и К°, я же со своей стороны получить их не могу, потому что все акты, доказывающие о принадлежности их мне, переданы г. Р., уехавшему впоследствии с Амура Бог знает куда[23].

Много было говору о странном выборе места для постройки города и немало удивлялись этому выбору; некоторые даже делали такой смелый вывод, «что для города Благовещенска старались найти по всему Амуру худшее место и хуже того, на котором он построен, найти трудно»; конечно, это шутка, но тем не менее нельзя догадаться о причинах, руководивших в этом случае основателями города. Строевой лес далеко, город Айгун в тридцати верстах, Зея в трех верстах, пристань неудобна, местность песчаная и подвержена частым ветрам — вот неудобства города и, по всему вероятию, они были известны основателям, следовательно из них многие могли быть устранены. Город мог быть построен

против Айгуна, где 30 т. населения и от этого соседства могла выиграть торговля, так как обмен совершался бы быстрее, и преимущество быть городу при устье заключается в том, что тогда не нужно было бы заводить вверх по Амуру лес, сплаваемый с верховьев Зеи, и, наконец, как ни рассуждайте о безлюдности Амура, но в будущем очень важно значение города, стоящего при двух громадных реках.

Для рубки леса назначаются зимой из Благовещенска целые экспедиции от местного начальства под предводительством офицера, а иногда и двух. Эти экспедиции уходят верст за 500 и летом возвращаются на плотах со строевым лесом. Точно так же и жители города составляют между собой компании, нанимают казаков и отправляются тоже вверх по Амуру или по Зее. Цена на бревна в Благовещенске, четырехсаженные, в шесть и семь вершков толщины, от 50 до 70 к., смотря по количеству приплава лесу. Восьмивершковые в пять сажен длины от 70 к. до 1 руб. за бревно.

Как-то однажды, когда берег завален был

лесом, я шел по набережной улице и, заметив на одной груде бревен несколько мужиков, спустился вниз к реке. Мужички сидели за починкою своих зипунишков; поярковые шляпы, лежавшие около них, давали знать, что мужички российские. Я подошел к ним и поприветствовал их. Мужики подняли головы, в недоумении посмотрели на меня и потом как-то робко, нерешительно отвечали:

— Добро жаловать, поштенный.

— Откуда вы? — спросил я.

Мужики помолчали и, почесав затылки, переспросили.

— Кто? Мы-то?

— Да. Откуда, говорю.

— Мы из-под Хабаровки-и, — отвечали они, растягивая последний слог.

— Родом-то откуда?

— Кто? Мы-то? — опять переспросили мужики, переглядываясь между собой.

— Да. Откуда, говорю, родом-то?

— Родом-то?

— Да.

— Гм!

Несколько времени прошло в молчании. Я

опять спросил.

— Откуда же вы, добрые люди?

— Кто? Мы-то?

— Ну да, конечно вы, с вами, ведь, я речь веду.

— Да родом-то мы, выходит, есть перемски, есть вот тоже и вячки, нолинскова уезду, — нехотя отвечали мужики.

— Земляки ведь вы мне! — сказал я и сел рядом с ними на бревна. Мужики придвинулись плотнее друг к другу, перестали чинить свои зипуны и обратили все внимание на меня.

— Да вы, братцы, не робейте, я ведь простой человек, не чиновной, я купец.

— Ой, ли? Так ты, дело выходит, тоже вячкой? — оживляясь, спрашивали мои новые знакомцы.

— Вятской, вятской: я из города Елабуги.

— А-а! Кака штука!.. Ну, землячок, так ты чево ино, сослан што ли сюды?

— Нет, зачем сослан. Я здесь по своим делам. Вот, Бог даст, покончу их, да и назад поеду, на свою сторону.

— Вот оно што! Та-а-к. Назад... Не ладится

што ли здесь?

— Да не больно ладится, да и далеко от своей стороны тоже.

— Правда, брат землячок, совсем твоя правда, — грустно сказали вятичи и вздохнули, глубоко вздохнули.

Все мы замолчали и долго продолжалось это молчание, каждому вспоминалась своя родная сторона, милые сердцу образы восставали в воображении и грустно как-то стало на сердце.

— Как же вы, братцы, из-под Хабаровки-то сюда попали, — спросил я после молчания.

— Из-под Хабаровки-то?

— Ну, да.

— Из-под Хабаровки-то мы, землячок, правду те коли сказать, мы брат оттуда убегли, вот што!

— Как убегли! — удивился я.

— Да так вот, поди ты, убегли, братец, да и кончено дело и весь сказ тут.

— Что вы, ребятушки! Да как же? Зачем же вы убегли-то?

— Эх землячок, землячок! Сам ты посуди, от добра разе человек убежит. Значит уж худо

было, коли убегли, — вот она штука-то какая! Исправник, вишь ты, нас все не пускал. Мы, значит, у него спервоначалу-то просились и молились, пустите мол ваше благородие. Нет, говорит, мордва вы, говорит, некрещеная; поселились здесь, так и живите, говорит. А как тут жить? Земля, все равно теперь, что голая глина, жить совсем не вмоготу было...

— Ну и что же вы сделали? Как устроили свой побег-то?

— Да чево мы? Мы ничево. Подумали, подумали, поохали да погоревали, а потом перекрестились да, благословясь, и порешили за-дать деру из-под Хабаровки-то. Пришли вот тут, отсюда верст тридцать от городу-то, речончка такая малехонькая есть, Завитая, бают, зовется, как ли ино, — Бог ее знает; только мы на ней и сели поселком, запахали земли десяти семь видно. Теперь вот сюды в город пришли на заработки; управились, значит, со своим делом-то.

— А как же, братцы, — спрашиваю я, — если вас полиция узнает, да как бродяг беспаспортных заберет всех?

Земляки мои засмеялись и, видимо, были

довольны: «дескать, ты простота, ничего не смыслишь, как нужно дела-то обделывать».

— Нужды нет, землячок, ничево. Теперь уж мы никого не боимся. Полиция уж нас всех знает наперечет; теперь уж хабаровской-то исправник нас не достанет — вот что! Мы, видишь ли, как теперя пришли сюды, так прямо, перво дело — землю пахать. Как только убрались, значит, с работой, сейчас в город к энаралу и — в ноги ему упали да голосом и завыли. «Что такое, говорит, что такое, что за люди?», — энарал-то это спрашивает. — А вот, мол, так и так, баем, у хабаровского исправника просились, молились — не пускал исправник; — бежали, мол, тайком, крадучи. Ну и опять ему в ноги бух и слезно просим, чтобы, значит, нам наших жен и ребятишек по бумаге выписали сюды.

— Ну и что же вам генерал сказал?

— Что энарал? Энарал ничево. Сперва-то наперво, было, закричал, затопал ногами, ну а как мы ему втолковали, что, мол, землю запахали, хлеб посеяли, — так он инда засмеялся. Ну, говорит, ребята, хитрой, говорит, народ всячной.

— Ребята хвачки, — подхватил один из вятчей и все засмеялись.

— Что же он про ваши семьи вам: обещал похлопотать?

— Энарал-то? Как же, обнадежил, бумагу, говорит, туда пошлю, по бумаге, говорит, вышлют беспременно ваших жен и детей. Так вот как, землячок, теперь мы никого и не трусим. Мы было энаралу-то за земляков своих словечко молвили; ну да он ничево не сказал, самим, говорит, им надо хлопотать — вот что!

— Ну дай вам Бог, земляки, здоровья да в деле подспорья.

Я поднялся с бревен и хотел идти, но вятчи меня остановили вопросом, когда я поеду, и стали заказывать поручения на родину.

— Будешь коли в Нолинском уезде, заезжай в нашу деревню; скажи, что худо мол переселяться, — больно худо. Жили мол под Хабаровкой со всячиной, всякого горя натерпелись; дома-то мол пшеничной не умели есть, а под Хабаровкой моченой да тухлой арженой жевали да и то не всегда, иной раз без хлеба и без соли сиживали, — рыбищу эту амурскую ловили да варили — несладко без соли-то.

Скажи, землячок, что теперь вот около Благовещенскова, мол, дело ладится и бумажки тоже, мало дело, завелись за пазухой, потому работа есть, — скажи, мотри, да ладнее.

— Скажу, скажу. Только я еще на свою сторону нескоро доберусь.

— Ну да когда будешь, все же живой человек, скажешь, а они чай об нас ничего и не слыхивали, не знают, поди, живы ли, нет ли.

Я простился со своими земляками и пошел далее. Поднимаясь на берег, я посмотрел их временное помещение в балагашке, прилепившемся у крутого песчаного берега. Балаган сделан из древесной коры и похож отчасти на шатер: дождем не мочит, от ветра не очень продувает — и ладно.

Вот, Бог даст, по осени уберутся беглые переселенцы на свой новый поселок, сколотят себе сруб; за первым явится другой, там третий, потом, Бог даст, жены с ребятишками *по бумаге* возвратятся и образуется деревенька.

И так из Приморской Области начинают понемногу переселяться в Амурскую. Это доказывает, что земли, лежащие за ст. Хабаровской по р. Амуру (про р. Уссури в наших за-

писках нет речи), для хлебопашества неудобны и по общим отзывам известно, что начиная от Хабаровки, чем ближе к Николаевскому порту, тем более почва делается хуже и хуже и наконец совершенно переходит в тундристую, болотистую, ни на что непригодную местность. На этом 800-верстном пространстве, как будто сама природа назначила жить только гольдам да гилякам, печальным пасынкам природы, с их тощими и легкими для бега собаками.

IV

Наступила осень. С последним рейсом парохода возвратился из путешествия по своей обширной епархии его преосвященство, амурский епископ. Он поселился в своем большом загородном доме. Пароходные рейсы прекратились и почта более не получалась, — стали терпеливо ждать того времени, когда Амур покроется льдом и образуется путь по реке. Холодный северный ветер начал бесцеремонно пробираться во все пазы благовещенских зданий, явилось большое требование на коноплю и железные печи. Его

преосвященство, из дюжины комнат, едва мог выбрать для себя одну, в которой возможно было жить, не рискуя замерзнуть. Чиновники ежились в казенных квартирах и кричали на работавших солдат, что плохо конопатили стены и мало наваливали земли на завалинки. Успевшие запасть из казенного склада листовым железом торжествовали в ожидании будущего тепла от железных печей и подсмеивались над прозевавшими. В Благовещенске ни под одним домом нет фундамента, об отыскании извести до сей поры идут только рассуждения и она покупается от маньчжур по дорогой цене. Нет в городе пожарной машины, хотя каланча внушительно красуется над одной из батальонных казарм. Осенью как-то случился пожар и дом сгорел до основания; погода стояла тихая, он точно свечка догорал в виду стоявших перед ним беспомощных граждан; все, конечно, благодарили Бога, что была такая тихая погода... Впрочем, может быть, и во время ветра пожар ограничился бы одним домом — так далеко они один от другого построены. А пожарную машину, кажется, очень нетрудно и достать:

в Николаевске есть механическое заведение и пароходы между Благовещенском и Николаевском ходят по крайней мере в месяц раз. Кое-кто из неуспевших уехать на пароходе остался ждать в Благовещенске зимнего пути и, между прочими, чехи, депутаты от американских славян, ездившие по Амуру осматривать место для предполагавшегося их переселения. Сопровождавший их чиновник, отчаянный театрал, ничего лучшего не придумал, как устроить в городе спектакль, да еще с какою целью-то: *для основания фонда на устройство в Благовещенске постоянного театра!* Как раз вовремя выдумал, не справившись о недостатках города, тогда как они при самом беглом, поверхностном наблюдении были явственно видны и кололи глаза многим. Не говоря уже о пожарной машине, о грязном и неудобном помещении городской библиотеки, о ее позорной бедности, — кроме этого, в городе не было порядочной аптеки; при лазарете казенная аптека не имела многих необходимых медикаментов, даже — странно сказать — чувствовался постоянный, для каждого больного ощутительный недо-

статок в аптечных склянках! Случалось ли кому заболеть и посылать в аптеку рецепт доктора, больной при этом отправлял из дому бутылку или полуштоф. Вот чего недоставало! Считаю при этом долгом сказать, что благодаря почтенному доктору Т. благовещенская лазаретная аптека имела кое-какие медикаменты в дополнение к казенным, которые были выписываемы по его содействию из Иркутска. — Спектакль сошел благополучно, хотя и не совсем сносно. Разохотившиеся артисты задумывали уже о другом спектакле, но одна из дам раскапризничалась, повздорив на репетиции, и в пику всем артистам устроила у себя в доме спектакли — лишь для одной избранной публики. В городе оказалось разом два театра. «Вот тебе и штука, — дивились жители, — не было копейки, да вдруг — алтын». Так как посещавшие спектакли, назначенные для избранной публики, кроме удовольствия получали еще, некоторым образом, расположение дамы-актрисы, то театр в здании манежа, не имея силы конкурировать, смиренно прекратил свои представления. Да наконец и то, по всему вероя-

тию, было причиной, что запрос на спектакли был всего более в высшем слое общества, а предложение явилось для обоих слоев и потому фиаско было неизбежно. Кроме того, в спектаклях для избранной публики показывались живые картины и дама-актриса каждый раз представляла из себя «Агарь, изгнанную Авраамом». Авраам, вероятно, по старости лет, находил неприличным показываться, да еще в таком щекотливом деле, как изгнание любимой женщины, но Агарь при сильном освещении была просто обворожительна и вызывала каждый раз тысячи аплодисментов и самых льстивых восклицаний. Спектакли, как и следует быть, оканчивались хорошим ужином, на котором, впрочем, участвовали только избранные из избранных, так сказать — смак общества.

Сбор от спектаклей на устройство постоянного театра был очень скудный, театрал-чиновник для подкрепления фондов затеял подписку, но подписка достигла только до пятисот рублей. Общее собрание всех сочувствовавших театру порешило употребить эту сумму на выписку из Москвы париков и про-

чих театральных принадлежностей для будущих спектаклей. Лучшего употребления для этой суммы никто из всего состава общего собрания не мог придумать и театрал-чиновник, уезжая в Москву, увез эти несчастные пятьсот рублей с собой, на которые, вероятно, потом и выслал в Благовещенск всякой театральной дребедени.

Осень в Благовещенске бывает почти постоянно сухая и холодная, а о той пасмурной погоде и продолжительных дождях, которыми так богаты некоторые из русских губерний, — в Благовещенске и понятия не имеют. Осень наступает незаметно, уменьшается летняя жара, в воздухе делается все свежее и свежее, постепенно наступают зимние морозы, река покрывается льдом и все чаще начинают завывать ветра. Снег в Благовещенске не держится, хотя для этого частенько предпринимают искусственные меры, — отправляют целый батальон солдат по улицам, рассчитывая, что тысяча человек, во время своей официальной прогулки, могут помочь горю и снег, примятый двумя тысячами ног, удержится на улице для санного пути. Но искус-

ственные меры не достигают своей цели, — прогулка солдат остается просто-запросто прогулкой и снег через день или два разносится по открытой местности на все четыре стороны. Тянется зима со своими скучными бесконечными вечерами. Счастлив тот смертный, который по каким бы то ни было обстоятельствам, заехав в такую глухую и безлюдную даль, — может примириться с потребностями общества и находить утешение и отраду в ералаше, пикете и преферансе, и горе тому, кто не захочет последовать благоразумному совету опытных людей — заглохнет его благовещенская зима вконец. Почта, получаемая в продолжение лета два раза в месяц, с прекращением пароходных рейсов не получается до закрытия реки льдом — извольте ждать с 15 сентября до 20 ноября.

На Благовещенской маньчжурской ярмарке появляются с наступлением морозов заледеневшие яблоки, виноград, груши и фазаны, привозимые из Чичикара, за восемь сотен верст от Благовещенска, на юг.

— Айя ябло! Айя! — нахваливают маньчжуры обледеневшие, твердые как камень,

плоды.

— Да уж худы ли, хороши ли, а нужно видно брать, когда лучшего ничего нет, — говорят покупатели, сомнительно постукивая ледяными яблоками о стены маньчжурских лавок.

Ожидавшие в Благовещенске зимнего пути, обыкновенно, уезжают. Город становится совсем пуст. Наконец и карты теряют свою обаятельную силу, кое-где начинают прорываться жалобы на скуку. «Господи! Да хоть бы скандал какой-нибудь устроился», — говорят скучающие. В мое время везде слышались жалобы на медленность и неаккуратность в получении почты, но лишь только получалась она, город оживал дня на два, на три, забывая про перенесенную тоску ожидания. Одна из зимних почт привезла, между прочим, интересную для жителей Благовещенска новость — книжку журнала «Время», в которой была напечатана статейка под заглавием: «Из путевых заметок по Амуру». Наделала эта статейка горя! Содом и гомор образовался вдруг из мирного города, — каждый узнавал себя и бесился, ругая автора. Один почтенный госпо-

дин, названный в статейке обладателем бороды, похожей на половую щетку, до того зарпортовался в своем безграничном озлоблении, что серьезно начал подумывать о протесте против автора, и если унялся, то благодаря исключительно советам своих товарищей, доказавших разгневанному приятелю опасность печатной самозащиты: «смотри, дружок, — говорили они, — будешь защищаться острым оружием, как бы не обрезаться тебе».

К январю месяцу местная полиция стала составлять статистические сведения о числе жителей, лавок и проч. В сведениях этих между прочим было означено, что в г. Благовещенске есть свечной завод и на этом сведения прекратились. Кому он принадлежит, сколько вырабатывает свеч, из какого материала, — об этом составитель статистических сведений благоразумно умолчал. Однажды, при разговоре с одним из чиновников полиции, я спросил, где же это находится свечной завод в городе.

— У вас, — отвечал мне чиновник.

— Как, — говорю, — у меня? Что вы, Христос с вами!

— Да вы же льете свечи на дому — значит у вас и завод!

«Вот тебе и раз», — подумал я.

У меня, действительно, были при квартире два станочка с дюжиною свечных форм, на которых мы вдвоем с мальчиком практиковались в выделке свечей, и вдруг неожиданно-негаданно попали в заводчики. И вот такого сорта статистические сведения, вероятно, печатаются потом для назидания публики и нашего ученого мира.

Теперь мне сделалось понятно, как некогда писали о каких-то десятках кораблей, плававших по Амуру и существовавших только в воображении автора; писали же, что Иркутск получает по баснословной дешевой цене сахар и чуть ли не все продукты через Амур, тогда как в действительности в Иркутск сахару через Амур не привозится, потому что привоз по Амуру вверх и сухим путем по Забайкальской области стоит очень дорого, да и пошлина в Иркутске на амурские товары самая почтенная.

Надо заметить, что наша хлестаковщина в отдаленных захолустьях переходит в чисто

мифическое творчество.

Наступил новый маньчжурский год, в начале февраля (он считается у маньчжур, как и у китайцев, по течению Луны). Многие из жителей Благовещенска отправились в Айгун на праздник. Маньчжуры, так же, как и китайцы, чрезвычайно радушны и хлебосольно проводят дни своего Нового года, так же иллюминируют и украшают разноцветными фонарями свои улицы, дома, лавки, так же щедро угощают проходящих знакомых и незнакомых. Во время этого праздника один из русских чиновников, считавшийся другом и приятелем анбаня (начальника города), пробираясь по улице после сытного обеда и весьма солидной выпивки от знакомых маньчжур, — мимоходом заглянул в одиноко стоявший посреди улицы маньчжурский экипаж и, увлекшись красотой сидевшей в экипаже молодой маньчжурки, вlepил в ее сахарные уста несколько горячих поцелуев. Крик и писк поднялся ужасный. Сибирский Ловелас хотел задать поскорее тягу, но сбежались маньчжуры и как ни увертывался в толпе чиновник, но его поймали, связали назад руки и повели

на суд анбаня. Молоденькая маньчжурка была его родная дочь. Привели чиновника к анбаню и бедный старик удивился, увидя своего закадычного друга в таком позорном положении.

— Ну, брат Дмитрий, — сказал анбань, — жалко мне тебя, да нечего делать, нельзя — сам ты виноват. Только я для тебя сделаю облегчение: я напишу твоему начальнику, чтобы он тебя высек полегче, а все-таки высечь надо — без этого, брат, народ балуется.

Анбань действительно написал официально губернатору, что вот такого-то русского чиновника, за нарушение приличий и оскорбление его дочери, он просит, согласно существующим у маньчжур законам, высечь бамбуками, но так как этот чиновник приятель его самого, анбаня, то было бы жалко слишком сильно потчевать бамбуками друга и потому официальное послание заключалось просьбой: *сечь не очень больно.*

Долго смеялись в Благовещенске над этим посланием, через месяц анбань сам посетил Благовещенск и, встретившись с чиновником у губернатора, заботливо спросил: а что, вы,

ваше превосходительство, не очень больно его секли? Губернатор объяснил, что по русскому закону телесное наказание существует не для всех, что даже есть слухи о совершенном уничтожении телесного наказания. Задумался анбань, крепко задумался над данным объяснением и долго молчал, вспоминая, может быть, как иногда ему попадало в спину десятков пять-шесть хороших бамбуков.

— А хорошо это у русских, — сказал он, вздыхая: — очень хорошо, — только чтобы не избаловался народ, — и потом, подойдя к своему другу чиновнику, ласково потрепал его по плечу, приговаривая: — нойон айя! (чиновникам хорошо!).

Пятнадцатого апреля тронулся лед по Амуру. Все население от старого до малого высыпало на берег, смотреть на движущуюся массу льда. На другой день двинулся лед по Зее и запер ход Амуру. Треск пошел по реке от напора льдин, громоздившихся одна на другую; высокие горы догоняли одна другую и, с шумом разрушаясь, заменялись еще бóльшими горами льдин. Из маньчжурской деревни слышался визг и свист: маньчжуры вызывали бога ветров на помощь спертому льду. Дня три продолжалась борьба и амурский лед победил лед Зеи, — он запер в свою очередь ход зейскому льду. Через неделю река совершенно очистилась ото льда, маньчжуры, не бывшие так долго на русском берегу, при первой возможности переплыли реку и поспешили навестить своих приятелей купцов.

— А что, плятер, скоро порохода придет, селеbero привезет? — спрашивали они.

— Скоро, скоро. Как обыкновенно бывает, к шестому или седьмому мая, — утешали купцы.

Но прошло и десятое мая, — а пароход не приходил. Отчего он замедлил и что с ним за оказия случилась — никто не мог решить. Жители стали чаще расхаживать по берегу и тоскливо смотрели вверх по реке, ожидая парохода. Почта не получалась тоже уже более двух месяцев — город находился в каком-то изолированном положении, — точно он на всем белом свете один-одинехонек существует и кругом его на необозримое пространство — пустота. Действительно неприятное положение ждать изо дня в день парохода и не иметь о нем никаких сведений, но неприятнее всего не знать даже, будет ли начальник края на Амуре, или нет. Впрочем, на всякий случай, благовещенскими властями все необходимые меры были приняты...

Не знаю, почему, при воспоминании об этом времени, мне постоянно представляется гоголевский городничий со своими распоряжениями по случаю приезда ревизора...

Прошло три недели самого ужасного, томительного ожидания и двадцатого числа, вместо парохода, приплыли две лодки — с почтой. Вышло, следовательно, что «гора ро-

дила мышь», но, за неимением лучшего, жители были рады и лодкам. По расспросам оказалось, что в Шилке воды мало, по реке бродят куры, и бабы пешком переходят с одного берега на другой. Зима в Забайкалье была бесснежная, и в мае в Шилке оказалось воды менее фута. Через несколько дней еще приплыли лодки частных лиц и получились те же неутешительные известия. Тоскливо тянулся май, маньчжуры и те повесили свои бритые головы, они тосковали, что давно не покупали русского серебра. Торговля вообще была тиха, все ждали новых товаров, свежих колониальных продуктов, а главное — русской серебряной монеты, без которой, как известно, на Амуре ничего не поделаешь. Странная однако же вещь! Маньчжуры, падкие до русского серебра, — почти не берут золотой монеты и во все время моей жизни на Амуре я ни разу не встретил нигде ни одного полумпериала. Чем объяснить это непонятное пренебрежение к золоту? А между тем, по рассказам людей, плававших вниз по Амуру и по Уссури, — там находят следы прежних золотых приисков, веденных, как заметно, в

весьма обширных размерах. Следовательно, китайское правительство знает цену золоту, да и на Кяхте его постоянно сбывалось громадное количество, сначала контрабандой, а потом, по разрешении свободной торговли, открыто. Вот тут как хочешь, так и добирайся до причин, какими руководствуются маньчжуры в делах торговли!

Пароход пришел в Благовещенск только 6-го июня, а баржи добрались до города к 20-му и 25-му числу. Лето, следовательно, наступило очень поздно.

В июне по распоряжению местного губернатора был отправлен внутрь Маньчжурии в качестве посланника в Чичикар г. Малевич, местный судья, отличавшийся, как говорили, дипломатическими способностями. Его сопровождали два переводчика: г. Перебоев и монгольский князь Гантимур. Причины посольства состояли в том, чтобы сократить лишнюю переписку, веденную между русским и маньчжурским начальством от Чичикара через Айгун, и устроить прямые отношения прямо с Чичикаром. Кроме этого его превосходительство рассчитывал на уступку

маньчжурского острова, находящегося против Албазинской станицы и части сенокоса на правом берегу. Маньчжуры, заслышав о посольстве, пронесли по всей Маньчжурии весть, что едет посол из Петербурга, покупать часть Маньчжурии — шум такой пошел, что не приведи Создатель! Однако ж эта сказка очень повредила г. Малевичу. В Чичикаре его действительно приняли за настоящего посланника, отвели ему роскошное помещение и поставили почетный караул в двести человек маньчжурских офицеров. Г. Малевич даже струсил, несмотря на свои дипломатические способности. Наутро пригласили его пожаловать в Таймунь (верховный дом судилищ). Г. Малевич отправился. Его ввели в довольно большой зал, где на высоком стуле с китайскою важностию восседал старый, седой и уже дряхлый правитель Маньчжурии, — нечто вроде нашего наместника. Тихо, едва слышно начались его старческие вопросы. Г. Малевич прямо объяснил, что было нужно, и был очень поражен грубой переменной обращения. Маньчжуры, видя сами себя одураченными своей собственной доверчиво-

стью к народной молве, — сделались непростительно сухи и холодны с г. Малевичем. Дряхлый, выживший из ума старик коротко сказал, что по силе трактата он имеет сношения только с генерал-губернатором Восточной Сибири и министром-резидентом, живущим от русского правительства в Пекине. Г. Малевич не стал с ним рассуждать и не обращая внимания ни на какие церемонии, ушел из Таймуня; почетный караул от его квартиры исчез и вместо его явился у дверей оборванный маньчжурский солдат. Через несколько времени в помещение, занимаемое им, явился один из анбаней и ласково стал извиняться в своих собственных ошибках и доверчивости по глупой сказке, распущенной маньчжурами, говоря, что дряхлый правитель чуть не отправился в царство теней, так как его одурачил подданный ему народ. Г. Малевич объяснился с анбанем и устроив что было возможно, возвратился через две или три недели обратно в Благовещенск. Айгунские анбани были сначала очень недовольны, что русское начальство как будто считало низким вести переговоры

через них, но потом, через несколько времени, дело снова уладилось и переговоры стали вести по-прежнему через Айгун. Губернатор Амурской области давно хлопотал о том, чтобы открыть торговлю по реке Сунгари, так как доносились слухи о дешевизне всякого рода продуктов в селениях этой многоводной реки. Долго шли переговоры об этой торговле и в мое пребывание на Амуре они не окончились. Впоследствии, уже почти через три года, и именно в мае месяце прошлого года, я прочитал в Биржевых Ведомостях описание первого рейса русского парохода по Сунгари до города Гирина. Поездка тоже кончилась ничем, только и узнали то, что население по Сунгари весьма большое, но торговли, по неизвестным обстоятельствам (вероятно маньчжурское правительство по обыкновению сделало строжайший приказ не иметь никаких торговых сношений с русскими) маньчжуры не хотели вести и позволяли русскому пароходу только плавать по реке, почти не давая приставать к берегу. Маньчжуры дивились огненной лодке и лезли толпами на борта парохода, отгоняемые просто

палками, потому что всякие увещания оказывались недействительными.

Китайское правительство вообще туго поддается на сближение с европейцами, хотя и прикрывает свое нежелание полным согласием и даже как будто радостью; а между тем спешит тайно разослать самые строжайшие приказания не иметь с европейцами никакого дела, никаких разговоров, стараться загромождать им путь, устраивать всевозможные препятствия и как можно менее давать возможности разузнавать что-либо, касающееся их жизни, торговли, постройки городов, количества населения и проч. Все эти строгие приказания подкрепляются угрозами отхлестать неисполнителей самыми толстыми бамбуками. Конечно такая странная политика весьма убыточна в деле торговли и ясно доказывает всю глубину невежества и близорукость взглядов китайского правительства. Оно боится сношений с европейцами из того ложного убеждения, что эти сношения будут содействовать развитию его подданных и следовательно открывать им глаза на самое эгоистическое и глупое из азиатских правительств.

Во время моего пребывания в Благовещенске иркутский купец Пахолков первый предложил маньчжурам привезенное им мезерицкое сукно, но этот опыт не представил тех выгод, какие представлял сбыт мезерицкого сукна на Кяхте. Оно всегда и в большом количестве сбывалось в Маймайтчине и в последние годы кяхтинской торговли покупалось китайцами даже на серебро. По отзывам китайцев мезерицкое сукно русских фабрик лучше английского, что и доказали сами англичане, обмундировав в Тяньдзине свою армию сукном наших фабрик, хотя английское сукно в то время было в Тяньдзине в достаточном количестве. Наши фабриканты немножко только подгадили в 1860-х годах одной не совсем скромной историей, случившейся с сукном фабрики Тюляева; но это дело, так сказать, семейное и говорить о нем не след, тем более, что при этом сбылась русская пословица «сама себя раба бьет, когда нечисто жнет»; но китайцы дело другое: они давно привыкли к торговому делу и русским известно было, что нужно привозить на Кяхту. Айгунские же маньчжуры далеко ниже их в тор-

говом отношении и до появления на Амуре русских мало видали европейских товаров; они проникали к ним только через Монголию. У маньчжур лишь в последнее время увеличился привоз кирпичного чая, а байхового почти нет. Предложил мне однажды маньчжур из Сахалина купить у него байховый чай, что-то около пяти ящиков, но это была такая труха, какую в Кяхте китайцы стыдились бы и показать. Вообще торговля на Амуре как со стороны маньчжур, так и со стороны русских, находится еще в зародышевом состоянии.

Кроме торговли с маньчжурами нужно желать конечно развития дела с Америкой и с этой-то стороны велико значение Амура в будущем. В будущем! Но в каком далеком будущем? Может быть, только внуки наших правнуков увидят развитие этого дела; увидят то время, когда американцы вместо джину, портеру и сигар будут привозить на Амур хлопок для сибирских фабрик, сахарный песок для сибирских заводов и прочие произведения своей страны; когда Сибирь в обмен будет давать свои произведения... Но повторяю, дале-

ко еще это хорошее будущее и много, много еще нужно сделать для того, чтоб оно осуществилось; нужно улучшать пути сообщения, нужно сделать реку Шилку вполне судоходной, устроить железную дорогу от Нерчинска до Иркутска... так что теперь можно об этом помечтать разве от нечего делать. Тем не менее мы закончим эту главу словами одного писателя, сказанными во время занятия Амура русскими, что «Тихий океан — это Средиземное море будущего».

От Благовещенска до р. Сунгари

I

В июле месяце следующего года, т. е. более чем через год после моего приезда в Благовещенск, я собрался отплыть вниз по Амуру, верст за пятьсот. Парохода ждать было некогда, да и неизвестно было, когда он придет: амурские пароходы, как частные, так и казенные, постоянных и правильных рейсов не имеют, а двигаются вниз и вверх по реке, как случится... Не знаю, как теперь, по прошествии нескольких лет после моего отъезда, — быть может, и не приходится больше пассажирам сидеть по две недели у берега да ждать погодки.

Нужно было мне отправляться в лодке, а купить ее на Амуре больше не у кого, как только у наших необразованных соседей — маньчжур. Наши русские на Амуре еще не дошли до той хитрости, чтобы делать лодки лучше маньчжурских. Купил я лодку и столь-

ко мне маньчжур наговорил о достоинствах ее, что оставалось только сесть в нее и она сама поплывет вверх по реке... Не шутя, — маньчжурские лодки очень хороши, легки, красивы, удобны, а главное, сухи внутри: вместо пеньки и смолы маньчжуры употребляют какую-то мастику и ею замазывают все щели и пазы лодки.

В день моего отъезда стояла жаркая погода. Мои новые приятели, продавшие мне лодку, пришли посмотреть на мой отъезд и за ними следом привалила толпа маньчжур. Они бесцельно, каждый день, приплывают на наш правый берег и, толкаясь из дома в дом, из улицы в улицу, рады от скуки всякому зрелищу: скука и безделье привели их и к моей лодке. Все они теснились на берегу, приставая ко мне с различными вопросами, — куда я еду, да зачем, да у кого купил лодку и сколько дал за нее и какими деньгами — кредитными, или серебряными? Одни дергали меня за рукава, нетерпеливо желая ответа на свои вопросы; другие лезли ближе к лодке и старались увидеть, что именно я с собой везу; на их бритых головах колыхались широкие поля

соломенных шляп и задевали краями одна другую.

Говору, толкотни и шуму не было конца.

Наконец мы кое-как собрались в путь и лодка моя отчалила от берега, рулевой начал править, как говорят пловцы «в реку», двое гребцов заработали веслами и вскоре лодка моя выплыла на самую середину широкого Амура.

Быстро удаляясь, мы оставляли за собой растянутый вдоль берега город Благовещенск: бедные, маленькие избушки и вырытые в берегу землянки беднейших обитателей города; длинные, однообразные казармы; неуклюжий, десятиконный дом, занимаемый губернатором, дом, служивший долго предметом удивления приезжих иностранцев, потому что был построен в таких широких размерах в то время, когда остальные жители города, имевшие право на казенные квартиры, теснились и жались по несколько семей в одном домишке. Проплыли мы мимо этого дома и мимо массивных пушек, стоящих против него, на страх маньчжурам... Остался за нами город с огромными казенными амбарами, в

которых хранился хлеб и спирт, вывезенные из амурской кормилицы — Забайкальской области; осталась позади и высокая каланча, не имеющая ни шаров, ни часового, и длинный ряд балаганов, составляющих собою ярмарочные ряды, и несколько домишек частных обывателей города, — все это окрашивалось блестящими лучами летнего солнца и издали казалось, пожалуй, даже и красиво, и как будто многолюдно, тогда как вблизи было бедно и пусто, и при внимательном рассмотрении доказывало собою всю немудрую искусственность амурской колонизации, обращавшей слишком много внимания на красоту внешнего вида...

Далее за городом возвышалась на берегу новая постройка деревянного собора, долженствовавшего заменить собою ту часовню, в которой была устроена временная церковь. Этот собор потому строится за городом, что предполагается впоследствии заселить город верст на пять в окружности, тогда, следовательно, собор будет в самом центре города... если только город заселится.

Еще далее от новой постройки собора вы-

сунулась на берег какая-то крытая соломой, не то избушка, не то маньчжурская кумирня, но за избушку это соломенное здание принять было нельзя, потому что на Амуре таких больших построек частные жители не делают; а за кумирню — тем более: на нашем левом берегу не терпят идолопоклонства.

Это доказано было в первый год водворения русских на Амуре, — в то время торжественно предали сожжению находившуюся около Благовещенска кумирню, которая пользовалась особым уважением от кочующих племен (орочон, гиляков, гольдов), собиравшихся в известное время года к этой кумирне для своих богослужений. Несмотря на то, что им известно было о преднамеренном сожжении их кумирни, — они вскоре после пожара построили на том же месте новую кумирню, надеясь вероятно на русскую доброту, но надежды их не оправдались и новая кумирня тоже была сожжена. Третьей кумирни преследуемые идолопоклонники строить не стали и ушли внутрь страны, подальше от русских поселений. Сделано ли это отдаление кочующих племен с нашей стороны сознатель-

но, для того, чтобы самим было просторнее, или жгли кумирни ради только потехи, — неизвестно. Во всяком случае, мы, русские, действовали в ущерб своим интересам и, удаляя от себя эти племена, лишали нашу торговлю новых потребителей.

Итак, то здание, мимо которого мы плыли, имело другое назначение. Оказалось, что это была старая заброшенная конная мельница: ее строили в первые годы по переселении на Амур; но строители не имели необходимых сведений в механике и долго возились со своим детищем. Они несколько раз переделывали сделанное, несколько раз меняли механиков-самоучек и в конце концов отступили от своего намерения. Так здание и осталось в забвении, для доказательства потомству всей бедности наших домашних знаний.

Но с безлесного, почти песчаного берега, не имеющего ни одного деревца, кроме тех, которые искусственно разводят по набережной города, — посмотрим на правый, маньчжурский, берег.

Там, из-за сплошной зелени кустарников и деревьев выглядывали своеобразные по-

стройки маньчжурской деревни «Сахалин ула хотон». Деревенька эта вся купалась в зелени и только кое-где прорывалась сплошная масса молодых берез и выступали на первый план деревенские постройки; за деревенькой показались желтые высокие скирды хлеба, дополняя собой веселую картину. Ниже по реке, в полуверсте от первой деревни, тоже купаясь в зелени, промелькнула другая, жители которой, выйдя на берег и приложив руки к губам в виде рупора, кричали к нашей лодке: «Анда (друг)! Рыба купи! Анда!». Они были по большей части хлебопашцы и рыболовы, тогда как первая деревня, при основании г. Благовещенска, заселилась купцами, переехавшими в нее из Айгуна для торговли с русскими.

В двух верстах от Благовещенска, при устье р. Зеи, теснится и жметя по левому, русскому, берегу маленькая казачья станица «Нижнеблаговещенская»; криво и косо стоят плаксивые избы, нет тут ни тени, ни лесу, ни скирд с хлебом; ходят по берегу тощие коровенки да трутся грязными боками свиньи о плетень, вконец раскачивая эту ветхую изго-

родь казацких дворов. Поселенные на этом месте казаки уже несколько лет прислушиваются к вестям, доходящим из города; определенного они ничего не слышат, но кажется им, что вот-вот выйдет откуда следует приказ переселяться на другое место и оставить обработанные поля и огороды. Вести, доходящие из города, несмотря на свою неопределенность, по всему вероятно подтвердятся на деле, потому что от Благовещенска его основатели ожидают большой прыти и пророчат ему расширение до устья реки Зеи. В ожидании-то этого, станица Нижнеблаговещенская как будто служит препятствием к увеличению молодого города, да и самый вид печальных избушек производит на некоторые лица неприятное впечатление[24]...

Река Зея, равная шириной Амуру, впадает в него с левой (северной) стороны и при своем впадении взрыла на середине Амура широкую мель, которая, год от года увеличиваясь, превратится впоследствии в песчаный остров. Амур, приняв в себя Зею, широко раздвинул свои высокие обрывистые берега и, спокойный, блестящий как гладкое стекло,

уносил свои воды вниз, отражая в них и сероватые дымчатые облака, и яркие лучи горячего летнего солнца. На правом маньчжурском берегу выглянули еще две-три бедные деревеньки, с полунагими ребятишками-маньчжуренками, бегавшими по берегу реки, и потом потянулись крутые, обрывистые берега с высоко поднявшейся травой и изредка пестреющие перелесками.

На половине пути от Благовещенска до маньчжурского города Айгуна (на правом берегу, в 30 верст. от города) нам встретился пароход с уродливым высоким корпусом и одним большим колесом, устроенным сзади его. Он едва двигался вперед против течения. На передней палубе, или вернее, — в узеньком проходе между бортом и каютами, теснились пассажиры всякого звания и состояния. Тут были и американцы, везде пронюхивающие свою выгоду и сразу угадывающие, какой товар куда следует везти. Остановимся пока на них.

Лишь только началась наша колонизация на Амуре, лишь только мы успели основать Николаевский порт, как приплыли к нам в го-

сти американцы и привезли джинну, портеру, вишневой наливки и сбыт этим продуктам был большой, потому что в то время в России существовал акцизный откуп и на Амуре, кроме казенного спирта, водки никто не имел права привозить. Пили мы американские напитки и втайне радовались, что даем нашим соседям случай наживать деньги. Впоследствии они привезли нам сахару и сигар и долго об этом последнем трубили амурские публицисты, расписывая в журналах и газетах о том, как в Николаевский порт приплывали один за другим американские корабли и как быстро развивалась наша торговля с Америкой. На деле оказывается теперь-то, что привоз ограничивается, как сказано выше, вином, сахаром да сигарами, за которые мы в обмен ничего не можем дать, кроме русского серебра, да и то в небольшом количестве. Американцы и гамбургские немцы это конечно раньше нас поняли и, пробравшись до Благовещенска, завели дела с маньчжурами, для того, чтобы купленное у них перепродать нам в Николаевске (скот, рис, гречу, пшеничную муку и проч.).

Теперь посмотрим на остальных пассажиров парохода. Мы потому так внимательно занимаемся ими, что из этого знакомства можем отчасти составить понятие об амурских делах.

Стоит, например, у борта парохода юрковатая фигура русского купеческого приказчика. Одет он в длиннополый кафтан, в бархатную жилетку с блестящими пуговицами, и своей фигурой, руками, подпертыми в боки, фуражкой, сдвинутой набекрень, ясно дает знать, что вспоила и вскормила его Волга, где он на барже командовал рабочими и умеючи сдавал хлеб в Рыбинске. Перебрался он на Амур попытать счастья и хоть не командует больше бурлацкой артелью, не обсчитывает приемщика при сдаче хлеба, но остался в нем все тот же человек и только деятельность его теперь другая. Возвращается он из Хабаровки, где накупил соболей у маньчжур на русские серебряные рубли и конечно не упустил случая зашибить на свой пай копейку благонамеренным образом. Соболи эти отправятся в Москву и оттуда снова поплывет на Амур русское серебро. Наступит весна следующего го-

да, — снарядит его хозяин в Сретенской станции баржу, нагрузит ее ситцами и платками и наш волгарь снова поплывет по Амуру, останавливаясь у каждой станицы для торга с казаками.

Тут же на пароходе и офицер, конечно весьма молодой человек, как все амурские офицеры, которым доверяются большие и серьезные дела. Офицер этот непременно возвращается в Иркутск, где и ждет его награда за исполнение трудного поручения. А трудное поручение заключалось в том, что он погрузил на плоты переселенцев и рогатый скот и сплавил вниз по Амуру, как тех, так и других, с одинаковыми удобствами.

В другой части парохода, вблизи колеса, видели мы и заклеянные лица ссыльных поселенцев, окончивших срок каторжных работ в нерчинских заводах и получивших право гражданства на Амуре за свое добровольное переселение.

Вот главные представители амурского народонаселения: американцы, представители соседнего государства, с которым амурцы предполагают иметь в будущем большие де-

ла; русский приказчик, настоящее и будущее амурской торговли, не имеющей возможности сделать один шаг без помощи русской серебряной монеты; офицер, представитель силы охраняющей, сплавающей и расселяющей по всему длинному амурскому побережью тех лиц, которые считаются, по большей части, гуртом и слывут под именем амурского пешего и конного казачества; переселенцы из ссыльно-каторжных... но о них что же сказать? Эти люди прочной оседлости не имеют, как и те штрафные солдаты, которых переслали из России и переженили в Иркутске на женщинах известного поведения, для того, чтобы поскорее внести на Амур семейный элемент...

Пароход, так долго остановивший на себе наше внимание, назывался по имени одной из сибирских рек: «Лена». Он был сделан так, как делаются в Америке вспомогательные баржи, которые ходят на буксире за пароходами, помогая их ходу своим высоким задним колесом. На Амуре эта американская баржа заменяет собою пароход и поднимается вверх по реке не более 100 верст в сутки. Тоска возъ-

мет плыть на таком пароходе и, для того, чтобы вконец измучить пассажиров, эта несчастная «Лена» трещит, свистит и пыхтит так, что пассажир, раз прокатившийся на этом пароходе, более никогда не подойдет к нему близко.

Колесо сзади парохода медленно вертелось и бурлило спокойную поверхность воды. Мои рабочие подшучивали над пароходом и называли его убогим странником. К чести амурского пароходства, как частного, так и казенного, нужно сказать, что такой конструкции, как «Лена», по Амуру плавают только два парохода, остальные пароходы имеют обыкновенное устройство и хотя часто ломаются, но ходят по реке очень скоро.

Но мы проплыли давно мимо парохода и другие виды занимают нас, другие мысли приходят в голову.

Жар начинал спадать, солнце закатывалось, бросая вдоль реки радужно-багровый отблеск; вдали стали показываться, на высоком крутом берегу, крыши маньчжурских построек, — это начало города Айгуна, города, имеющего 30 тысяч населения и знаменитую

крепость с деревянными полусгнившими стенами. До города оставалось нам проплыть версты две. На этом расстоянии, по отлогому песчаному берегу, лежали на боках сотни китайских джонок (больших лодок). Эти джонки, по словам маньчжур, могут составить могучую флотилию, несмотря на то, что все рассохлись и в щели их свободно могут лазить собаки...

Мы подъезжали к городу. На берегу тотчас же появились маньчжуры с предложением рыбы, яиц, табаку листового и проч. Маньчжурки, в широкорукавых кафтанах, возились около рыболовных сетей; завидя нас, они оставили свои работы и с любопытством всматривались в нашу лодку, приложив руки к глазам в виде зонтика.

— Анда! Ры-ы-ба-а! Анда-а! Купи-и! — неслось с берега.

— Яичка-а! Таба-а-ки!..

Мы причалили к берегу и пошел разговор на только что начинающем слагаться русско-маньчжурском наречии. Говорящие на этом наречии всего более употребляют в дело руки, глаза и всего менее язык. Мой рулевой

задумал купить табак и подошел к маньчжур-ру, который давно держал в руках несколько папушек и ждал покупателя.

— Ну, — говорил рулевой, — тыкая пальцем в табак.

— Айя! Айя (хорошо)! Плиятер! — заискивающим тоном залепетал маньчжур и умильно взглядывал на покупателя.

— Чего айя? Эх ты! — сердился рулевой, — говори, почему?

— Плиятер... а-а! айя! — снова вытягивал маньчжур.

— Русским тебе языком-то говорю, дубина, говори, почему табак!

А! — Табаки! А-а! Изволя... Тута!

И маньчжур показал в воздухе два пальца.

— Два пятака что ли? Ну?

— А-а! Тута...

И снова два пальца завертелись перед глазами рулевого.

Рулевой вынул из кармана два пятака и показал маньчжур. Маньчжур запрыгал, замотал головой и смеялся, довольный тем, что они друг друга поняли.

— А-а! Плиятер! Изволя-я! Табаки... ха! ха!

ха!..

Торг кончился. Мы пошли в лодку.

— Анда! Рыба! Э-э! Яичка-а! Э! Анда-а! — кричали маньчжуры, теснясь толпой около нашей лодки. Маньчжурки робко заглядывали из-за толпы на нас и переговаривались между собой, размахивая своими широкими рукавами. Толпа теснилась, теснилась и до того нажала стоявших впереди, что двое из них повалились в воду. Шум и хохот поднялся ужасный; свалившихся не пускали на берег, благо неглубоко; крик и брань перемешивались со смехом и среди всего этого слышались крики.

— Анда! Купи-и!.. Яичка!..

Мы отчалили от берега.

Стемнело. В двадцати верстах от Айгуна мы остановились у нашего русского берега, у казачьей станицы, — второй от г. Благовещенска.

Первая станица построена против Айгуна. Она называется «Неожиданной», потому что строилась ночью и в одну ночь была построена, к удивлению маньчжур. Удивляться тут собственно нечему: вся станица заключается

только в одной избушке, при которой содержится почтовая станция.

Вторая станица от города, у которой мы пристали ночевать, — получила на Амуре некоторую особенную известность. Жители этой станицы, в первый год своего заселения, по чьему-то разумному совету, задумали сделать из местного дикого винограда вино, чтобы поднести его начальнику края, когда он будет проезжать по Амуру. Долго и безуспешно трудились казаки, много истребили винограду, много потратили времени на приготовление вина, но наконец добились-таки своего, — сделали.

Наступил известный, нетерпеливо ожидаемый день. С трепетом сердечным и с дрожанием в ногах, выборные от станицы старики поднесли начальнику края целую бутыль какой-то буроватой жидкости.

— От нашего усердия... Вашему высоко... продукты... так сказать, с покорностию... — мямлили выборные, едва удерживая в руках бутыль.

— Что? Что такое? — в немалом удивлении спрашивал начальник.

— От нашего усердия... то есть... одно слово... продукт...

Ничего не понимая, начальник обратился с вопросом к сотенному командиру, непосредственному начальнику выборных.

— Они ваше-ство... местный продукт... — начал сотенный и сам спутался.

— Что вам, ребята, нужно? — обратился начальник края опять к выборным.

А они стоят ни живы, ни мертвы, едва держат бутыль и испуганные строгим взглядом своего сотского командира, думают: пришел нам последний час.

— Что же вы молчите? — снова спросил начальник.

— Превосх... Лозы виноградные... местный настой...

— «Продукт! Продукт!» — сердито шептал сотенный командир, дергая за полу одного из выборных.

— Подносим... от трудов... — медленно мямлили выборные.

— «В память вашего посещения», — подшептывал сотенный командир, по всему вероятию, автор неудавшейся речи.

Начальник края слушал-слушал и наконец потерял всякую надежду что-либо понять из бессвязного лепета струсивших казаков. Велел он поставить бутыль в комнате, но вина проглотить не мог, — тут же и выплюнул, проговорив: «фу ты, гадость какая!». Выборные дрожали и низко кланялись, а сами инстинктивно пятились к дверям.

— Благодарю! Можете идти... — сказал наконец начальник и казаки торопливо улизнули из комнаты.

Долго они вздыхали, стоя на крыльце, и обтирали рукавами своих праздничных кафтанов раскрасневшиеся и покрытые градом пота лица.

Рассказывали впоследствии, что знаменитая бутылка «с местным продуктом» была отдана на пароходе матросам; матросы пили, морщились и ругали казаков за то, что они приготовили такую «бурду»; сотенный командир тоже ругал их неучами и болванами, за то, что не могли порядочно сказать коротенькой речи; казаки ругали сами себя, уж Бог знает за что, и таким образом дело окончилось взаимными ругательствами.

Простояли мы у этой станицы до рассвета. Утром казаки подошли к нашей лодке. Мои рабочие напомнили им о виноградном вине, о том, как они представлялись с ним к начальнику, и казаки принялись ругаться...

Чем далее мы плыли, тем лучше становилась растительность. Стали попадаться леса дубовые, ясеневые, липовые: течение Амура, начиная от г. Благовещенска, круто поворачивает на юг и в таком направлении продолжается верст на шестьсот, почти до ст. Михайло-Семеновской, откуда делает крутой поворот к северу.

На третий день нашего плавания мы добрались до впадения реки Буреи в Амур. Быстрая и широкая Бурей, впадая в Амур с левой (северной) стороны, как будто раздвигала горы, стоящие с обеих сторон при ее впадении. Вода этой реки значительно холоднее воды амурской и по рассказам казаков, — она верст на десять течет самостоятельно, не сливаясь с водой Амура. Я утомился порядочно и, добравшись до ст. Иннокентьевской, остановился в ней отдохнуть.

Станица Иннокентьевская останавливает на себе внимание путешественника потому, что она выдается из ряда тех бедных станиц, мимо которых мы проплывали, в ней не так заметен тот казенный характер амурских станиц, домишки которых построены на известное расстояние один от другого и вытянуты по окраине берега, для того, чтобы станица казалась многолюдной. Иннокентьевская и без этих искусственных мер — довольно населенная станица. В ней есть весьма красивая деревянная церковь, какой до сего времени город Благовещенск не имеет; торговое значение этой станицы впоследствии должно упрочиться, как среднего пункта между городом и Хинганским хребтом, а за Хинганским хребтом в Амур впадает с правой (южной) стороны река Сунгари, по берегам которой большое население маньчжур. Все это дает надежду видеть впоследствии на месте Иннокентьевской станицы город.

На второй день моего приезда в Иннокентьевскую, у берега этой станицы показалось

несколько маньчжурских лодок, и одна из них имела на себе нечто вроде каюты. Лодки поднимались вверх по реке на шестах и бичевником; оборванные маньчжуры тянули лодки и, проходя по берегу мимо станицы, все оглядывались назад, на ту лодку, где была каюта: они видимо ждали приказа остановиться. Действительно, из каюты высунулась ожиревшая фигура краснолицего маньчжура; он что-то крикнул рабочим и лодки пристали к берегу. Вблизи лодок тотчас был раскинут шатер и краснолицый маньчжур вылез из своей каюты: он был высокого роста, держал себя важно и, проходя в раскинутый шатер, не обращал никакого внимания на раболепные поклоны своих рабочих. Этот важный маньчжурский барин был какой-то чиновник, занимавшийся торговыми делами: он плавал вниз по Амуру и вверх по реке Сунгари и теперь возвращался обратно в Айгун после своего торгового путешествия.

Около шатра задымился костер, забегали суетливые фигуры прислуги. Рабочие сели в сторонке и тоже развели огонь, приготавливаясь к трапезе. Я подошел к шатру хозяина, за-

глянул в него, но войти не хотел, опасаясь встретить в нем негостеприимного маньчжурского нойона; но владелец лодок заметил меня и весело замотал головой. Я вошел. Он сидел на ковре, сложив ножки калачом, и курил трубку; знаком руки он пригласил меня сесть с ним рядом и стал внимательно рассматривать мой костюм. Так как я не знал по-маньчжурски, а он не смыслил ни слова по-русски, то наши разговоры ограничивались только одним: айя да айя. Он потреплет меня по плечу и, улыбаясь, скажет: «урус айя»; я тоже потреплю его по плечу и проговорю: «маньчжур айя». И — оба довольны, что понимаем друг друга, стало быть и желать лучшего не надо. Через несколько времени внесли в шатер чай, араку (рисовую водку) и разные закуски, которые сразу ударили в нос запахом чесноку и свинины.

— Урус айя! — снова говорил маньчжур и показывал руками, что надо есть.

— Маньчжур айя! — отвечал я, показывая на горло, что сыт.

Маньчжур замотал головой и снова приставал ко мне с неизменным: «урус айя». От-

казываться было неловко, но и есть приготовления маньчжурской кухни тоже не доставляло большого удовольствия. Я крикнул своего рабочего и велел принести бутылку с коньяком, взятую мною на дорогу. Маньчжур выпил, потер себе живот и не знал, как бы выразить свое расположение ко мне; он брал меня за руки и подносил их к своей груди, закрывая глаза, потом, помолчав несколько времени, горячо произносил: «айя! урус айя да айя!».

Едва мы могли с ним расстаться, — полюбили, значит, друг друга.

Вскоре пошел маленький дождь и мой новый приятель распорядился об отъезде.

Вмиг все было убрано, сам он залез в каюту, а рабочие его снова потянули на бичевнике лодки, шагая босыми ногами по сырому берегу реки. Казаки Иннокентьевской станицы долго стояли на берегу, наблюдая за работой маньчжур.

— Тоже цепки. Гляди, как шагают, даром, что тонконоги...

— Тонконогому вольготнее, потому легко...

— Нет я, ребята, думаю, маньчжур этот, хо-

зьяин ихний, настоящим барином живет.

— Да-а... Силу, значит, забрал.

— Деньги-то, видно, везде в почете...

— Какой гладкой да жирной...

— Отъелся.

— Спит, чай, тоже много...

И т. д.

КазакИ потолковали о богатом маньчжуре и, заметив мои сборы в путь, подошли к моей лодке. Заметно было, что им нечего делать и, стало быть, приезд или отъезд кого-нибудь был для них праздником и доставлял материал для разговоров.

За Иннокентьевской станицей наше плавание нарушалось частыми ветрами и мы ждали окончания их на берегу, около разведенного огонька и, переждав бурю, пускались снова в путь. Проплывали мы небогатые амурские станицы; казакИ кричали нам с берега: «Эй? Причаливай!», — и махали руками. Лишь только лодка наша приставала к берегу станицы, тотчас собиралась толпа казаков с вопросами: кто едет? откуда, куда и зачем? Спрашивали водки, табаку, товаров; прекрасный пол, везде остающийся верным сам себе,

любопытствовал о нарядах, о клетчатых платках и о красных, ярких ситцах. Получив от меня отказ в продаже товаров, казаки как-то невольно терялись, начинали смиреннее говорить, а некоторые из робких спешили снять шапки.

— Да вы, ваше высокородие, может, левизор?..

— Нет. Я еду по своим делам.

— Та-ак-с... А то тут все ждут левизора... Мы думали, не он ли!

— Нет. Ревизор в лодке не поедет. Он поедет на пароходе, на казенном; так и ждите.

— Та-а-к-с... То-то у вас товару нет... Мы думали левизор...

И опять пришлось объяснять, что я не ревизор, и опять получилось в ответ: «Та-а-к-с».

— А нам бы теперича купцы с товаром, больно бы нам надо этого купца, и где это они там застряли, так долго не плывут?

У следующей станицы та же история.

— Не левизор ли?

— Какой те левизор, — с бородой...

— Да вишь спрашивают...

Дело объяснялось и разговор переходил на

казацкие нужды.

— Купца бы нам с товаром...

— Теперича собошь у меня лежит, променять бы. Лежит, все равно — без толку.

— Хозяйка на платье просит. Ильин день на носу, а купца нет; ссоры что в избе — не приведи Господи...

— Где эти купцы застряли? Не нужно их — лезут, соблазн один, а когда надо — не дозовешься...

— Каково сено, ребята?

— Да сено что? Скота у нас мало, обойдемся...

— Сеяли много?

— Сеяли... Известно, по положению. Семяна казна дает...

— Бесплатно?

— Пошто бесплатно! Опосля будем выплачивать. Теперь дело внове, не обжились еще. Известно — переселили нас, должны помочь давать...

— Ленивы, говорят, вы, мало работаете; все больше в халатах по станице погуливаете, правда это?

— Ретивым-то быть не от чего. Не веселит

все; места новые, дико как-то кругом... Теперича все от казны, а дома за Байкалом все свое было...

— Да нет ли с вами араки? Спирт в казенном складе весь вышел.

— Нету.

— Та-ак-с... Плохо дело, — купца нету...

И казаки, вздыхая, расставались с нами.

За тридцать верст не доезжая до Хинганского хребта, выглянула высокая сопка, одна из хинганских возвышенностей.

— Вон она, сопка-то. Видишь, как ее выперло, под самые, что есть, облака закатилась... — говорили рабочие.

— Это Раддевка, — пояснил рулевой, — у этой самой горы Раддевка стоит, станица. Тут, сказывают, в этой Раддевке, жил какой-то ученый, собирал разных мелких зверьков и птишек; цветочки собирал разные и так он об этих зверьках и цветках заботился, — сказать нельзя. От казны, говорят, ездил. Удивительное дело! О казаках теперича, с испокон веку, отродясь так не заботились, как об этом зверье. Теперича взять тоже, вот топографы всякие ездят, речки, горы, все это записывают, а

станции расселены кое-как. Вон из-под Хабаровки вятские крестьяне сбежали в Благовещенск, потому, говорят, земля глинистая... Чево, значит, топограф тут... Штраф надо за это...

Рулевой воодушевился и ораторствовал. Гребцы заслушались и положили весла.

— Ну, чево вы глаза-то пучите? — прикрикнул рулевой, — налегайте плотнее, вот скоро в щеки войдем, лежать будете.

— Что это за щеки? — спросил я.

— А это так по-нашему Хинган прозывается, щеки, значит, потому он такой уж есть: горы, это, стоят с обеих сторон, высокие, крутые, все ровно кажут, будто щеки.

Рулевой закурил свою коротенькую трубочку-«носогрейку» и с видом знатока начал посматривать в разные стороны, как будто обзревая местность. Он и его товарищи, гребцы, были из ссыльно-каторжных. Окончив свои сроки на каторжной работе, они переселились на Амур и зарабатывали себе летом хлеб тем, что плавали на купеческих баржах бурлаками. Ко мне на лодку они нанялись уже совершив плавание из Благовещен-

ска до Хабаровки (800 верст), откуда приплыли на пароходе, исполняя на нем обязанность дровоносов. Все трое они были люди смиренные, трезвые, в отношении ко мне предупредительны; казалось, клейма, знаки которых еще оставались заметными на их лицах, — были положены по ошибке... Впрочем, рулевой изредка как-то прорывался и нет-нет, да и даст о себе знать каким-нибудь резким оборотом речи, презрением ко всему окружающему, или засмеется иной раз над тем, над чем другой человек мог бы скорее заплакать. Однажды во время бури мы лежали на берегу, около разведенного огонька. Ночь была темная; сзади нас шумел и трещал густой лес, впереди — бушевала река, вздымаясь высокими горами, и качала нашу лодку из стороны в сторону. Рулевой сосал свою носогрейку и задумчиво смотрел в темную даль бушевавшей реки; гребцы лежали вверх спинами и наблюдали, как ветер раздувал огонь пылавшего костра.

— Ишь рвется как, — заметил рулевой, указывая на лодку, — тяжело на привязи-то...

Это мне подало мысль и я начал расспра-

шивать моих рабочих о их прошлом, но ничего добиться толком не мог. Один начал было рассказывать о каком-то семействе старого священника, но лишь только рассказ его стал подходить к развязке, а именно к тому времени, как они забрались в дом ночью, оторвав с улицы ставни, — как он прекратил его и замолчал.

— И чем же кончилось?

— Известно чем...

И опять замолчал.

— Ограбили вы его?

— Да, ограбили...

— Но не убивали никого?

Ответа долго не было. Рулевой поднялся со своего места, подошел к огню и, толкая ногой головню, смеясь, отвечал.

— Нет, пошто убивать. Они только поздоровались да простились... Все больше насчет амуров... то есть не этих (он указал на реку), а других, самых нежных...

Рабочие принужденно захохотали.

— Что об этом, барин, говорить... Мало ли что было... Мы приняли свою вину, грех наш до нас и дошел...

— Долго были на заводах?

— По двенадцати лет.

Рулевой опять прервал расспросы.

— Ну-ка, ребята, будет болтать, что тут толокно-то толочь, — запевайте-ко песню, вспомним старину; по ветру-то оно здесь хорошо разнесет.

И они затянули песню: «Прощай Томско и Тобольско, прощай Шадрин городок», но песня, как говорится, не выходила и по ветру не разносилась, а тут же у костра и замирала. Рулевой сам же ее и прервал.

— Эх вы, коты мурлыки, — сказал он, вставая на ноги, и пошел в чащу леса собирать сухой валежник.

Вошли мы в щели. Амур сузился наполовину; течение его было быстро и наша лодка пошла почти с удвоенною скоростью. С обеих сторон реки стояли высокой стеной горы Хинганского хребта; хвойный лес, начинаясь с подошвы гор, казался, высился по ним до облаков; река извивалась между гор и, делая крутые повороты, то направо, то налево, невольно заставляла нас обманываться: окруженные со всех сторон высокими горами, мы

плыли точно по какому-то волшебному озеру. Ночи были лунные, но в этом волшебном озере царствовал полумрак и только изредка, кое-где, в изгибе реки, бледной полосой падал свет луны на воду и снова исчезал, освещая лишь наверху гор мрачные сосны и ели. Так извивается Амур в Хинганском хребте на протяжении ста верст.

По горам сообщения нет, разве только какой-нибудь смелый казак пустится верхом, да и колесит справа налево, выбирая удобную тропинку; сообщение бывает только до заморозков, пока не появится на реке лед, а потом прекращается до того времени, пока река не замерзнет. В лодках, летом, против течения трудно идти на веслах и в местах, удобных для прохода, идут бичевником или на шестах.

В Хингане мы плыли не останавливаясь с вечера почти до рассвета, потому что стояла тихая погода и мы боялись потерять хорошее время; но перед утром рабочие утомились и просили отдыха. Мы пристали к берегу, развели огонь, но не успели сварить себе чаю, как лес над нашими головами затрещал и закачался; вслед за этим треском раздался отда-

ленный шум в деревьях, какой-то дикий, страшный крик огласил тихий ночной воздух, эхо откликнулось в дальних горах и потом вблизи нашей лодки заплескалась вода, — большой зверь поплыл на противоположный берег. Какой был зверь, нельзя было разглядеть в темноте.

Я испугался и велел поскорее отваливать от берега. Мои рабочие тоже трусили и только рулевой хотел казаться спокойным, но однако же не замедлил поскорее вскочить в лодку.

Мы торопливо плыли на середину реки, чтоб быть подалее от берега.

— Что это такое было? — спрашивали рабочие после продолжительного молчания.

— Звери разыгрались промеж себя, — ответил рулевой.

— Больно уж страшно, крик-от...

— Давили может кабана какого...

— Боязно...

— Чево боязно-то? Мы-то трусим, а они нас трусят тово больше...

Так мы от неудавшейся стоянки и плыли, пока совсем не рассветало, куда и сон наш

пропал.

Подплыли к какой-то маленькой станице, прилепившейся между гор в ущелье, «на подушке», как рассказывали казаки.

— Место у нас здесь незавидное, пахотной земли почитай что и нету вовсе, ну и луговой тоже не богаты, — на другое бы перебраться...

— Где же вы хлеб сеете?

— Да вон там за горой, поляна такая вышла, подушка опять эдакая, вот туда, за этой горой, — тут и пашем.

— Скучное место, батюшко, скучное, тоскливое; горы эдакие вокруг тебя страшные, все горы да горы, да лес дремучий, зверье всякое, — поясняла мне какая-то женщина-казачка.

— Ночью, иной раз, за избами нашими медведь мычит; барса тут какая-то есть, оногдысь[25] корову задавил...

— Зато соболей у вас тут много. Казаки, я думаю, добывают их? — спросил я.

— А господь знает, бьют видно...

Женщина помолчала, поглядела внимательно на лодку и спросила.

— Мне бы на сарафан ситцу...

— Нету, тетушка, — не торговой я.

Женщина низко поклонилась.

— Простите уж вы меня, бабу глупую...

— За что прощать, помилуй?

— А я думала — купец с торгом...

И пошла поскорее от лодки.

— Ишь ты как улепetyвает! — подсмеивались мои рабочие, — баба так баба и есть.

К вечеру, к позднему вечеру, нам случилось остановиться у небольшой станицы на ночевую. Мы развели на берегу огонь и начали варить ужин. На огонек подошли казаки и казачки. Сначала завели они расспросы о товарах, о купцах, а потом разговор перешел на их житье-бытье. Старый, седой старик-казак долго слушал наши разговоры и молчал, пошевеливая палочкой огонек; рядом с ним сидела, поджав под себя ноги, старуха — его жена. Долго шел разговор о Забайкалье, о трудности жизни на новых местах, старик все побрякивал и молчал.

— Что же ты, дедушка, молчишь?

— Да что, не дородная (не хорошая) сторона!

— Зачем же ты поехал сюда?

— Да вот ребята... Переселили их, ну и я за ними... Вот мы со старухой поживем еще годок, другой, да поедем на свою сторону умирать.

— И, и, родимой, — захрипела старуха, — какая здесь сторона, — курицыдохнут, идет, идет, моя голубушка, да как трахнется, так ей все животики и выворотит.

— Это, ваша милость, только спервоначалу было, теперь ничего, Бог милует, — заметил старик.

— Значит жить можно?

— Можно не можно, а живем, пока Бог грехам терпит... Вот сынков нам из Расеи понаслали сюды, с ними справиться силы нету...

— Какие это сынки?

— А штрафные солдаты. Понаслали их сюды, да и дали нам на каждую семью, как будто в сыновья, — возись с ними. Народ озорник, балованной, — одно слово ухорезы.

— Ягоды здесь никакой нет, — брякнула вдруг какая-то молоденькая казачка.

— А ты за ягодами что ли приехала? — спросил мой рулевой.

— Не за ягодами... а все же...

— Ну те совсем с ягодой-то, — перебил старик, — тут дело говорят, а она об ягоде... Есть тебе голубица, кислой виноград есть, — чево еще надо?

— Да я так только... сказала...

И застыдилась.

— Вот теперичка, ваше почтение, — обратился старик ко мне, — правду ли, нет ли сказывают, что якобы сам китайский император нашему Батюшке Белому Царю слезную грамоту писал и униженно молил ослобонить его землю, этот самой Амур, а нам казакам, чтобы оборотить на свою сторону?

— Не знаю, — отвечал я.

— Эх ты, — вступился в разговор рулевой, сам-то ты китайской император и есть, а еще старик! Какие тут тебе слезные грамоты? Завоевали наши русские этот Амур и шабаш! Сила оружия значит, тут уж грамоты не помогут... Выдумал!

Старик покосился на рулевого, посмотрел на меня и, кажется, подумал что-то вроде того, что «хочется же, мол, людям с такими головорезами ездить».

Я попросил рулевого не мешаться в наш

разговор и продолжал слушать старика.

— Да вы напрасно уши-то развесили, право. Черта ли их слушать, — наврут они вам с три короба, — с хохотом говорил мой клейменный спутник и залез в лодку.

От тоски о родной стороне, от слезной грамоты китайского императора разговор перешел на охоту.

— Бьем мы здесь понемногу белку, тоже, мало дело, соболишка колотим. С ноября, этак в начале поста рождественского, уходим в горы, а к новому году, либо к масляной неделе, домой оборачиваем. По счастью да по уменью глядя и несем кто сколько добыл, кто десяток, а кто и два; которы у нас вон заправски-то стрелки, так и по три десятка добывают. Прежде здесь до нас гольда да орочон жили, они, надо быть, много добывали, потому стреляют важно; уж про то слова нет, что они только в головку бьют зверя, в самую, значит, маковку, — это уж у них завсегда, а то вот что еще делают, — близко зверя не бьют, а подалее от него отходят, для того, чтобы пулька в голове у зверя осталась, либо упала бы где поблизости, чтобы ее найти было можно

да опять в дело пустить.

— Что же, они богато живут?

— Нет. Бедность у них непроходная. Дань, сказывают, большую с них маньчжур берет; поедет, говорят, чиновник и оберет, почитай, всех соболей; спрячут они другой раз свое добро-то, — так ищет чиновник, бьет их, а то и в Чичикар отправит, к самому набольшему чиновнику; другие, слышав о приезде чиновника, разбегутся, кто в лес, кто куда, — много греха-то у них. По весне как-то они к нашей станице прикочевали; река-то еще не вскрылась, холодненько гораздо было, а у них шалашик из липовой коры сделан, худенькой такой, везде сквозит да дует. Зашли мы туда к ним, — оборвыши все до единого, чуть-чуть только не нагие; уж как только они зиму зимовали, — удивленье! Котелок в шалашике-то на огне стоял, поглядели мы, что они варят, поглядели да и ахнули: гнилушки да сучья в котелке-то только, в них вся и пища — как только живы, — вот она, какая бедность-то! Дали мы им хлеба, — кланяются, мычат чево-то по-своему, будто просят чево-то, руками размахивают, — што такое, ду-

маем. Вытащили откуда-то винтовки, суют в нас ими, на дуло показывают, — показали мы им порох, — запрыгали все, скачут, хохочут, сдурели ровно. Дали мы им понемногу свинцу и пороху. Только река-то вскрылась, посмотрим-посмотрим, наших орочонов и след простыл, только кусочки липовой коры на земле валяются, от шалаша от ихнего остались. Куда они ушли, Господь их знает, боятся ли нас, чево ли, али от маньчжурских чиновников нороят подальше, — а народ смиренной, тихой народ.

— Какого же вы здесь еще зверя бьете, кроме белки и соболя?

— Да бьем понемногу, кого придется.

— Какого же? Барса? Медведя?

— Попадется, как не бить, — бьем, да мало. Барса, ваше почтение, нынче совсем мало; редко-редко когда увидим его, а поначалу-то он, проклятой, обижал нас больно. Сколько коров передавил, — так-таки среди белого дня, прямо на станицу и прет. Силища же у него непомерная, — крепкой зверь! Однава разу наши робята казаки пошли белковать. Идут, это, путем-дорогой, вдруг видят на поля-

не этакой пригорочек маленькой случился, а на пригорочке барса лежит, хвостом тихо так пошевеливает, греется. Дело-то было в велико говенье, перед весной. Лежит барса на пригорочке. Увидали его наши ребята, — струсили; а народу их было человек пятнадцать и все с винтовками, у которых тоже и большепульные винтовки были. Собрались они в кучку, потолковали, сотворили молитву, да и порешили идти прямо на зверя; а зверь лежит себе греется, да хвостом из стороны в сторону пошевеливает и думушки не думает, что перед его глазами толпа народу. Подошли ребята на выстрел, — бац! бац! Барса поднялся со своего места с пригорочка и пошел не торопясь назад. Казаки наши так на месте и окоченели от страху. — Што же это, ребята, а? — спрашивают друг у дружки: — неужели мы из двадцати-то винтовок попасть в него не могли? Вот дела-та! — Ну, думать нечего, ребята, надо — на убег. Воротились они домой, рассказали товарищам, и на другой день опять пошли, уж нарочно, значит, этого самого барсу искать. Пришли на старое место — нету, пошли дальше, — тоже

нету; с полверсты отошли, смотрят, лежит он под кустом. Близко подойти не смеют, ну, да потихоньку опять на выстрел подобралась, — бац! бац! а барса лежит, головы не поднимает, подох значит; — так вот он как: с полверсты ушел с пулями-то...

— И часто вам случается барса бить?

— Нет, теперь Бог милует, реже стал он. Ушел, надо быть, куда подальше, потому, Божий образ, зверье это самое тоже трусит; да и крупной же это зверь, — оборони Бог. Ину пору, робята видали, скачет он по полю, что твоя птица летит, — по две сажени прыжок делает! А и хитрой же какой — беда. Опаска берет и заправского охотника, когда этот самый барса начнет хитрить: охотник норовит, как бы его выследить, а он сам его выслеживает и подбирается, как бы угодить с затылку. Медведь вот здесь, так этот супротив забайкальского далеко не родня: забайкальской медведь черной, а здесь какой-то, Бог его знат, не ладной, бурой ли, рыжей ли — не поймешь, да и трус какой, — все норовит, как бы наутек, а ведь забайкальской медведь, сами знаете, сердитой, на задних лапах так хо-

денем и ходит...

— Какие же еще есть здесь звери?

— Здесь всякого зверя много, и большова, и малова. Кабан есть, изюбря, коза, этой козы одной не перебьешь чай во всю жисть, — так ее много. Поедем, ину пору, за станицу, — так на глаза и лезет, уши-то наострит, дивится, а тоже осторожна: чуть к ей поближе, сейчас и улизнет, только и заметишь одну спинку, как она в густой траве начнет попрыгивать... Опять же, волк есть, лиса, ну хорьки и всякая мелюзга; есть еще тут у нас особенной волк, красной, Бог его знат, какой-то он непутевой: издали на него глядишь, — как есть лиса, а убьешь, — нет, не лиса, потому шерсть жесткая, волчья, непутевой совсем...

От разговора про охоту перешли к начальству.

— Начальства у нас довольно, сотенные, бригадные; летом еще большие начальники проезжают, губернатор военной тоже, — службы немного, а ревизии частые, потому строго!

— Кто у вас здесь сотенный командир?

— В нашей станице нету сотенного, нашим

начальником считается раддевской командир, он там в Раддевке и живет, к нам нечасто ездит, признаться сказать, незачем; летом-ту, когда большева начальства поджидают, завернет иной раз. Смирной человек, все больше насчет охоты за зверьем хлопочет, с маньчжурами тут большую дружбу завел, они ему дорожки разные на зверя показывают, ну он и доволен, — ничего, начальник доброй. По станице нашей командует старшой, из нашей же братии выбирается, для порядку будто, на случай, значит, ежели левизор какой наедет, а дело тут какое, — нету ему дела вовсе. Вот в больших-то станицах, где казенные склады находятся, провиант, примерно, железо, спирт, — там оно точно, хлопотливо, а здесь спокойно...

Долго еще сидели около нашего костра жители станицы, вспоминали о Забайкалье, рассказывали о своей амурской жизни и только далеко за полночь разошлись.

Начинался рассвет. Над рекой поднимался пар, где-то в станице заливались петухи, темные очертания казачьих избушек, точно в туманной картине, становились все яснее и

яснее; сыростью и холодом потянуло в воздухе. Мои рабочие, спавшие около угасавшего костра, проснулись и стали чесаться; из лодки высунул свою заклеяменную рожу рулевой и, зевая во весь рот, говорил.

— Рассвело-о!

— Поплывем сейчас, али чай варить будем? — спрашивали рабочие.

— Надо бы горяченьким всполоснуться, — сказал рулевой.

Напились чаю и тронулись в путь.

— Ну-ко, робята, приналяг, близко и конец нашей путине! Еще станицы две проплывем и привал. Ну-ко, ну-ко, навались! — поощрял рулевой и затянул песню: «Не будите молодую, ранним-рано поутру».

Рабочие подхватили и далеко по тихому зеркалу воды разносились звуки их голосов.

Проплыли мы Хинган и пристали у высоко-го берега богатой амурской станицы. Станица эта имеет до 180 дворов, церковь, казенные склады и проч. Прежде, до занятия русскими Амура, на этом месте ясно сохранялись следы каких-то укреплений, рвы в несколько рядов тянулись, как заметно, на большое пространство. Теперь, с постройкою казачьих изб, следы рвов делаются все меньше и меньше, на месте их строятся избы. К какому времени относятся эти укрепления, неизвестно, всего вернее, ко времени Хабарова и существованию гор. Албазина, хотя этот город отстоял от описываемого места почти на тысячу верст, вверх по Амуру.

В этой станице мне нужно было пробыть по собственным делам с неделю. Я рассчитал своих рабочих, лодку велел затащить на берег и поселился в избушке одного казака. Как раз против этой избушки строился дом; несмотря на то, что этот дом был только еще наполовину построен, а его уже обносили заплотом. Народу работало много, хотя на дворе

был праздник. Меня это очень удивило. Я сел к окну и спросил проходившего мимо казака, что это за постройка делается, такая спешная, несмотря даже на воскресный день. Казак по привычке принял меня за какого-то начальника, вытянул руки по швам, остановился и четко проговорил.

— Сотенному командиру дом, ваше высококородие.

— Отчего в воскресный день работают?

— Сотенный командир попросил казаков заплот поставить, — начальство ждут, хотят к приезду их покончить...

Не успел казак договорить своей фразы, как к окну быстро подошел сотенный командир и турнул казака на работу.

— Дурак! — прикрикнул он, — что ты тут языком-то чешешь?

— Кто вы такой? — сердито обратился ко мне сотенный командир с вопросом.

Я сказал.

— Что вам за дело тут до построек, доносы писать что ли?.. Дайте сюда ваш вид.

Я отвечал, что на улицу своего вида не желаю отдавать, а если угодно будет его благоуро-

дию, то он может зайти ко мне на квартиру или поручить своему помощнику, или, наконец, если уж есть такое распоряжение, чтобы прописывать в каждой станице паспорта, то я сам могу зайти в сотенное правление и предъявить свой вид. Но начальник станицы не дослушал ответа, затопал ногами, закричал на всю улицу, призывая старшего. Он был видимо человек больной, раздраженный и решительно не умел владеть собой; губы его дрожали и на них показалась уже пена, он нервно дергал рукав своего мундира и неистово кричал старшего.

— Да поди же ты сюда, черт тебя возьми! Поди же сюда, мучитель мой, изверг, — где ты там пропал?!

Испуганный, запыхавшийся и в свою очередь дрожащий от страха, подбежал к командиру казак и торопливо сдернул с головы фуражку.

— Что угодно, вашескородие?

— Изверг! Мучитель! Где ты там пропал... У! — сердился командир.

— Я, вашескор... заплот... на работе... — лепетал в испуге старшой.

- У! Изверг! Ад мне с тобой!..
- Вашескор... Виноват...
- Оглох!.. У!.. Чертова скотина!..
- Вашеско...
- Молчать... Не дыши!..
- Слушаю-с.

Я с удивлением смотрел на все происшедшее и от души жалел сотенного командира, так его бедного передергивало. Наконец он несколько успокоился и справедливый свой гнев обратил на меня в следующем приказе к старшему.

— Пойди сейчас, сию минуту, к этому господину и принеси мне в квартиру его вид; если он тебе вида своего не отдаст, то веди его в сотенное правление и оставь там до моего распоряжения.

«Вот тебе на!», — подумал я и поскорее стал справляться, при мне ли мои бумаги.

Разгневанный начальник ушел вдоль улицы. Старшой посмотрел ему вслед и хитро улыбнулся.

— Видели, ваше почтение, каков наш командир грозной? — шепотом проговорил он, обращаясь ко мне.

— Отчего он у вас такой раздражительный?

Казак махнул рукой, посмотрел вдаль на уходящего начальника и пошел в ворота моей квартиры.

— Доброго здравия! — говорил он, входя в избу, и, помолившись на образ, опять повторил приветствие.

— Добро жаловать, — приветствовал и я его.

Взял он мой вид, прописал его в сотенном правлении и вечером возвратил мне. Мы сели за чай. Старшой рассказывал про своего командира следующее.

— Было дело такое. Около нашей станицы, в двадцати верстах, живет один барин, заимку там себе устроил и занимается хлебопашеством. Только они с первого дня, как увидались друг с дружкой, что-то не поладили. Сотенный ли наш поссорился, али барин-пахарь, — Бог их знает, а надо быть так, что оба задиры. Ну ладно. Только лоньским годом этому самому барину-пахарю привезли из Благовещенска семена для посевов. Сотенный наш трах на лодку, — «что привезли»? — То-

то, говорят. — «Кому»? — Тому-то. — «Стой! Надо свидетельствовать. Развязывай мешки». — Приказчик пахаря заспорил. — «Ка-а-к! Грубиянить?! Взять его под арест». — Приказчик туды-сюды, — нет! Посадили. Прошла ночь, сидит человек в яме. У нас здесь габвахты нету, а яма просто, так сказать, погреб. Бумаги приказчика сотенный забрал к себе. Только на другой день поутру бежит ко мне в избу казак, — иди, говорит, живее, сотенный зовет. Бросился я сломя голову, думаю, что за оказия, рано так проснулся. Прихожу, что, говорю, приказать изволите? — Выпусти, говорит, арестанта, — он дворянин. Я так и ахнул, ну, думаю, теперь мы влопались по самые уши. Пошел выпускать. — Пожалуйста, говорю, вашескородие, на волю, извините, мол, ошибка вышла, думали, вы простой человек. — Тот молчит — хоть бы слово! Вышел из ямы-то, нанял лошадей, да и марш прямо в бригаду. Пошел суд да дело, допросы да показания. Из Благовещенска выехал на следствие чиновник. Наш сотенной было трухнул порядком, ну да как-то все обделали. Чиновник городской удружил, потому он дока, да и на

пахаря зол был. А пахарь, сказывают, нарочно подвел дворянина-то этого. Так какой-то там в городе был немудрящий, он его и нанял к себе в услужение и наострил, — действуй, мол, так и так. Хотел он, значит, сотенного столкнуть с места, а вишь не удалось, — городской чиновник помог...

— Ну, а с вами-то сотенный ладит? Не обижает вас?

— Ничего, живем пока. Человек-то он и ничего бы, да горяч больно, чтобы все ему в секунд. А так, трезвой и не картежник. В других станицах ину пору бывало хуже. Теперь вот в городе трое или четверо судились за растрату казенных денег, в Якутскую область на поселенье ушли, потому — скука им здесь, дела нету, ну вот и поигрывают в картишки, — что станешь делать, сторона дальняя, глухая.. Про нашего сказать этого нельзя, — человек степенной. Конечно, иной раз и не без греха. Вот хоть бы теперь, работали заплот, почи-тай, всей станицей, — попросил, отказать неловко, хошь и праздник. Мы, правду сказать, такого человека и не видывали, — чудной какой-то. Приехал он сюда по весне и сей-

час распорядился, чтобы мы, казаки, оставили ему на своих огородах по полутрядке для овощу. Ну мы и оставили, думали, наймет кого-нибудь, чтобы посадить семена, а на поверку-то вышло, что ему и посеи, и собери, и принеси. Да еще после выговор сделал, урожай, говорит, у вас плох... Однако по чарке спирту подал.

— Что же вы нынче для него, посеяли?

— Не-е-т. Уже теперь доброго здоровья, — просим не взыскать, теперь уже эти порядки кончились. Раскрылись его штуки-то. А раскрылись они опять-таки через барина-пахаря. Грызутся они друг с дружкой. Наш-то все норовит его всяко, — то рабочих потребует в станицу, — казаки мол, поверку им хочу сделать, все ли целые; то контракты не свидетельствует, — условия, мол, тяжелые, — моя обязанность защищать казаков. А барин-пахарь, чуть чево не так, — в бригаду жалобу; пронюхат чево — жалобу! А то как-то раз в книжке пропечатал. Было шуму-то у нашего начальства...

Старшой оказался разговорчивый человек. Из бесед с ним я узнал, что в станице есть

фельдшер, но так как в его медицинских знаниях никто из казаков не нуждается, то он, по распоряжению сотенного командира, исполняет должность сельского учителя и исполняет ее, нужно сказать, по-своему: его метод преподавания разнится от других тем, что ученики по этому методу могут не только не заучивать урока наизусть, но и совсем его не читать, так как преподаватель, вместо школы, каждое утро заходит в казенный склад и выпивает там по чарке спирту; не успеет он выйти из склада, чтобы отправиться в школу, как ему приходит в голову мысль: «А что? Не повторить ли?», — и возвращается обратно в склад. Такие входы и выходы повторяются до того времени, пока в кармане фельдшера есть несколько копеек; на следующий день то же. Заслышит сотенный о дурном поведении педагога-фельдшера и по обязанности, лежащей на нем, делает распоряжение — «внушить». Внушения обыкновенно состоят в том, что из склада спирту не дают, а если не дают спирта одному, то другому дадут и вот начинаются хитрости: подговаривает фельдшер какого-нибудь казака и посылает за спиртом, а так

как посылаемому нужно же дать какое-нибудь вознаграждение, то порция увеличивается, спирту берут вдвое. Таким образом, обходя «внушение», поощряют промышленность и пьют в компании. Однажды я увидел этого педагога-фельдшера в желтых панталонах и белом сюртучке. Он был еще достаточно крепок на ногах и хотя немного покачивался, но языком владел свободно, что и можно было заметить из разговоров его с самим собой. Проходя мимо моей квартиры, он приободрился, и стараясь казаться непринужденным, раскланялся с ловкостью парижского франта. Я принял его за писаря сотенного правления и конечно нисколько не удивился его поклону, потому что в деревне новому человеку, как светлому празднику, всегда рады. Через несколько дней эта желтоногая фигура встретила меня на берегу реки; свесив ноги вниз с крутого обрыва берега и находясь, как говорится, на последнем взводе, желтоногий фельдшер мурлыкал что-то себе под нос и отчаянно клевал носом вперед. Я подошел, предупредил пьяного человека, что он может свалиться вниз, но получив в ответ: — «Эт-то

не может быть», — не успел я отойти двух шагов, как на обрыве уже не показывалась более его фигура, — она покачнулась так, что через несколько минут была уже под горой у самого берега реки. Несмотря на то, что крутой берег был песчаный, но он до того был крут, что только счастливое падение спасло от увечья упавшего человека. Я пошел и передал виденное казакам, но это их нисколько не удивило. — «Он у нас заколдованный, — брось его в реку с камнем, — не потонет, потому вода его в себя не примет», — шутили казаки.

Дом, строившийся против моей квартиры, быстро прибывал. С утра до вечера на нем работали батальонные солдаты. Не знаю, оценят ли впоследствии все труды, лишения и ту пользу, которую принесли на Амуре эти батальонные солдаты-строители. Бóльшая часть казенных амурских построек сработана их руками и в каких концах эти постройки? Одни в Албазине, другие в Благовещенске, третьи в Хабаровке, — расстояния по тысяче, по две тысячи верст! И эти амурские строители-странники, окончив работы в одном месте, были пересылаемы на другое, и так начи-

нается с ранней весны и кончается глубокой осенью. Однажды как-то во время работ за-вернул ко мне на квартиру мой приятель старшой.

— Однако, ваше почтение, они чай вас беспокоят? — спросил он, кивая головой на постройку.

— Нет, ничего. Я уже привык к этому шуму.

— Ну однако... День-деньской орут... Стук какой идет...

— Да, покрикивают изрядно...

— Эй! Эй! Наваливай! Тяни! Чтоб те разорвало! — слышалось с постройки.

— Эх-эх-эх, — долетали равномерные, отрывистые вздохи, следовавшие за ударами топора.

Среди общего крика и шума слышалась какая-то песня, каждый куплет которой оканчивался известным припевом: «Дубинушка ухни», я спросил моего собеседника, что это за песню такую поют плотники. Собеседник хитро улыбнулся, осторожно оглядел комнату, как будто опасаясь, чтобы кто не подслушал, и потом проговорил.

— Это бревна, ваше почтение, поднимают, так песню поют...

Но не договорил. Видимо хотел сказать не то, что сказалось.

— Знаю, что песню поют. Да какие же слова этой песни? Откуда же она взялась, кто ее сочинил? Отчего в ней слышатся знакомые фамилии?

Старшой оглянулся и шепотом проговорил.

— Это про Амур песня сложена, как его, значит, заселяли.

— Ну-ко расскажи.

— Нельзя, ваша милость...

— Отчего нельзя?

— Ей-богу не могу...

— Да ведь поют же ее!..

— Мало ли что! Поют — это верно. Только ведь в песне слова-то можно как угодно вытягивать да проглатывать...

Долго я просил старшого рассказать содержание песни, но он все-таки не рассказал; сколько я ни вслушивался в пение работавших солдат, но понять не мог, только и слышал: «командир-то наш плешивый выда-

ет приказ фальшивый», да еще отрывки какой-то песни: «Аргунь восхваляли, Амур проклинали».

Вечером, как-то, опять сидел у меня старшой.

Мы пили чай. Я угостил его коньяком, желая узнать содержание амурских песен, но ничего не узнал, потому что старшой сам едва помнил их. Разговор перешел на хлебопашество и старшой рассказывал об отношении их казачьей жизни к командирам.

— В прошедшем году, по осени как-то, слышали мы, что начальник едет вниз по реке, ревизовать область. Он взаправду-то и не поехал, а мы перетрусили. Дело-то, видите ли, было перед уборкой хлеба, а урожай как на грех был плоховат... Не наливайте, будет... благодарствую... Ух, много махнули, — хмельное ведь...

— Ну-с, так вот как. Сотенный наш при- смирил и голову повесил, — потому плохой урожай нас совсем допек, — беда: начальство что скажет!? Хорошо. Думал наш сотенный и порешил. Позвал меня и велел оповестить казаков, чтобы хлеб жали с толком, снопики де-

дали бы потоньше, суслоны ставили поменьше да почаще, чтоб хлеба на десятине казалось с виду больше. Так мы и сделали, только надо вам сказать, труд наш понапрасну пропал: никто наших суслонов не считал и усердия нашего не похвалил...

— Да на что вам похвалы? От них ведь хлеба не прибудет.

— Оно точно что. Иначе только нельзя, потому так ведется...

Через полчаса мой собеседник начал заплетать языком.

— Служба моя, ваше почтение, тяжелая, потому... Сотенный у нас горячий...

— Просись на смену.

— Эт-то невозможно...

— Почему же?

— А пы-та-му... Однако, ваше почтение, у вас ром-то тово... разобрало мена до жилочек. Если бы этого рому еще чашечку голенького...

— Что же бы тогда?

— Рай земной бы... — добавил старшой то-ропливо, — я, ваше почтение, пошутил. Я не тово, потому полно до краев. Счастливо остав...

И, покачнувшись на косяк, мой собеседник вышел из избы.

На другой день он зашел ко мне с извинением, что переложил через край, оправдываясь тем, что я против его желания много подливал в его стакан коньяку.

— У нас здесь, ваше почтение, и без меня пьющих много. Недаром по Амурской области запрещено продавать ханьшин (маньчжурскую водку).

— Это почему же?

— А потому же все. Запрещено и кончено. Если теперича к берегу пристанет купец или другой какой торговый человек, то сейчас я могу на его лодку явиться и осмотреть, нет ли ханьшину, а если он есть, так, Господи благоволит, да и в воду его.

— На каком же основании?

— А на таком же. Ханьшин — ну и в воду его! Такой приказ дан.

Я сказал старшому, что начиная от станции Хабаровской до самого Николаевского порта дозволена по Амуру свободная торговля, чем кому угодно.

— Это мы знаем чудесно, — отвечал стар-

шой, — там дозволена, но у нас не дозволена. Там свое начальство, а у нас свое.

— Река же ведь одна и одного Царя белого здесь царство?

— Царство одно, об этом что говорить. Начальство только разное; в Миколаевском-то порту адмирал, а у нас военный губернатор, — вот оно и разница. Опять то надо сказать, что в порту может статья и больше пьют, да все Бог милует, а у нас здесь неблагополучно: вон позапрошлый год один казак с маньчжурской-то водки опился, — вот с той поры и запретили маньчжурскую водку.

— А разве казенным спиртом нельзя опиться?

— Спиртом нельзя, потому он из казенного склада дается...

— Да разве мерой выдается на человека?

— Не мерой. Сколько хочешь, за деньги купи...

— Так значит все равно?

— Нет, пошто? Все же, если который казак замотается, то ему можно не давать спирту [26].

— Вон у вас фельдшер замотался, что же

вы его не исправляете?

— Кого? Желтоногого? Да какой черт его исправит! Его к нам из России в сынки прислали, — какое уж тут добро будет. Да он нас всех измучил — смоталась с ним половина станицы, — кто его исправит. В первой-то день, как пригнали их сюда, он у нас чуть избу не сожег. Натаскал он в баню щепок да и запалил ее, мы и не заметили. Глядим, из бани дым повалил. Что такое? Черти, говорит, там сидят, я, говорит, их хочу сожечь! Вот он каков! Вздудли мы его проклятого, однако ловко. Три недели лежал, а ведь отлежался опять, — думали околет, — нет ожил!..

IV

Я окончил свои дела в станице и мне оставалось только дожидаться парохода, чтобы на нем вернуться назад в Благовещенск. Дождаться пришлось очень долго, но другого выхода в моем положении найти было нельзя; подниматься вверх по реке бичевником или идти на веслах, кроме продолжительной траты времени, еще слишком бы дорого стоило: казак не маньчжур и за дешевую цену не найдется, а маньчжур поблизости станицы не было, да они и не нанялись бы ко мне в работу, потому что боятся своих чиновников, которые им строго запрещают всякое сближение с русскими. Уехать на лошадях верхами было еще труднее, потому что через Хинганский хребет правильного пути не проложено, а если и ездят иногда верховые, то во-первых, это люди обязанные волей-неволей исполнять приказания старших, а во-вторых, они часто кружат по горам по нескольку дней, не зная, как выбраться из них, и в то же время рискуют наткнуться на барса или медведя. Я не хотел испытывать ничего подобного и по-

корился необходимости сидеть у моря и ждать погоды. Лодку свою я продал казаку; рабочие, плывшие со мной, на другой же день нашего приезда в станицу уплыли в челноке вниз по Амуру, надеясь найти работу в Михайло-Семеновской станице.

Стал я ожидать того дня, когда придет пароход, и ждал очень долго... Дни проходили за днями, а о пароходе не было ни слуху ни духу. Такое продолжительное ожидание парохода не было случаем, выходящим из ряда обыкновенных, напротив, на Амуре оно было совершенно законно и нормально, потому что все амурские пароходы, как частные, так и казенные, никогда правильных, постоянных рейсов не имели, а двигались по реке или стояли у берега, смотря по распоряжению лиц, имевших власть над их движениями. Казенные пароходы, нужно отдать справедливость, ходили сначала очень часто, до той поры, пока не испортились в них машины и пока не начали их чинить домашними средствами в станичных кузницах; с этого несчастного времени, т. е. когда машины казенных пароходов испытали на себе всераз-

рушающую силу искусства амурских кузнецов, — пароходы так же редко и неаккуратно стали совершать свои рейсы, как и пароходы пресловутой Амурской компании, так позорно окончившей в настоящее время свою амурскую деятельность. Кроме того, те из казенных пароходов, которые в данную минуту были удобны для плавания, часто употреблялись амурским начальством для путешествий в Амгунь, для исследований р. Зеи, и по всему вероятно эти путешествия были крайне необходимы, потому что почта иногда лежала по нескольку дней неотправленной, так как пароход был занят губернатором...

Итак, засел я в станице в ожидании избавителя-парохода. С каждым днем мне становилось скучнее; со старшим мы уже наговорились вдоволь и даже понаскучили друг другу, потому что посредник, сближавший нас, а именно чай с коньяком, истощился, а достать свежего было негде. С сотенным командиром я, несмотря на все мое желание, познакомиться не мог, он, видимо, чуждался меня и всякий раз, когда случалось ему проходить мимо моей квартиры, — принимал

грозный, неприступный вид. Священника не было в станице, он куда-то уехал с требой, а более знакомиться в станице было не с кем. Барин-пахарь, живший за двадцать верст от станицы, был мне хорошо известен и я молил Бога, чтобы он избавил меня от нового несчастья встретиться с ним когда-нибудь.

Стал я бесцельно ходить в окрестностях станицы и не видел ничего, кроме лесу да виноградных кустарников. Пашни казаков и сенокосные луга были далеко, верстах в десяти, и дороги, ведущие к ним, были весьма плохо проезжены, видно было, что жизнь в этих пустынных местах только что начинается. Однажды только, во время моих бесцельных скитаний, я видел, как ребяташки, играя, загнали из лесу соболя. Он, как белка, сначала прыгал с дерева на дерево, но жестоко ошибся в своих расчетах и пропрыгал совсем не туда, где надеялся найти для себя спасение: деревья, по которым он делал свои прыжки, длинным рядом вытянулись по станице и соболю, прыгая по ним, сделал смертный прыжок. Он понял свое опасное положение только тогда, когда не было уже никакого спасе-

ния: при отчаянном крике мальчишек, казак выставил дуло винтовки из окна своей избы и выстрелил; соболь свалился на землю и долго трепетал он, катаясь на спинке, и нервно дергивал ножками. Казак вышел на улицу, взял соболя за ножки, хлопнул его со всею силою о землю и соболь издох. Не успел еще он остыть, как казак продал его своему богатому соседу за шесть кредитных билетов и за две чарки казенного спирта.

Всего более я ходил по берегу Амура.

Однажды, рано утром, я поднялся с постели и пошел, по обыкновению, на берег, посмотреть, не видать ли вдали пароходной мачты. Утро было жаркое. На противоположном берегу реки, широко разлившейся против станицы, сидели громадной стаей дикие гуси, визгливый крик их неясно долетал в станицу, как будто поддразнивая казаков. Несколько казачьих лодок пустились через реку на остров, чтобы там из-за кустов устроить засаду и сделать за раз выстрел из нескольких винтовок, но это не удалось: осторожные гуси сметили, что им угрожает опасность, и поднялись темной тучей в воздух. Во-

обще охота на них сопряжена с большими трудностями. Маньчжуры придумали для ловли их особого рода сети и петли, которые и раскидывают на открытых местах.

Внизу, под крутым обрывом берега, я заметил толпу казаков и спустился к ним. Оказались рыболовы, возвратившиеся с добычей. Из них несколько человек разрубали саженную рыбу, другие мыли лодку, складывали канат; маленькие ребятишки-казачонки вертелись вдали, боязливо поглядывая на окровавленную массу.

— Помогай Бог! — сказал я, подходя.

— Благодарствуйте, — коротко отвечали казаки.

— Какая эта рыба?

— По-нашему калужина, а по-вашему не знаем, — не оборачиваясь, отвечал один, распарывая рыбе живот.

Окончив эту операцию, он вытащил из рыбы начинавшего разлагаться аршинного осетра и выбросил его в реку.

— Ишь обжора, какого слопала!

— Матерый же и осетр то, ребята! — под-сказал кто-то из работавших.

— Попадись ей на зуб человек, не побрезгует и его, слопают.

— Что толковать, — рыба махина!

Казачи разрезали всю рыбу от головы до хвоста и раскинули по земле; раскинулась она точно какой багровый ковер и снова испугала мальчишек, убежавших от этой кровавой массы сажень на двадцать.

— Не бойтесь, дураки! Что вы, — ведь она мертвая! — уговаривали казаки.

— Да... мертвая... — нерешительно говорили дети и стояли поодаль, переминаясь с ноги на ногу.

Через несколько времени они подошли поближе и прятались за спинами казаков.

— Тятка! А, тятка! — робко пищала девочка, дергая отца за полу.

— Ну что тебе?

— Это рыбья рука, что ли, висит на дереве-то?

Казачи засмеялись.

— Дура ты, девка! — сказал, улыбаясь, отец, — какие у рыбы руки, — это визига[27].

Девочка отошла от отца и с удивлением рассматривала висевшую на сучке дерева

свернутую в несколько рядов визигу.

— Сколько же весу может быть в этой рыбе? — спросил я.

— Да кто ее знат... чай пудов с тридцать будет.

— А больше этой вам не случалось ловить?

— Нам-то не случалось, а сказывают, — там пониже лавливали и в шестьдесят пудов. Ладно же и эта нас поводила, одного канату сажень с двести мы на нее выпустили. Вчера еще с вечера попала, да вот только сегодня вытянули; на крючок-то зацепилась, да как побежала вглубь, чуть лодку-то совсем не опрокинула, и пошла и пошла, знай только канат давай; долго, это, все стрелой летела, ну потом потише, потише пошла и перестала канат тянуть, — на дно значит легла, умаялась. Было уж далеко за полночь, когда она легла то, мы уж и порешили не трогать ее до рассвету. Вот с утра-то раннего до сей поры все ее вытягивали, — ишь какая махина.

— Как же вы разделяете добычу?

— А по частям делим. Кому что полагается по расчету. Сотенному командиру тоже часть следует, потому, хоть трудов-то его и не бы-

ло, да он на канат вложил рублев кажись с пятнадцать.

— Какая же еще рыба ловится вами?

— Да разная рыба бывает.

— Какая же?

— Обыкновенно, какая рыба... всякая есть.

— Ну, а например.

— Да что например. Другой уж такой большой рыбы тут нет, одна она только, калужина, а другая не в пример мельче.

— Какая же остальная-то?

— Ну, осетрина, сазан, лещ, карась, щука... разная рыба... Ну-ко, ребята, нечего время терять, дорубайте, да и понесем...

Казачи разрубили рыбу на части и стали носить ее в станицу; на помощь явились женщины, дети; все таскали куски рыбы и все были довольны.

Я пошел вдоль берега и стал собирать кушочки сердолика, которым обильно усыпан берег Амура. Между многими сердоликами мне случилось найти несколько окаменелостей дуба и сосны и замечательный по своей редкости окаменелый глаз, который я и сохранил у себя до настоящего времени.

Вечером у низенькой деревянной церкви звонил колокол ко всенощной. Была суббота, я отправился в церковь. Тесно и бедно было внутри: иконостас был окрашен только одной буроватой краской, без всяких украшений. Молящихся в церкви никого не было, только одна дряхлая старуха стояла сгорбившись у стены и по временам клала земные поклоны; дьячок, из местных казаков, стоял на клиросе в полосатом халате и гнусил, читая, покашливал себе в ладонь. Дьякона в станице не было и священник один совершал службу.

После всенощной священник встретился со мной на берегу.

— Вы, смею думать, из города? — ласково, тихо и как-то таинственно спросил он.

— Да, из Благовещенска.

— Фамилия ваша?

Я сказал.

Батюшка помолчал несколько времени, оглядел меня с ног до головы и опять таинственно спросил.

— По частным делам, или имеете казенное поручение?

— По своим делам, — отвечал я.

Батюшка внимательно оглядел меня, потом помолчал несколько времени и снова спросил.

— Скучаете?

— Да, парохода долго нет.

— Медленно, медленно... — задумчиво проговорил он, — утомительно это ожидание.

— Да, не весело.

— Истинно так. Это томление даже душевный недуг производит.

Мы опять помолчали.

— Вы куда-то уезжали? — спросил я.

— С требой отлучался. Верст за шестьдесят расстояния. Женщина там изнемогала, теперь уже преставилась...

Батюшка вздохнул и замолчал.

— Да не угодно ли ко мне? — вдруг, оживляясь, сказал он.

Я поблагодарил.

— Что ж! Покорнейше прошу. Побеседуем...

Мы пошли.

Для священника, близ церкви, был построен небольшой домик; у окон этого домика были ставни, что составляло редкость среди из-

бушек, но заплота и двора не было; заметны были около дома только следы плетня, который, вероятно, давно был израсходован на топку, потому что оказался ненужным, да и держаться не мог, — свиньи чесали об него бока и сваливали всю изгородь. В прихожей валялась солома и на ней лежал теленок. В зальце стоял старенький, с клочками оборванного ситцу, диван и дубовый некрашенный стол; на бревенчатой стене висело небольшое зеркальце и около него фотографический портрет священника с супругой, сидящих рядом, держа друг друга за руку.

— Это мое изображение, с матушкой, — пояснил священник.

Я подошел поближе к портрету.

— На вечную любовь, так сказать, — добавил он.

— Хорошая, говорю, фотография.

— Да-с. Вот скажите, до чего доведено. Удивления достойно и представьте, как быстро производится, всего минут несколько. Искусно, очень искусно...

Батюшка подошел к портрету и начал внимательно рассматривать, как будто видел его

в первый раз.

— Где это вы снимали? — спросил я.

— В губернском городе Иркутске. Там господин фотограф весьма изобретательный человек и, как рассказывают, якобы в настоящее время он сугубо увеличил свои капиталы...

Мы сели и помолчали.

Босоногая оборванная девчонка, в грязном сарафане, вошла в комнату и подала нам чай. Батюшка начал рассказывать о трудностях амурской жизни и об ужасной, подавляющей тоске. Я заговорил было о школе, упомянув между прочим о пьяном фельдшере.

— Школа, вы изволите говорить. Какая же может быть тут школа, — возьмите во внимание. Я готов с великим усердием, но поверьте, чистосердечно вам говорю, нет никакой возможности устроить что-либо подобное.

— Отчего же?

— Неразвитие, великое неразвитие. Возьмите во внимание, я говорю например: Закон Божий, а мне отвечают — пусть мальчишка коров пасет... Окаменение какое-то!

На столе явилась закуска. Пришел стар-

шой и, помолившись, подошел под благословение.

— С наступающим праздником!

— Садитесь, покорно прошу! — пригласил священник.

Старшой сел, сложил руки и начал перебирать пальцами.

— Что ваш начальник? Здравствует ли?

— Ничего-с, теперь, слег; давеча на работе раскричался, — лежит теперь...

— Строгий уж очень. Так сказать, даже не по чину строгий, — с улыбкой заметил батюшка.

— Это точно что...

Попадья, шумя новым, яркого цвета, ситцевым платьем, вошла в комнату и поставила на стол тарелку с вареной рыбой. Батюшка отрекомендовал меня и потом обратился с вопросом, не был ли я на заимке у барина-пахаря. Я отвечал — что не был.

— Посмотреть стоит, — назидательно... Только знаете, любостяжателен он очень.

— Отчего же это?

— Не ведаю. По всей вероятности, сребролюбие овладело его душой.

— Да, скуп он, это точно, — подтвердил старшой.

— Ему бы, знаете, по всей справедливости, надлежало там у себя построить церковь, вот и господин старшой так же думает... соответственно...

— Церковь, известно, храм Божий, — отчего не построить?

Батюшка воодушевился и встал на ноги, приложив руку к сердцу.

— Я вам изъясню вот что: господин Нелепов, пахарь-то наш, в вере слаб и потому у них эти козни с господином сотенным командиром...

— Да вот я им рассказывал, — перебил старшой.

— Враждуют, истинно что враждуют, козни такие друг другу строят, что только Господи помилуй.

Священник подошел к столу.

— Приступите, — пригласил он, показывая рукой на закуску.

Мы выпили.

— Вот рыбки моего уженья. Я, как и апостолы Христовы, тоже рыболовствую...

Разговор оживился. Опять заговорили о школе. Священник доказывал, что ему невозможно принять какое-либо участие в обучении мальчиков, потому что у него слишком большая паства, что он один на пять станиц, и закончил свои доказательства следующими словами.

— Да и то сказать, возьмите во внимание, из-за чего же я, так сказать, буду распинаться? Трудись, трудись, а поощрения нет, все только на одном жалованье и сидишь...

— Оно точно... трудновато, — поддакнул старшой.

Попадья, молчавшая во все время, подошла к столу, поправила тарелки и, обращаясь к мужу, сказала:

— А ты скажи-ко вот им, какие у нас доходы-то...

— Ах, матушка! Позвольте, я изложу все сам, с достодожною подробностью.

Попадья не обратила внимания на слова мужа.

— Нет, я говорю, милостивый государь, — обратилась она ко мне, — то есть поверите ли, никогда, никто из казаков, то есть вот ка-

кая есть крошка хлеба...

И матушка показала на пальце крошку.

В таком тоне долго продолжался разговор. Но прошло с полчаса и все разговоры, за отсутствием материалов, прекратились. Батюшка сидел у стола и, грустно опустив голову, напевал «Бессеменного зачатия». Старшой, достаточно упитавшийся спиртом, клевал носом вперед и, держа в руках пустую рюмку, постукивал по ней ногтем. Попадья сидела у окна и смотрела на темное звездное небо, находясь, вероятно, под впечатлением недавнего разговора о недостатке доходов. Сальная свеча едва пиликала, оплывая на весь стол. Я перелистывал книжку «Странника» 1860 года, единственную книжку во всем доме.

Расстались мы холодно, потому что батюшка был в мрачном расположении духа...

На следующий день однообразие станичной жизни нарушилось: купец с товарами причалил к берегу.

Быстро собралась около лодки толпа и пошла торговля. Шум, крик, говор долго слышались на берегу. Часа через два, через три, все, у кого были деньги, понакупились и около

лодки остались только зеваки, да бабы, желавшие променять поросят и яйца на платки. Казак, с трубкой в зубах, стоял впереди всех и, лениво поплеывая на сторону, разговаривал с купцом.

— Не на что, господин торгующий купец, покупать теперь, и надо бы мне на рубаху кумачу, да не на что... Лоньским годом мы с тобой, кажись, соболя меняли?

— Може статья, — небрежно отвечал купец.

— Так ты мне по знакомству в долг не отпустишь ли? — спросил казак.

Купец мотнул отрицательно головой и, развертывая яркого цвета ситец, нахваливал его казачке, грустно смотревшей в плутоватые глаза торговца.

— Товар первый сорт! Как жар-птица горит!

— Нет уж, родимой, где тебе до купца Чуринова...

Эка сравня-я-ла! — с злобным смехом перебил купец.

— Уж какой у него яркой ситец...

— Много ты смыслишь, — чушка!

— И сам-то он какой ласковой, — продолжала нахваливаться казачка.

— Да ну те к черту и с Чуриновым-то... берешь что ли? — сердито крикнул купец.

— Да вот уж разе за поросеночка-то...

— Поди ты совсем! Куда мне с поросятами, клеть что ли у меня в лодке-то?

Девочка, запыхавшись и зарумянившись, сбежала под гору к берегу, в руках у ней была деревянная чашка с кислым виноградом.

— Купец... мне бы ты... платочек какой, — робко предложила она, к общему смеху публики.

— Ишь догадливая, кто у тебя эту кислятину возьмет, — смеялся купец.

Девочка еще больше покраснела и грустно опустила глаза в чашку, на синие мелкие ягоды амурского винограда.

Изредка сквозь толпу смело проталкивались покупатели, слышалось: «пусти,пусти, покупать иду» и все давали дорогу, — значит человек шел за делом. Купивший развертывал покупку напоказ перед публикой. Одна баба променяла на два десятка яиц маленький платок и тоже развернула его напоказ.

— Гляди, гляди, ребята, — какой большущий, целое поле, хоть ярицу сеять...

— Ну-ко тетя, развертывай, развертывай, — паря, дайте дорогу, она его сейчас роскинет...

— Да я уж роскинула, — весь тут...

— Это за два десятка яиц-то? Ну он те облопошил!..

Баба испугалась, приставала к купцу с расспросами; купец сердился, публика была довольна и хохотала...

Лодка простояла целый день. Вечером около моей квартиры, в казачьей избушке, слышался шум и песни. Купец делал вечеринку. Из окон избушки долетал ко мне писк девок, неистово оравших своими писклявыми головами: «Со вьюном я хожу, с животом гуляю»...

— Да ты што? — покрывал их визг дикий мужской голос, — ты понимать должен, — у нас сейчас по начальству: сотенной, бригадной, — понял?

— Паря, погоди, не ори!..

— Береги морду!

— Пей! — раздалось тоном выше.

И снова все затихло, — следовательно пи-

ли.

*«Со вьюном я хожу,
С животом гуляю;
Я не знаю, куда вьюна положить,
Я не знаю, — живота подарить»...*

Слышался снова писк девичьих голосов.

Долго за полночь продолжалась вечеринка. То слышался писк из избы, то казаки спорили и спор оканчивался отчаянным криком: «Пей! Да пей же, чертова образина»; но потом крик слышался с улицы, кто-то бранился и угрожал начальством.

Я не спал целую ночь...

Начинало светать. Из-за кустов смежных с домом, где была вечерка, торопливо выбежала какая-то женщина и скрылась в проулке... Около забора пробирался весь вывалявшийся в грязи казак и, пошатываясь из стороны в сторону, бессвязно бормотал: «со вьюном я... с животом»...

На следующий день рано утром примчался нарочный из соседней станицы с известием «от приятеля» к сотенному командиру, что на пароходе едет какой-то важный барин. Стани-

ца встрепенулась и поднялась такая суета в ней, как будто вот-вот сейчас наступит страшный суд. Сотни метел шаркали улицы, бабы подбирали своих свиней и поросят, ребятишки таскали щепки и листья, отвалившиеся от дубов, растущих по набережной улице станицы; казаки перебегали из квартиры сотенного командира в казенные амбары и обратно; старшой, точно угорелый со вчерашнего гулянья на вечерке, бросался во все стороны и нашептывал: «Помяни Господи царя Давида и всю кротость его».

Через несколько времени сотенный командир, в папаче и полной форме, расхаживал по берегу, обдергивая полы своего сюртука.

— Эй, старшой!.. Послать сюда старшого! — крикнул он на всю улицу.

Старшой как из земли вырос.

— Что угодно, вашескородие? — вытягиваясь в струнку, спрашивал он.

— Как у тебя там? — заботливо осведомлялся сотенный командир.

— Все благополучно...

— А что каптенармус? Вычистил ли он

замки, как я говорил, уксусом с песком?

— Вычистил. Теперь чудесно стало, — так и блестят...

— В цейхаузе мел?

— Чисто вымел, вашескородие.

— Фельдшара прибрали?.. У, это животное!

Измучил он меня.

— В клеть заперли...

— Свиной загнали ли?.. А то они опять высунут свои рыла с берегу. Страм!

— Не извольте беспокоиться, ни одна свинья не посмеет рыла показать, — всех загнали. С фельдшером в одной клетке, на замке... Ключ у меня, не выскочат...

— Ну ступай... — вздыхая, сказал сотенный.

Я стоял на берегу в ожидании парохода. Шум от колес и от вылетавшего из трубы дыма доносился по реке в станицу. Вскоре из-за кустов показалась мачта парохода с развевающимся флагом.

— Пароход! Пароход! — кричали мальчишки, припрыгивая на одной ноге, обрадованные Бог знает чему.

Толпа казаков собралась на берегу. Впере-

ди их стоял сотенный командир. Пароход, нагоняя волны на берег и плавно покачиваясь из стороны в сторону, подходил к станице. Раздался звук цепи от брошенного якоря. Сотенный командир стрелой бросился под гору и первый вбежал на пароход.

Важный господин, напустивший своим проездом такого страху на жителей станицы, — сидел на капитанском балконе и, прищутив глаза, рассматривал собравшихся на берегу казаков. Казаки стояли навытяжку, без фуражек. Сотенный командир влетел на балкон и почтительно докладывал что-то важному господину, при этом докладе корпус сотенного был наклонен несколько вперед и руки висели как две плети. Важный господин, положив ногу на ногу, слушал доклад сотенного и потом кивнул головой; сотенный постоял еще с минуту в наклоненном положении; важный господин сделал под козырек, и сотенный повернул налево кругом.

Я стоял на берегу и упрашивал капитана принять меня на пароход.

— Нэт мэст, — лаконически отвечал англичанин, не выпуская изо рта сигары.

— Хотя на палубу...

— Нэт мэст.

— Ну на баржу хотя...

Капитан задумчиво посматривал на противоположный берег, пропустив сквозь зубы: — О эсть!

Я бросился за багажом, не чувствуя под собою ног. Часть казаков и казачек таскали по сходням дрова, остальные по-прежнему без шапок стояли на берегу; важный господин сидел все в том же положении и молча рассматривал толпу.

— Здорово, ребята, — сказал он наконец, после продолжительного молчания.

С берега дружно гаркнули во все рты. Звук прогудел в воздухе, уносясь вниз по реке. Важный господин прислушивался к улетающему звуку и, казалось, был доволен, потому что, через несколько времени, он снова спросил.

— Всем ли вы довольны?

Толпа опять что-то гаркнула, но понять было нельзя, только и слышалось: во-во-во-во-о-о...

— Подите по домам. Благодарю! — сказал

важный господин.

— Рады стараться... во-во-о!.. — разнеслось в последний раз по реке и толпа отшатнулась от берега.

Пароход набирал пары. Через полчаса мы тронулись в путь. Я сидел, прикурнувшись, на барже около мачты и был совершенно доволен своим незатейливым помещением. Кругом меня теснились солдаты с ружьями; слышались звуки цепей: возвращали из Николаевска ссыльно-каторжных обратно в Нерчинские заводы, но причине развившейся у них цинготной болезни. Брань, ссоры, грубый говор... запах махорки... Но за эту неприятную обстановку наградой была возможность наблюдать жизнь тех людей, о которых мы так много шумим и которых совсем не знаем.

Те впечатления, которые я вынес из путешествия на палубной барже, послужили мне началом новых литературных работ; но придется ли мне когда-нибудь их закончить — я и сам не знаю, потому что не знаю, куда бурная волна жизни занесет мой утлый челнок, не знаю, в какие положения я буду поставлен роковою, неотразимою силою внешних влия-

ний, рабом которых считаю я каждого человека, не признавая за ним собою части той самостоятельной воли, которую он себе приписывает; не признаю я этой воли потому, что образование и происхождение ее зависят опять-таки от роковой и неотразимой силы внешних влияний...

Примечания

О подробностях этого замечательного землетрясения см. в последних номерах 1861 и в первых номерах 1862 года газеты «Амур», издававшейся в Иркутске, а также в особом приложении к этой газете, в трудах ученой экспедиции, командированной для исследования последствий этого землетрясения.

[^^^]

У Штукенберга о байкальском воске говорится, что он показывается на поверхности воды в продолжение 10–15 лет только один раз, что собирают его до 25 000 пудов, из коих, будто бы, 10 000 пуд. идет в Иркутск. Сведения эти не имеют ничего вероятного.

[^^^]

Суда на Байкале строятся следующим образом. Сначала делается из еловых или сосновых досок вершков в 7 или 8 толщиной днище судна, потом, вокруг днища, сверху располагают *кокорник* (шпангоуты); для этого берется тоже еловое или сосновое дерево вершков в 8 толщиной, вырытое из земли с корнем, — так, чтобы оно составляло клюку почти под прямым углом; расстояние одной коры от другой делается на $\frac{1}{2}$ аршина. Этот кокорник составляет низший ряд ребер судна; на нем утверждается ряд таких же кокор, называемых стойками, потом наверху, через всю широту судна, их соединяют толстые брусья — *дуги* и остов судна готов. Затем на дуги настиляется палуба; во всю ее длину от носа до мачты сверху, и от мачты до кормы снизу идет широкий брус (*лисина*); для отделения носа и кормы сверх палубы кладется тоже по бруссу (*курица*). Брусски кладутся неплотно, так, чтобы можно было просунуть веревку. Сверх борта судна делается барьер вышиною около аршина, он называется *покольни*;

вблизи того места, где назначено утвердить мачту, по обеим сторонам судна к покольням приколачиваются по одной доске шириною вершков в 7 и вышиною аршина 2,— это бычки, подставки для реи; нос (корк) судна, острый и высокий и постоянно суживающийся к концу, имеет на себе *полати*, небольшое возвышение для лоцмана, который по-байкальски назывался *вож или вожак*. Сзади кормы приколачивается полочка, чтобы только встать одному человеку — *сокольня*. Обошьют судно досками, проконопатят, залиют варом, высмолят и таким образом оканчивается вся работа на суше. Потом судно освящают и спускают на воду, при этом служитя молебен тому святому, образ которого помещается наверху мачты. На воде уже судно оснащается и окончательно отделяется. Самое большое судно 12 сажень длины и 10 аршин ширины, от дна до палубы 5 аршин. Может оно поднимать до 12 т. пудов груза. Такое судно стоит до 4 т. рублей. Маленькое судно, 6 сажень длины, 5 аршин ширины, 3 $\frac{1}{2}$ аршин вышины, грузу поднимает до двух тысяч пудов и оценивается в 1300 и 1500 рублей. Рабочих для большого

судна нанимают почти всегда 18 человек, а на маленькое 6 человек.

[^^^]

В забайкальских степях к югу водятся у бурят верблюды. (Стат. Труды Штукенберга. Заметки о Сибири, стр. 55).

[^^^]

5

По приблизительным сведениям, собранным мною в Иркутске, известно, что в этот город на судах привозится омуля от пяти до восьми тысяч бочек; кроме этого, в Забайкальской области распродается и потребляется, по меньшей мере, до трех тысяч бочек; следовательно, весь улов рыбы можно считать до десяти тысяч бочек. В бочке от 1000 до 1400 омулей.

[^^^]

Во время бурь выбрасывается на берега Байкала морская губка. Она растет как коралл на дне Байкала, прикрепляясь к камням, и встречается всего более на юго-восточной стороне. Длины имеет до $\frac{1}{2}$ ар. и более, делится на ветви серо-желтого цвета, в воде мягка, на воздухе твердеет, но удерживает упругость, подобно грецкой губке; ноздревата или ячеиста; сухая — колюча и шероховата. Ею чистят металл и мягкие камни.

[^^^]

Уго́льная комната — комната, расположенная в углу дома, угловая (прим. ред.).

[^^^]

8

Имеется в виду повивальная бабка (прим. ред.).

[^^^]

9

Весьма удобное место для гавани, если бы порасчистить в него вход.

[^^^]

С разрешением свободной торговли с Монголией и Китаем путь на Чикой и Керан идет по монгольской земле, минуя Бургутуйский хребет и памятник, построенный у подножия хребта в честь графа Муравьева-Амурского. Теперь мимо этого памятника никто не проезжает, так как дорога совершенно заброшена.

[^^^]

У бурят, как и у всех азиатских народов, есть еще шаманы-духовидцы, но о них я считаю лишним говорить, так как они довольно подробно описаны Гартвигом и многими другими.

[^^^]

Буряты разделяются на множество отдельных родов, управляемых родовыми князьками. Каждый род состоит иногда из тысячи или более человек, в большинстве случаев не знающих степени родства между собою. Это устройство отчасти напоминает кланы шотландских горцев.

[^^^]

Маймайтчин, или правильнее: Наймайтчин, на китайском языке выражается тремя словами: най (продавать), май (покупать), тчин (место) т. е.: место для продажи и покупки товара; най май, соединенные вместе, означают торговля. Следовательно, Маймайтчин значит торговое место.

[^^^]

Одонок, или одонки — осадки, гуща на дне
(прим. ред.).

[^^^]

Амур, как известно, начинается от соединения Шилки и Аргуни.

[^^^]

Секта молокан переселена на Амур из Таврической губернии.

[^^^]

На чику — на часах, на страже, поджидая кого; наготове; то же, что начеку (Толково-фразеологический словарь Михельсона) (прим. ред.).

[^^^]

Казак-сынок — это штрафной солдат, переселенный на Амур. Сынками называют их потому, что, не имея ни кола, ни двора, они розданы были по одному на казацкую семью в дети, для исправления нравственности и изучения сельского хозяйства.

[^^^]

Папу́шка, уменьш. от папу́ша (перс. rarusch) — связка, пучок табачных листьев (прим. ред.).

[^^^]

Народонаселение Амурской и Приморской областей всего 60 000 д., а пространство, занимаемое ими — 43 890 кв. миль; следовательно на кв. милю приходится менее чем $1 \frac{1}{2}$ д.

[^^^]

В Благовещенске по четвергам и воскресеньям в продолжение всего лета на берегу играла военная музыка.

[^^^]

Прошлым (прим. ред.).

[^^^]

В последнее время, в ответ на эту статью (она была, с сокращениями, напечатана в журнале «Дело» 1867 г.), я получил весточку от г. Р., который очень огорчен моими отзывами о нем, а более всего тем, что я будто бы умышленно написал о неизвестности его места жительства. С великим удовольствием заявляю, по желанию г. Р., что он превосходнейший адвокат и может (как уверяет) меня же отдать под суд; но также считаю нелишним сказать, что никак не могу признать его хорошим хлебопашцем... Обвинять же его в чем бы то ни было я не думал и не думаю: что прошло, того не воротить!

[^^^]

Теперь эта станица действительно перенесена выше по Амуру, за 10 верст от г. Благовещенска. Казаки хотя не имели никакого желания переселяться на другое место, но им были выданы на подъем некоторые суммы денег. Благовещенск же, несмотря на то, что станица уже более не стоит на пути и не препятствует к его увеличению, остается в прежних размерах и к устью р. Зеи не подвигается.

[^^^]

На днях, недавно (прим. ред.).

[^^^]

Теперь эта охранительная система трезвости в Амурской области рухнула, потому что, с уничтожением откупов, на Амур свободно ввозится водка частными лицами.

[^^^]

Визига — спинной хрящ (хорда) осетровых рыб, проходящий вдоль спинного хребта в виде непрерывного шнура. Высушивается на воздухе и связывается в пучки. Будучи хорошо разварен, превращается в прозрачную студенистую массу. На Руси издавна славились пироги, расстегаи и кулебяка с визигой (прим. ред.).

[^^^]